

СЕРДЦЕ И ДУМКА

А. Ф. ВЕЛЬТМАН

СЕРДЦЕ И ДУМКА

ПРИКЛЮЧЕНИЕ



РОМАН
в 4-х частях

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1986

Подготовка текста,
вступительная статья и примечания
В. А. Кошелева и А. В. Чернова

Художник
М. З. Шлосберг

В $\frac{4702010100-242}{М-105(03)86}$ КБ—61—25—1985

МУДРАЯ ФАНТАЗИЯ СКАЗОЧНИКА...

Представим себе невозможное.

Если бы предисловие к этой книге довелось писать самому Александру Фомичу Вельтману, он мог бы начать так:

«Писать предисловие трудно; сразу и не скажешь почему, но трудно... Предисловие обязано заинтересовать читателя (а порой даже и читательницу), — и не просто заинтересовать, а сделать прочтение книги необходимым для их дальнейшего существования. Оно должно преподнести любезному читателю (и конечно же, читательнице!) сумму преполезных и небезынтересных сведений, дающих пищу уму; сведений, которые могли бы в какой-то мере удовлетворить законную и вполне объяснимую любознательность их при встрече с именем, к нашему прискорбию, мало им знакомым или вовсе не знакомым. Мало этого: сведения сии должны быть изложены в удобочитаемой форме и с приятностию слога. Предисловие должно... да мало ли что оно еще должно!.. Вот только не должно и не может оно заменять книгу, ибо в книге душа писателя, которая лучше всяких предисловий может познакомить его и с читателем, и тем более с читательницей!..»

Однако в данном случае обширное предисловие необходимо. Речь в нем пойдет об очень оригинальном, противоречивом, но, к сожалению, несправедливо забытом авторе. «Творчество Вельтмана еще мало исследовано...» — писала в 1929 году «Литературная энциклопедия». Мы могли бы повторить эти слова и сейчас. Еще не определено до конца место А. Ф. Вельтмана в литературном процессе XIX века, его роль в развитии русской литературы. Некогда его романы и повести пользовались огромной популярностью. Н. А. Некрасов в 1851 году включил имя Вельтмана в число «лучших наших повествователей и романистов... о которых не может умолчать критик, заговорив о современной русской словесности». Ныне имя А. Ф. Вельтмана забылось настолько основательно, что даже в больших курсах по истории русской литературы оно упоминается лишь вскользь.

С 1830-х по 1850-е годы Вельтман издал 15 крупных романов и два больших сборника повестей. Сегодня он даже историкам литературы знаком по преимуществу как автор романа «Странник» (переиздан в 1977 г.), «Саломея» (первый роман из цикла «Приключения, почерпнутые из моря житейского», переиздан в 1933 и 1957 гг.), нескольких повестей (переизданы в 1979 г.) и нескольких исторических произведений (переизданы в 1985 г.). Конечно же, современному читателю интересно далеко не все из большого художественного наследия писателя, и произведения Вельтмана не равнозначны по своей художественной ценности. Однако лучшие представляют собой интерес не только для специалистов, но и для самого широкого круга читателей. К таким произведениям относится и роман «Сердце и Думка», написанный без малого сто пятьдесят лет назад.

1

Будь тем, что есть,
Ходи без маски,
Люби не лесть,
А только ласки...
Не нянчи тело
И делай дело.

(*А. Ф. Вельтман.* «Странник»)

Всякий рассказ о человеческой жизни принято начинать с начала. Итак: «У одного папеньки и у одной маменьки были две дочки. Точка». Нет... пожалуй, скобки, а в скобках надобно пояснить, что именно так начинает Вельтман свой роман «Саломея» — повествование о жизни и приключениях бывшего офицера Дмитрицкого, о его странной судьбе, о встрече с Саломеей Петровной Брониной и о странном чувстве, навсегда их соединившем: чувстве, переходящем от любви к ненависти и от ненависти к любви... Что же касается до «двух дочек», то сразу же после «точки» Вельтман заявляет: «Не об них дело»,— и продолжает разговор совсем о другом.

Будущий писатель родился в Санкт-Петербурге 8 июля 1800 года, в семье беспоместного служилого дворянина, выходца из Швеции, Томаса Вельдмана (который, приняв русское подданство, стал именоваться Фомой Федоровичем). Отец писателя прожил бурную жизнь: был и моряком, и армейским поручиком, и капитан-исправником в маленьком уездном городке Тотьме Вологодской губернии (где прошли первые три года жизни писателя), и квартирным комиссаром в Москве, и казначеем винного завода, и квартальным надзирателем,— но так и не смог достичь «степеней известных». Семья постоянно жила на грани крайней бедности.

Первоначальными воспитателями А. Ф. Вельтмана стали его мать, Мария Петровна (урожденная Колпаничева), жизнерадостная, красивая женщина и «великая говорунья», и денщик Фомы Федоровича, «дядька Борис». Александр, первенец в семье Вельдманов, отличался пылким

нравом и большими способностями. В пять лет Мария Петровна научила его читать и писать. А дядька Борис, по воспоминаниям писателя, «был вместе с тем отличный башмачник и удивительный сказочник. Следить за резвым мальчиком и в то же время строчить и шить башмаки было бы невозможно; а потому, садясь за станок, он меня ловко привязывал к себе длинной сказкой, нисколько не соображая, что со временем из меня выйдет сказочник».

Сказочник из Вельтмана действительно вышел. В 1833 году, в одной из статей, посвященных проблемам романтизма, А. Бестужев-Марлинский так напишет о нем: «Вельтман, чародей Вельтман, который выкупал русскую старину в романтизме, доказал, до какой прелести может доцвесть русская сказка, спрыснутая мыслию...»

Будущему писателю удалось получить неплохое образование — это при стесненном материальном положении, в котором находилась семья, было несомненной удачей. С восьмилетнего возраста он учился в лютеранских пансионах Плеско и Гейдена: туда он попал по недоразумению, принятый из-за фамилии за бедного ребенка из лютеранской семьи. В 1811 году отец определил его в Благородный пансион при Московском университете, в котором, однако, Александр проучился недолго: помешала война с Наполеоном. Мальчиком он стал свидетелем отступления русской армии из Москвы, бегства москвичей из разоренного города (Вельдманы добрались до Костромы), бедствий 1812 года... Возвращение в опустошенную и разрушенную Москву произвело на него сильное впечатление и имело большое влияние на его духовное развитие.

После бегства из Москвы семья Вельдманов разорена.

В карманах папеньки французски были руки,
И в деле сем, по свойству своему,
Стащили с нас они последнюю суму...—

пишет юный Александр в стихотворном послании к графу Ф. В. Ростопчину, у которого семья искала покровительства и помощи. Уже в это время проявились разносторонние дарования будущего писателя: он свободно владеет несколькими языками, преуспевает в науках, играет на нескольких музыкальных инструментах (особенно хорошо — на скрипке), живо интересуется искусствами и литературой: пишет трагедию в трех действиях «Пребывание французов в Москве» и слывет между товарищами за даровитого поэта.

В 1816 г. Александра принимают в Московское учебное заведение для колонновожатых, основанное генералом Н. Н. Муравьевым и готовившее топографов, военных инженеров, артиллеристов. Воспитанники изучали математику, геодезию, военные науки, историю, приобретали практические навыки в летних лагерях, получали прекрасное физическое развитие... Сохранились ученические тетради Вельтмана, где рядом с математическими выкладками — юношеские стихи. Будущего писателя влекут к себе и поэтическая фантазия, и строгая наука. Так с тех пор в нем и жили вместе — ученый и поэт...

В ноябре 1817 г. Вельтман, выпущенный из училища в чине прапорщика, был прикомандирован к армии; в марте следующего года — отправился в Бессарабию для службы в военно-топографической комиссии. «Новая страна — новые чувства,— писал он в «Воспоминаниях о Бессарабии».— Я углублялся в горы и долы Бессарабии, как в таинственный *дульчац* (сладость). Все уже оделось зеленью, дышало маем; и я живо чувствовал разницу между правым и левым берегом Днестра. Кажется, что природные календари их рознятся целым месяцем: в Бессарабии — весна, а в Подольской губернии едва только показались ее вестники».

Пятнадцать лет жизни отдал писатель военно-межевой службе, ставши опытным офицером Генерального штаба. Проводя топографические съемки и рекогносцировку местности, он изъездил Бессарабию и Украину, почерпнув множество впечатлений для своей будущей литературно-ученой деятельности. Даже в межевые работы он вносит научно-исследовательский пафос. Так, в 1828 г. был напечатан его труд «Начертание древней истории Бессарабии».

Посреди служебных занятий и разъездов Вельтман продолжает писать стихи: место юношеских подражательных стихотворений занимают ныне сатирические описания быта Кишинева, романтические поэмы. Он сближается с офицерами, входившими в состав Южного общества, становится близким другом В. Ф. Раевского. Через 36 лет «первый декабрист», самовольно вернувшись из ссылки в Москву, на второй же день пошлет за своим старым товарищем, бывшим подпоручиком, ставшим действительным статским советником А. Ф. Вельтманом...

Появляясь в кишиневских салонах, Вельтман, по воспоминаниям И. П. Липранди, «не принимал живого участия ни в игре в карты, ни в кутеже и не был страстным охотником до танцовальных вечеров; но он — один из немногих, который мог доставлять пищу уму и любознательности Пушкина...». С Пушкиным Вельтман встречается еще в сентябре 1820 г. «Встречая Пушкина в обществе и у товарищей,— вспоминает он,— я никак не умел с ним сблизиться... я боялся, чтобы кто-нибудь из товарищей не сказал ему при мне: «Пушкин, вот и он пописывает у нас стишки». Потом они познакомились и сблизились. Вельтман, пишет Липранди, «безусловно не ахал каждому произнесенному стиху Пушкина, мог и делал свои замечания, входил с ним в разбор, и это не неправилось Александру Сергеевичу, несмотря на неограниченное его самолюбие». Впоследствии, в 30-е годы, Пушкин и Вельтман перешли на «ты», и Пушкин обещал даже написать разбор первого романа Вельтмана «Странник»: «Обстоятельства заставили его забыть об этом; но я дорого ценю это намерение»...

Под влиянием Пушкина были созданы и первые самостоятельные литературные опыты Вельтмана (написанные в середине 20-х годов, но опубликованные лишь в 1831 г.) — стихотворная повесть «Беглец» и драматическая поэма «Муромские леса». В последней есть «Песня разбойников», которую разбойники поют при встрече с новым товарищем:

Что отуманилась, зоренька ясная,
Пала на землю росой?
Что ты задумалась, девушка красная,
Очи блеснули слезой?..

Песня эта приобрела громадную популярность — и поют ее до сего дня.

Служебная карьера Вельтмана в 20-е годы шла довольно успешно. Блестящий топограф и неутомимый исследователь, он возглавляет съемки Бессарабии, быстро получает очередные чины, награждается орденами. В 1828—1829 гг. он принимает деятельное участие в русско-турецкой войне, отличается при форсировании Дуная, осаде Шумлы, в сражении при Кулевче. Вельтман горячо сочувствует этерии — освободительному движению греков, мечтает об освобождении балканских славян... Занимаемая им должность начальника Исторического отделения Главной квартиры армии позволяет ему проводить и научные исследования.

Однако Вельтмана все более влечет литература, все больше тянет к себе Москва. Там после смерти отца (в 1821 г.) остались на руках у опекуна младшие брат и сестра (мать умерла еще в 1816 г.). Там с 1830 г. началось печатание первого романа Вельтмана «Странник». Поэтому с окончанием войны писатель решает уйти в отставку. В январе 1831 г. он был уволен в чине подполковника и поселился в Москве.

2

Посылаю вам, сударыня, «Странника», которого вы у меня просили. В этой немного вычурной болтовне чувствуется настоящий талант. Самое замечательное то, что автору уже 35 лет, а это его первое произведение.

(Из письма *А. С. Пушкина* к Е. М. Хитрово, 8 мая 1831 г.)

Свой первый роман Вельтман начал писать еще в Бессарабии. Отрывки его печатались в «Московском телеграфе»; затем в 1831—1833 гг. три части «Странника» были напечатаны отдельным изданием. Творческая история романа подробно раскрыта Ю. М. Акутиным, подготовившим его к переизданию (М., 1977); он же подробно исследовал структуру этого не совсем обычного произведения.

Роман был написан в очень своеобразной манере — в виде «путешествия по географической карте», причем сам элемент «путешествия» служит автору лишь предлогом для бесконечных отступлений и рассуждений на всевозможные темы; оно становится своего рода рамкой для причудливых

стилистических узоров... Действие разделено на 45 дней (по 15 дней в каждой части) и на 325 глав. Прозаический текст постоянно чередуется со стихотворными фрагментами. Сюжетом своим автор «играет», не скрывая этого. Иногда он намеренно «забывает» сюжет, и все повествование обращается в цепь отрывков, ничем, кроме авторской личности и авторских намерений, не связанных. Повествование ведется от первого лица: то от имени автора-повествователя, которого сменяет очередной рассказчик, то от имени героя произведения — Странника. Смены повествователей так же неожиданны, как и диалоги, то и дело возникающие между ними.

Такая форма, на первый взгляд близкая к романам Стерна (вызвавшим в России множество подражаний), была, однако, неожиданна и нова именно в силу особенностей дарования, ума и темперамента автора. Читателей привлек вельтмановский неподдельный юмор с налетом сентиментальности, его умение развертывать неожиданные приемы повествования (вместе с тем, откровенно показывая эти приемы), его переходы от спокойного рассказа к лирически-взволнованным отступлениям, к разговору с самим собою и с читателем, от прозы к стиху, от этнографического описания к юмористическим заметкам (вроде наводнения в Испании от пролитого на карту стакана воды)... В итоге получалась пестрая и многоплановая картина, объединяющая множество героев: боевых офицеров и солдат, крестьян и молдавских бояр, трактирщиков и бессарабских дам... На этом многоязыком фоне развертывается жизнь и духовные поиски молодого Странника, происходит становление его личности.

«Собираясь в дорогу,— рассуждает Странник,— я еще должен осмотреть свое воображение. Подобного коня должно гладить, чистить и холить, кормить мозгом, а поить жизненными соками. Зато, едва только ногу в стремя... распахнулись крылья, хлоп задними ногами в настоящее... Глядишь,— уже он в будущем или в прошедшем, на том или другом полюсе, на небе или под землей, везде и нигде,— чудный конь!» Фантазия Вельтмана прихотлива: она причудливо совмещает реальный и воображаемый план повествования. Фантазия носит автора по Бессарабии, рисуя события, сценки, лица, связанные с какой-либо географической ее точкой. Исторические и мифологические сюжеты переплетаются с реальными впечатлениями и событиями, и грань между действительным и выдуманным становится почти неощутима...

Очень ярко передал это впечатление от первого романа Вельтмана Белинский: «В «Страннике» выразился весь характер его таланта — причудливый, своенравный, который то взгрустнет, то рассмеется, у которого грусть похожа на смех, смех — на грусть, который отличается удивительной способностью соединять между собой самые несоединимые идеи, сближать самые разнородные образы... «Странник» — это калейдоскопическая игра ума, шалость таланта; это — не художественное произведение, а дело и шутка пополам; вы и посмеетесь, и вздохнете, а иногда и освежитесь более или менее сильным впечатлением творчества. Как бы то ни было,

по крайней мере, вы не утомитесь, не соскучитесь от этой книги, прочтете ее от начала до конца, без всякого усилия, и это, согласитесь,— большое достоинство. Много ли книг, которые можно читать без скуки, добровольно?»

Одним словом, роман «Странник» имел общий успех. П. В. Нащокин пишет Пушкину (в письме от 30 сентября 1831 г.): «Высокое воображение — поэт а ла Бейрон — а не записки молодого офицера». Пушкин, несмотря на то, что ему были чужды оригинальные приемы вельтмановской прозы, все же увидел в его романе замечательное явление молодой русской словесности, указав в своем кратком, но очень метком отзыве и на «немного вычурную болтовню», и на признаки «настоящего таланта».

Первый роман создал автору завидную популярность, и Вельтман с начала 30-х годов публикует новые произведения практически ежегодно: «Рукопись Мартына Задека. МММСДXLYIII год» (1833); «Кощей бессмертный, былина старого времени» (1833); «Лунатик» (1834); «Светославич, вражий питомец» (1835); «Александр Филиппович Македонский. Предки Калимероса» (1836); «Виргиния, или Поездка в Россию» (1837); «Сердце и Думка» (1838); «Генерал Калемерос» (1840); сборники повестей (1836, 1837, 1843); «Новый Емеля, или Превращения» (1845)... С середины 40-х годов Вельтман начинает работу над огромной (из пяти романов) эпопеей русской жизни: «Приключения, почерпнутые из моря житейского»...

Одновременно Вельтман занимается и научной деятельностью: в печати появляется огромное количество его научных трудов по русской истории и мифологии славянских народов, по истории Скандинавии. Даже перечислить все его работы невозможно — настолько их много... Перевод «Слова о полку Игореве» (под названием: «Песнь ополчению Игоря Святославича, князя Новгород Северского», 1833), книги «О Господине Новгороде Великом» (1834), «Древние славянские собственные имена» (1840), «Варяги» (1840), «Достопримечательности Московского Кремля» (1843), «Московская Оружейная палата» (1844) и т. д. и т. п.

«Он принадлежит,— писал М. П. Погодин в некрологе Вельтмана,— к числу тех московских типических тружеников, которые работают с утра до вечера в своем кабинете, никуда и никогда почти не выходят из дому, кроме случайных необходимостей, не знают никаких на свете удовольствий и всецело преданы своему делу. Подражателей им желать бесполезно, ибо могут ли найтись охотники корпеть над письменным столом или за книгами часов по 15-ти в день?..»

В 1833 г. Вельтмана избирают действительным членом Общества любителей российской словесности; в 1836 г.— членом Общества истории и древностей российских... В его доме по четвергам стали проводиться литературные вечера. Они проводились до самой его кончины. На эти «простые вечерние собрания друзей и знакомых хозяина и хозяйки» заходят М. Н. Загоскин, В. И. Даль, И. И. Срезневский, Л. А. Мей, А. Н. Островский, Н. В. Берг, Н. Ф. Щербина, В. В. Пассек, В. П. Горчаков и многие

другие литераторы и ученые. Отзывы их о хозяине проникнуты глубочайшим уважением.

И. И. Срезневский: «Вельтман — истинный поэт, мужчина прекрасный собою, со светлым, открытым лбом и блестящими глазами, пишет несравненно лучше, нежели говорит, но говорит умно, весело и задумчиво вместе, добр, прост, окружен книгами, беспрерывно работает, чем и живет...»

Н. В. Берг: «Сам Вельтман был человек в высшей степени милый и симпатичный... В нем, сверх литературного, известного всем читателям тех времен... таланта, таились еще и другие, скрытые от публики, таланты: он делал очень искусно из алебастра копии небольших античных статуй... Он играл довольно искусно на гитаре и еще на каком-то изобретенном им инструменте, название которого я не помню. Ум его был в постоянной работе: он все что-нибудь выдумывал, открывал».

В 1842 г. Вельтман смог, наконец, найти должность, отвечающую его склонностям. По ходатайству М. Н. Загоскина, известного романиста и директора Московской Оружейной палаты, он назначается помощником директора, а в 1852 г., после кончины Загоскина,— директором Оружейной палаты в Москве. Этот пост он занимал до конца жизни — до 11 января 1870 года. В 1854 г. он стал членом-корреспондентом Академии наук, в 1861 г.— членом-корреспондентом Русского археологического общества. Поздний период его деятельности посвящен активной научной работе.

Научные труды Вельтмана оцениваются специалистами весьма противоречиво. Современники были склонны вспоминать многие его анекдотические заявления: о том, что упоминаемый в «Слове о полку Игореве» Боян вещий — вовсе не Боян, а Ян («бо» — союз); о том, что имя Гомера произошло от «омиров», то есть певцов, ходивших по миру, и т. п. С другой стороны, позднейшие ученые-слависты много взяли от Вельтмана, от открытого им «сравнительного метода в объяснении отдельных предметов». Большое значение имеет, например, многотомный труд «Древности российского государства» (1849—1853), который Вельтман редактировал и для которого написал тома II, III и V. Наконец, для многих современников Вельтман остался ярчайшим примером литературного и научного подвижничества.

3

> Воображение его было самое необузданное, упрямое, смело скакавшее через всякие пропасти, которые других устрашили бы, но не было такой пропасти, которая устрашила бы почтеннейшего Александра Фомича.
>
> *(Н. В. Берг)*

Все современники в один голос говорят о фантазии, о воображении как об определяющей черте таланта Вельтмана, писателя и ученого.

Его творческий путь был отмечен печатью самобытности, глубочайшего

своеобразия. Пушкин обратил внимание на то, что свое *первое* самостоятельное произведение Вельтман выпустил уже в достаточно зрелом возрасте. Между тем еще в 1817 г. писатель составил рукописное «Собрание первоначальных сочинений Александра Вельдмана», но даже и не попытался его опубликовать. Он «молчал» 13 лет, а легенда о его плодовитости возникла именно потому, что многое было написано, но не публиковалось. К этому времени уже вполне определилось своеобразие его как художника.

Вельтмана-поэта не соблазнило модное «байроническое» направление. Вельтману — историческому романисту оказался чужд тип «вальтер-скоттовского» романа. Как-то в стороне оказался он и от социальных мотивов, когда, после Гоголя, они оказались весьма распространены в произведениях «натуральной школы». Он никогда не увлекался ни новейшими немецкими теориями, ни философскими поисками...

Миросозерцание Вельтмана-писателя было предельно простым и ясным. Добро и зло для него выступали по преимуществу в их несложной, первичной форме: это было наивное миросозерцание народной сказки. Став писателем, он взглянул на свою общественную роль как на роль сказочника, а на свою художническую психологию посмотрел с точки зрения «дядьки Бориса»: «...он меня ловко привязывал к себе длинною сказкой...»

М. П. Погодин удивлялся: «С живым, пылким, часто необузданным воображением, которое не знало никаких преград, и с равною легкостию уносилось в облака, даже и за облака, или опускалось в глубь земли, переплывало моря и прыгало через горы, Вельтман страстно был предан историческим разысканиям в самом темном периоде истории. Там романтическое воображение его гуляло на просторе; он был, как говорится, в своей тарелке и, колонновожатый в молодости, указывавший полкам их позиции перед сражением и квартиры после сражений, он остался тем же колонновожатым и в старости».

Такая установка, неподходящая для историка, оказалась очень естественной для писателя. Вельтман даже писал специальные статьи в защиту своего авторского приема. На упрек, который критика сделала ему за отсутствие внутреннего содержания в исторической драме «Ратибор Холмоградский» (1841), он отвечал, как и положено сказочнику: критики «искали главной мысли и не нашли; сознаюсь, я не развивал какой-нибудь односторонней страстишки какого-нибудь изобретенного романического лица»...

После «Странника», воображаемого «путешествия по географической карте», Вельтман окунулся в мир «баснословной» русской старины, переосмысливая «вальтер-скоттовские» традиции исторического повествования, ставшие популярными в русской литературе после выхода в свет романа М. Н. Загоскина «Юрий Милославский» (1829). Вельтман противопоставляет этой модной традиции свою концепцию исторического романа. Его роман «Кощей бессмертный» имеет подзаголовок «былина старого времени»;

роман «Светославич, вражий питомец» — «диво времен Красного Солнца Владимира». Подзаголовки эти — не формальны: романы построены на темах народных сказаний, поверий, фольклорных и летописных легенд... Сказания, легенды, поверия не введены в повествование «внешне» (как в романах Загоскина, Лажечникова, в «Князе Серебряном» А. К. Толстого) — это не просто сцены гаданий или колдовства. Легенда становится основным материалом для писательского воображения, движущей силой всего повествования.

Композиция романа «Кощей бессмертный» имеет, по удачному выражению Белинского, «прыгучий характер». Предания, истории, легенды, сменяющие одна другую, вклинивающиеся одна в другую... Одна из частей повествования — предание о нескольких поколениях рода Пута-Заревых: от богатыря Олега Путы и новгородской боярышни Свельды до владельца села Облазны на Днепре Олеля. Это предание прерывается «гротескной феерией» о похождениях последнего богатыря этого рода Ивы Олельковича. Нелепости реального мира принимают в сознании героя Вельтмана форму сказочных ситуаций.

Ива Олелькович подменяет жизнь мечтой — и в этом проявляется его неожиданная душевная сила. «Как хороша, как сладостна, как роскошна мечта!— восклицает Вельтман.— Между жизнью и мечтой есть большое родство, и потому уметь жить и уметь мечтать — две вещи, необходимые для житейского счастья». Мечта и действительность создают две ипостаси вельтмановского повествования, в котором сплетаются и перебивают друг друга быль и небывальщина, необыкновенные чудеса и пошлая обыденность. «...Из-за плеч Кощея,— пишет советский литературовед В. Ф. Переверзев,— выглядывает лукаво лицо польского пана красавца Воймира. Самый слог романа — и тот лукаво двоится, выглядит хитрым оборотнем. Вельтман и на язык перенес игру двупланностью прошедшего и настоящего, фантастического и реального. В современный язык он вдвигает лексику и синтаксис русской древности...»

Подобного рода историзм был новостью в русской литературе. В другом романе на историческую тему — «Светославич, вражий питомец» — эта двуплановость становится еще более нарочитой. Наряду с историческими персонажами — князьями Ярополком, Владимиром, конунгом Эриком — в романе действуют Царь-Девица, русалки, царь Омут, Бабушка-повитушка, а в основе сюжета лежит романтическая «ситуация двойников»: «питомец» нечистой силы Светославич, как две капли воды похожий на князя Владимира, вступает в борьбу с ним...

Воображение автора строило самые фантастические ситуации. В этом была сила Вельтмана, которую великолепно понял Белинский, восхитившийся «Кощеем бессмертным»: «Талант Вельтмана самобытен и оригинален в высочайшей степени; он никому не подражает, и ему никто не может подражать. Он создал себе какой-то особенный, ни для кого не доступный мир; его взгляд и его слог тоже принадлежат одному ему. Более всего нам

нравится его взгляд на древнюю Русь: этот взгляд — чисто сказочный и самый верный... Он понял древнюю Русь своим поэтическим духом и, не давая нам видеть ее так, как она была, дает нам чуять ее в каком-то призраке — неуловимом, но характеристическом, не ясном, но понятном».

Этот же разгул воображения определил и недостатки произведений Вельтмана. Приведенное выше суждение о Вельтмане-художнике Белинский заканчивает так: «Все последовавшие за «Кощеем» романы Вельтмана были ознаменованы талантом и достоинством, но все они ниже лучшего его произведения — «Кощея бессмертного».

Плодовитость Вельтмана быстро породила устоявшееся мнение читателей о типе «вельтмановского романа», романа, основанного на «сказочности», на воображении, романа, который уже по типу своему оказывался лишенным всякой целостности. Ошеломляющая пестрота, сложность содержания, многочисленные отступления «в сторону» и прочие «излишества», явившиеся неотъемлемой частью поэтики вельтмановского повествования, произвели в конечном итоге обратное впечатление. «Легкость слога» Вельтмана казалась многим критикам «чрезмерной»; его талант — чересчур «игривым»; в произведениях Вельтмана находили и недостаточную «отделку», и «отсутствие строгости автора к своему труду». Белинский, хваливший писателя за «уменье очерчивать отдельные характеры метко и выпукло», в то же время порицал его за «туманность и неопределенность в вымыслах и характерах»...

«Вымыслы» Вельтмана действительно кажутся необычными. В романе «Александр Филиппович Македонский. Предки Калимероса» он, например, рассказывает о судьбе молдавского «капитана де-почт», который состоял в родстве ни более ни менее как с Александром Македонским и Наполеоном Бонапартом (Калимерос — буквальный греческий перевод фамилии Бонапарт). В основе романа — картина путешествия во времени на «гиппогрифе», своеобразной «машине времени»...

В «Рукописи Мартына Задека» дается еще одно путешествие — в идеальное государство середины XXXV века (3448 год). Здесь Вельтман отталкивается от распространенных в его время социально-утопических повествований: «Год 2440-й» Л. С. Мерсье, «Сон» А. Улыбышева, «4338 год» В. Ф. Одоевского... Элементы утопического повествования причудливо соединяются здесь с авантюрным сюжетом о том, как морской разбойник и авантюрист Эол захватывает власть в стране...

В романе «Лунатик» рассказывается история «невропата» Аврелия Юрьегорского, который в патриотическом порыве возвращается в захваченную французами Москву. Повествование, однако, осложняется важным моментом: Аврелий страдает сомнамбулическим раздвоением личности и соответственно наделен способностью совершать чудесные поступки...

В романе «Генерал Каломерос» действующим лицом является Наполеон. Не государственный деятель Наполеон, а частное лицо: Бонапарт, вершащий историю, становится одновременно и никому не известным

«генералом Каломеросом», влюбившимся в русскую девушку Клавдию и мечтающим о тихой семейной идиллии...

В каждом из этих фантастических повествований Вельтмана есть, как видим, яркое философское начало; в центре каждого из романов стоит раздвоенный, сложный по своей психологической организации герой, «душу» которого Вельтман пробует исследовать, «разанатомировать» ее.

Раскованность фантазии рождала фантасмагории.

Читатель принял их и зачитывался ими.

Белинский, отрицательно отозвавшийся о романе «Предки Калимероса», в конце своего отзыва не преминул заметить: «Но эта шутка написана мило, остро, увлекательно, очаровательно; читая ее, и не видишь, как перевертываются листы, и только с досадой замечаешь, что близок конец».

4

Дитя мое, мысль моя! кто тебя создал? не я ли? но часто ты мне непослушна, и дерзость твою я могу наказать лишь своею печалью!

(*А. Ф. Вельтман.* «Эскандер»)

К концу 30-х годов в творчестве Вельтмана происходит некий перелом, выразившийся прежде всего в использовании другого художественного материала, изменении тематики его произведений. Исторический, этнографический, фантастический материал, на котором строились ранние романы писателя, постепенно уступает место реальной действительности, современному русскому быту. В этом отношении творчество Вельтмана развивалось в русле общего движения литературы 40-х годов, в которой окончательно победило реалистическое направление.

Но и в эпоху «физиологического очерка», «натуральной школы» Вельтман идет особым, оригинальным путем. Тяготея в конце 30-х —50-е гг. к реалистической форме повествования, к формам бытового романа, он и здесь намечает особые, «вельтмановские» линии его развития.

Появляются его новые романы и повести: «Виргиния, или Поездка в Россию», «Неистовый Роланд», «Ольга», «Сердце и Думка», «Приезжий из уезда, или Суматоха в столице», «Карьера», «Наем дачи», «Новый Емеля, или Превращения»... Но наиболее ярко особенности социально-бытового романа Вельтмана проявились в цикле из пяти больших романов, известном под заглавием «Приключения, почерпнутые из моря житейского».

Традиционный взгляд, что в «Приключениях...» Вельтман «изображал крайне неестественные, невероятные происшествия как вполне возможные в современной русской действительности» (Л. Н. Майков), оспорил еще

В. Ф. Переверзев, показавший в своей большой статье о писателе, что этот цикл — «высшее достижение Вельтмана».

«Приключения, почерпнутые из моря житейского» создавались Вельтманом на протяжении 25 последних лет его жизни.

Первый роман цикла — «Саломея» (1846—1848) изображает запутанный столичный и поместный быт, то неспокойное «море житейское», через которое пробираются авантюрист поручик Василий Дмитрицкий и дочь крупного чиновника, прекрасная и самовлюбленная Саломея Бронина. Их волнения, взлеты и падения завершаются решением искать смысл жизни в полезном труде и вере.

В следующих романах главные действующие лица становятся эпизодическими, и наоборот. «Чудодей» (1849—1856), по определению Ю. М. Акутина, «роман-водевиль, оригинальное травести», в котором сама комическая неразбериха, «карнавальный хоровод» обличает загнивший мещанский быт русского общества. «Воспитанница Сара» (1862) — роман о незаурядной девушке, которая не может выбраться из пут развращающего столичного «бомонда» и становится содержанкой. «Счастье-несчастье» (1863) — о «добрых душах», ищущих счастье в столичном круговороте и оказавшихся на краю гибели. «Последний в роде и безродный» (конец 60-х г.) — роман, оставшийся неопубликованным; в нем писатель сделал попытку отобразить духовную и социальную ломку человека в «расшатавшейся» русской жизни пореформенной эпохи...

«Приключения, почерпнутые из моря житейского» стали единой, цельной и целостной картиной российской действительности 1830—1850-х годов.

Талантливый бытописатель, Вельтман видит в человеческой истории одно «море житейское» с его бесчисленными превратностями и вечно подвижными берегами. Исторические эпохи, словно волны, набегают друг на друга; сталкиваются и смешиваются народы, племена, семьи; жизненные пути героев пересекаются — и тут же расходятся, зыбкими и изменчивыми становятся их социальные роли: авантюристы, приживалы, откупщики, разбойники, армейцы, чиновницы, обедневшие аристократы и богатеющие мещане, странники, беглецы, игроки, любители приключений...— пестрый мир!

«В море житейское впадают разные реки и потоки, вытекающие из гор, озер и болот, образующиеся из ливней и снегов и так далее. У каждого народа — свое море житейское, у одного оно авксинское, у другого — эвксинское, белое, черное, красное, синее и т. д. Из числа случайных потоков, впадающих в описываемое нами море, был...» Собственно, таким вот «случайным потоком» является любой из изображаемых писателем персонажей. «Случайный» человек, «случайное» семейство, «случайное» сообщество...— а что дальше? Этот вопрос особенно тревожит Вельтмана и будет тревожить всю русскую классическую литературу.

Талант Вельтмана в 50—60-е годы развился в полную силу, проблемы, им поднимавшиеся, становились все серьезнее,— а читатель потихоньку

забывал о нем... Когда в 1863 году вышел четвертый роман цикла «Приключений...» («Счастье-несчастье»), критик журнала «Библиотека для чтения» только пожал плечами: «В наше время романы пишутся, чтобы поставить разные вопросы,— и вдруг среди них наивнейший роман тридцатых годов».

Нужно было время, чтобы осознать серьезность «наивного» Вельтмана.

5

Не правда ли — хороший писатель, бойкий, точный, без преувеличений. Он иногда лучше Гоголя.

(*Л. Н. Толстой* о Вельтмане)
(в передаче А. М. Горького)

В последнее время в литературоведении все чаще ставится вопрос о Вельтмане как о «предтече» тех художественных открытий, которыми прославилась русская литература последующих эпох.

Еще Ап. Григорьев сопоставил Вельтмана и А. Н. Островского по способу создания картин быта в художественном произведении («новость быта»). П. И. Мельников-Печерский признавал сам, что в преимущественном интересе к определенным сторонам русского быта, в воссоздании «экзотических» сторон русской жизни он идет за Вельтманом.

Сопоставимы Вельтман и Н. С. Лесков: оба «чрезмерные писатели», оба мастера русского слова, представители своеобразной языковой системы.

Вельтман и Л. Н. Толстой. У них — сходная оценка войны и похожая философия истории; близкое по типу соединение художественных элементов повествования и философско-публицистических отступлений.

Вельтман и Андрей Белый. Ряд прозаических произведений Вельтмана выполнен в традициях ритмической прозы и напоминает романы А. Белого «Петербург», «Москва», его «Воспоминания».

Вельтман и Михаил Булгаков. Причудливый гротеск, живая фантазия, занимательность, яркое единение романтического и реалистического, самого уродливого быта и самых возвышенных идеалов, остросатирического и откровенно фантастического, когда в пределах единого художественного мира сосуществуют Нелегкий и Роман Матвеевич, Воланд и Берлиоз...

Но чаще всего имя Вельтмана вспоминается рядом с именем Ф. М. Достоевского. Вопрос о нем как о ближайшем предшественнике Достоевского возник еще в исследованиях 1930-х годов (З. С. Ефимова, В. Ф. Переверзев). Сопоставляя творческую манеру обоих писателей, литературоведы приходят к выводу о несомненной близости ряда элементов их художественных систем. Масштабы художественного дарования Вельтмана и Достоевского (как и большинства названных выше писателей), конечно же, различны: в подобных сопоставлениях речь идет лишь о том, что в творчестве

Вельтмана зарождалось нечто подобное творческим устремлениям Достоевского. Достоевский сам, кажется, это ощущал и потому пристально интересовался вельтмановским наследием: например, он (вместе с Л. Н. Майковым) собирался издавать оставшийся в рукописи роман Вельтмана «Последний в роде и безродный». Намерение это, к сожалению, не осуществилось, и роман не издан до сих пор...

Достоевский и Вельтман сопоставимы еще в одном отношении. Критика оценивала их только что выходившие произведения чаще всего настороженно; читатели — восторженно. Холодно встретила критика появление в 1838 г. романа Вельтмана «Сердце и Думка». В то же время сохранился восторженный отзыв об этом романе одного из читателей. Понятно, что оценка профессионального критика и читателя не равнозначны, но в данном случае вряд ли можно упрекнуть читателя в отсутствии художественного чутья.

Читателем, оставившим восторженный отзыв о романе «Сердце и Думка», назвавшим его лучшим произведением Вельтмана, был молодой Достоевский.

6

Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет...

(*С. Маршак.* «Пожелания друзьям»)

Мы не знаем, был ли знаком автор приведенных строк с романом Вельтмана «Сердце и Думка», но содержание вельтмановского произведения является, в сущности, детальным развитием той мысли, которая так ярко выразилась в классическом стихотворении Маршака.

Вельтман-писатель причудлив, как причудлива сказка. Порой эта причудливость настораживает, заставляет подозревать какой-то розыгрыш... «В руках писателя,— замечает он в «Страннике»,— все слова, все идеи, все умствования подобны разноцветным камушкам калейдоскопа. То же самое всякий перевернет по-своему, выйдет другая фигурка, и — он счастлив, ему кажется, что он ее выдумал». Но за внешней причудой и игрой вдруг просвечивается глубокая мысль, полная тревоги за человека, стремящаяся помочь человеку, взывающая к нему: «Был ли ты человеком в продолжение жизни?.. Сказал ли тебе хоть один человек от чистого сердца: ты добр!..»

Подобная двойственность и подобная игра составляет основу поэтики романа «Сердце и Думка», занимающего в творчестве Вельтмана особое место. Он создавался писателем в 1838 г., и именно с него начинается своеобразный перелом в его творчестве: попытка соединить романтические,

фантастические мотивы с ярким изображением русской действительности 30-х годов. Эта попытка вполне удалась писателю, и роман «Сердце и Думка» оказался свободен от некоторых недостатков его более ранних и поздних произведений: с одной стороны, от легковесности, необработанности формы, и с другой — от излишнего натурализма (элементы которого присутствуют в позднейших «Приключениях, почерпнутых из моря житейского»).

В отличие от других романов Вельтмана «Сердце и Думка» имеет довольно законченный и разработанный сюжет. Это рассказ о судьбе некоей прекрасной девушки Зои, «Сердце» и «Думка» которой были чудесным образом разлучены. Точнее, это рассказ о приключениях глупого «Сердца» и недоброй «Думки»... В основе сюжета лежит мысль о разладе в сознании человека: между разумным и желаемым, между чувством и расчетом, между минутным настроением и большой жизненной целью.

Начинает Вельтман, как всегда, необычно:

«В некотором царстве, в некотором государстве, не дальнее место от Киева, на реке Днепре, стоял городок, и жил в нем богатый помещик Роман Матвеевич с боярыней своей Натальей Ильинишной и с единородной дщерью Зоей Романовной». Так могла бы начинаться сказка или исторический роман из «баснословных» времен. Но нет: действие развертывается не в фантастических далях пространства и времени, а в очень близкой к читателю действительности: сначала в маленьком провинциальном городке под Киевом, потом в Москве и Петербурге — в «большом свете»... Да и герои взяты, что называется, «из-под носа»: провинциальные помещики, не весьма богатые, городские «правители», армейские офицеры, игроки в карты, светские жуиры и волокиты, составляющие тот быт, который мы условно привыкли именовать «гоголевским».

А что касается сказки — то есть и сказка: к услугам читателя и Ведьма, и Нелегкий, и Буря великая, и картина шабаша нечистой силы на Лысой горе в Иванову ночь... Но, как у хорошего сказочника, у Вельтмана чудесное всегда мотивируется реальным. Порой это чудесное приобретает характер иносказания, позволяющего доступнее объяснить противоречия жизни действительной. Зоя Романовна, сообщает автор, «всем бы хороша, уж лучше и быть нельзя, да вот, точно как будто кто-нибудь ее смолоду сглазил: думает то, а делает другое; хочет ласковое слово сказать, а скажет задорное; хочет как бы поглаже, а выходит коробом; наливает в меру, а течет через край; затеет нарядиться — смотришь, перерядится; где улыбнуться, а она надуется. Не проси — обидится, попроси — рассердится; хочешь угодить — выходит назло»... Как будто специально создана она для необыкновенных приключений!

Другое действующее лицо — князь Юрий Лиманский, сосед Зои Романовны. Не просто сосед, а друг детства, влюбленный в Зою до гробовой доски. Не просто влюбленность, а взаимная любовь... Но кто же в этом свете умеет чувствовать просто так, сообразуясь со своим умным сердцем и добрым умом! Зоя не была бы Зоей, если бы ее несчастный характер не создал

преград почти непреодолимых на пути к собственному счастью... А где разлад — там нечистая сила: уж это само собой разумеется!

И вот из-за вмешательства инфернальных сил...

Впрочем, вряд ли стоит в предисловии пересказывать сюжет романа. Остановимся лишь на некоторых частностях, чтобы помочь читателю воспринять роман, внешне очень незамысловатый, а на деле — и сложный, и мудрый.

Разлад между разумным и желаемым, считает писатель, особенно страшен в современной российской действительности. К ней Вельтман относится с грустной иронией: «Теперь и *покорно просим* устарело, и *покорно благодарю* не в моде; только *мое почтение* разъезжает в праздники по улицам само или рассылает на извозчике свое имя, отчество и фамилию: его угощают теперь стулом да красным словом...» Большой петербургский «свет», например, очень нравится холодному Северному ветру: «И сказать нельзя, как хорошо! Бесподобно как холодно! Холодный ум, холодное рассуждение, холодная красота, холодное сердце, чувство, душа; холодный расчет и холодные приемы... Бесподобно!» Где уж тут выжить горячим человеческим страстям!

Сама современная действительность гротескна и причудлива: тут, собственно, ничего и не надобно выдумывать. Вот, например, знаменательное событие: бал в честь именин Зои Романовны. С него вроде бы и начинаются происходящие в романе приключения: «Шарканье, здравствованье, поклоны и еще поклоны, поцелуи в уста, приседанья, пожатие руки, рекомендации, чиханье, сто лет жизни, сто тысяч годового доходу, не прикажете ли табачку, покорнейше благодарю; новое и поношенное, талия под мышкой, талия ниже живота, крахмал и обручи, волоса собственные, накладные и шелковые, гребенки резные и обложенные бронзой, и прочее, и прочее, и прочее, и все, что составляет провинциальный живой калейдоскоп, на который смотрит, вытаращив глаза в окно, со двора и с улицы вся чернь городская и — ахает». Какая живая и емкая картинка скрывается за одним этим перечислением.

Роман, причудливо соединивший фантастику и действительность, написан в шутливой манере, с присущим Вельтману юмором, иронией, сарказмом. Но эта шутка всегда имеет глубокую философскую основу.

Так, в «Сердце и Думке» впервые в творчестве Вельтмана возникает мотив его позднейших произведений: жизнь человеческая есть бесконечное блуждание средь волн моря житейского; а волны эти часто сбивают человека с пути, заносят неизвестно куда: к чужим берегам, к чужим судьбам... «Если человека выбить из седла, согнать с пути, который вел его к цели жизни,— в исступлении горя он мстит свое несчастие или сам на себе, или на других, или ни на ком не мстит, предаваясь воле судьбы и ее приговору начать новый путь, новую цель надежд и желаний. «Я заблудился,— говорит он сам себе,— то был не мой путь, он вел не к моему счастию».

А где тот путь, который приведет-таки к счастью? Рассуждения

Вельтмана пессимистичны: действительность гнусна, а мечта...— что мечта! Разве может мечта укрыть от бурь житейского моря? И вместе с тем в этом грустном мире мечту заменить нечем... «Хотя здания мечты, основанные на надеждах, внушенных собственною мыслию, не так прочны, как заложенные на постороннем внушении надежд; хотя это карточные домики, однако же и карточный домик может очень долго простоять, если не дуть на него»...

Но попробуйте-ка сохранить карточный домик от всех житейских ветров! Тут ведь и Бури великой не понадобится: любой Нелегкий может играючи разрушить его.

Кстати, о Нелегком... Он превращается у Вельтмана из «беса-проказника» народной сказки в очень сложный, философски заостренный образ. Способ действия его состоит в том, что Нелегкий проявляет все негативные стороны человека: скрытое недовольство чем-то или кем-то превращается его усилиями в открытую неприязнь, опасение за свою карьеру перерастает в манию преследования... В этом отношении Нелегкий близок Черту из романа Достоевского «Братья Карамазовы». У них, например, сходный взгляд на жизнь. Черт Ивана Карамазова сетует: «...Единственно по долгу службы и по социальному положению я принужден был задавить в себе хороший момент и остаться при пакостях. Честь добра кто-то берет всю себе, а мне оставлены в удел только пакости. Но я не завидую чести жить на шаромыжку, я не честолюбив...» Подобным же образом рассуждает и Нелегкий: «Я не честолюбив и не искателен; притом же величина ничего не значит... из одного человека можно больше сделать, чем из мильона голов; один в мильон раз лучше мильона: одного можно так раздуть, что он в состоянии будет съесть полчеловечества». Для Черта Ивана Карамазова тоже одна праведная душа «стоит иной раз целого созвездия — у нас ведь своя арифметика»...

Поэтому не случайно черт средней руки Нелегкий частенько высказывает мысли, которые волновали и самого Вельтмана, и позже Достоевского, которые и нас волнуют. Он, например, выдвигает план, который может помешать развитию человечества: «Одно средство: сбить их сомнением в истине понятий; народить разногласных систем и сделать истину не одностороннею, не двухстороннею, но многостороннею, чтоб каждый человек имел свое *собственное* понятие и сам сомневался в нем; завидовал бы понятиям других и вместе противоречил им». Но ведь из того, что человек не признает единых моральных норм общества, а создает собственные нравственные критерии, рождалась и раскольниковская идея «убийства по совести», и карамазовское «все позволено»...

Вельтман, как видим, умеет шутить, и усмешка его наполняется подчас глубоким философским и нравственным смыслом. Тут есть над чем задуматься и нам.

«Сердце и Думка» — «переходный» роман Вельтмана, создававшийся в тот период, когда от вымышленных исторических, утопических и фантастических ситуаций писатель вступал в «море житейское» и переносил в реальное

повествование опыт сказочника, опыт своей мудрой фантазии. Соединение легенды и быта придавало его роману особенный характер иносказательности. Не для всех современников она оказалась понятной и не все сумели оценить ее по заслугам. После 1838 г. роман «Сердце и Думка» ни разу не переиздавался...

Александр Фомич Вельтман был очень добрым человеком и свою большую душевную доброту умел переносить в творческие создания. Он мог бы в своей «докучной сказке» присоединиться к пожеланию Маршака из цитированного выше стихотворения:

Вам от души желаю я,
Друзья, всего хорошего.
А все хорошее, друзья,
Дается нам недешево!

В. А. Кошелев, А. В. Чернов

СЕРДЦЕ И ДУМКА

Приключение

РОМАН В 4-х ЧАСТЯХ

Чего в старину не бывало! Весело вспомнить, да рассказывать грустно: никто не поверит. Для веры в сказку нужно здоровое сердце, ясные очи, дух несмущенный, немного ума, больше разума... Да где взять этих сокровищ? Прожили отцовское наследие, дети! и скитаетесь по миру: не подаст ли кто доброе слово бедному сердцу на пропитание? Все стало жить обещаньем; ко всему есть дорога, да нет пути; везде есть люди, да нет человека; то же на небе солнце, да не греет; зелен лес, да иглами; есть на щеках румянец, да признак недуга; зреет плод, да червь подточил; есть звуки, да нет голоса; есть тепло, да с угаром... Что ж это за жизнь: телу простор, а душа на замке?

Бывало!.. да кто старое помянет, тому глаз вон!.. Бывало волшебство и чародейство; но и у нас есть своих чудес вдоволь, своих сказок довольно.

Вот, расскажу я вам сказку про сердце и думку, сказку волшебную.

ЧАСТЬ I



I

В некотором царстве, в некотором государстве, не дальнее место от Киева, на реке Днепре, стоял городок, и жил в нем богатый помещик Роман Матвеевич с боярыней своей Натальей Ильинишной и с единородной дщерью Зоей Романовной. Такой ненаглядной красавицы, как Зоя Романовна, на свете еще не было. Бог наградил ее и умом, и талантами; а заморские барские барыни научили всякому уменью и хитростям, и не своим языком говорить, и кланяться не по-людски, и одеваться куколкой, и петь, и плясать, и играть на музыке. Всем бы хороша, уж лучше и быть нельзя, да вот, точно как будто кто-нибудь ее смолоду сглазил: думает то, а делает другое; хочет ласковое слово сказать, а скажет задорное; хочет как бы поглаже, а выходит коробом; наливает в меру, а течет через край; затеет нарядиться — смотришь, перерядится; где улыбнуться, а она надуется. Не проси — обидится, попроси — рассердится; хочешь угодить — выходит назло.

По соседству в поместье жили князья Лиманские, небогатые люди, да в доброй приязни с боярином Романом Матвеевичем и Натальей Ильинишной. У них был сын, князь Юрий, красавчик, светлая душа, умный, ученый. Вот, то они в гости, то к ним в гости,— и полюбили молодые люди друг друга, да что-то не ладилось между ними: вместе тесно, а розно грустно,— и суждено было им век искать друг друга и ввек не найти.

Князь Юрий вырос; его повезли в Питер, в Москву, выучили всякому смыслу и определили в службу. А между тем и Зоя кончила курс наук; мадам отпустили. Она была охотница читать — накупили у маркитантов вместе с съест-

ными припасами и умственной пищи. Зоя стала совершенствовать свои понятия чтением романов, стала жить мысленно посреди шума большого света, любить князя Юрия страстно. Он переносился вместе с нею из романа в роман, инкогнито, то под именем Малек-Аделя, то под именем Сен-Пре, Фанфана, Алексиса... В два-три года она прошла с ним все события сердца, страсти, жертвы, измену, мщение, все перечувствовала она и с нетерпением ждала приезда любимца своего.

Наконец Юрий приехал, и все заговорило, что он приехал в большом чине адъютантском, мундир шитой-расшитой, шляпа с белым пером.

Впечатления молодости были в нем сильны; отец и мать, желая союза его с Зоей, питали в нем детские чувства и часто писали, что она его помнит, любит, с нетерпением ждет.

На другой же день по приезде Юрий отправился к Роману Матвеевичу. Приехал,— вся дворня разбегалась, заластилась около него: ваше сиятельство! ваше сиятельство!— бегут докладывать господам, что приехал его сиятельство молодой князь; Роман Матвеевич и Наталья Ильинишна торопятся навстречу, ведут под руки, усаживают дорогого гостя, заговорили его,— а Зои нет. Зоя хлопочет перед зеркалом... одевается... торопится... одно платье нехорошо, другое не годится; то локон развился, то коса худо расчесана... то, как я бледна! то, как я красна!.. то перетяни шнуровку, то распусти... то тесьма лопнула, то крючок сломался... Зоя из себя выходит.

— Пожалуйте, сударыня, в гостиную: его сиятельство молодой князь приехал,— докладывают ей, запыхавшись, то одна, то другая девка.

— Надоели!.. слышала я тысячу раз!— ну, приехал, так приехал!..— отвечает сердито Зоя, и лицо ее горит.

— Боже мой, как я красна! я как рак красна!..— вскрикнула она, наконец, в отчаянии — и бросилась в постель, утонула в пуху; смялось пышное платье, взбилась прическа.

— Что ж нейдет Зоя?— повторила еще раз Наталья Ильинишна.

— Она нездорова, не может выходить,— отвечали ей.

— Что с ней вдруг сделалось!— сказала неосторожная мать.

— Она ко мне равнодушна!— подумал Юрий и возвратился, грустный, домой.

Через несколько дней приезжает он снова; но уже без того простодушного порыва, который так сближает чувства любви

и дружбы при первой встрече после разлуки. Огорченный уже Зоей, он подходит к ней с недоверчивостию, со всем приличием светского человека, который не осмеливается вспоминать прошедшего;— Зоя также встречает его со всеми признаками равнодушия.

Зоя в полном расцвете красоты,— и сердце Юрия заныло, когда она назвала его князем.

— Она не любит меня!— подумал он, и эта мысль оковала его развязность, помрачила в первый раз ясность его души, и живая, приятная наружность его стала холодной, светской наружностью.

Опять уезжает он с тоской в душе; но мысль о Зое уже неразлучна с ним. Он бывал любимым, но еще никого не любил; привез непочатое сердце Зое, а она отвергает его. В столице он был кумиром женщин, а в ничтожном городке существо, которое, может быть, не знает еще себе цены, смотрит на него как на последнего из людей...

Ночь Юрия бессонна в первый раз; на другой день отец и мать ухаживают за ним, как за больным: он мрачен; его угощают, как гостя, но он от всего отказывается.

— Тебя разбила дорога, Юрий,— говорят ему.

— Может быть,— отвечает он.

Но Зоя является с отцом и матерью; Зоя грустна, смотрит на Юрия томными взорами,— Юрий оживает.

Зоя ласкова с ним, приветлива, припоминает старое, припоминает счастливое детство и взаимную их дружбу и, прощаясь, говорит ему:

— Вы завтра у нас?

— Она меня любит!— повторяет мысленно Юрий.

Наступила новая бессонная ночь; но бессонная от полноты радостных чувств.

На другой день Юрий уже на крыльях готов лететь на зов Зои с утра; но его не отпускают прежде вечера.

Он является ввечеру. Зои еще нет в гостиной; Роман Матвеевич заводит дельный рассказ про былое; от насильственного внимания у Юрия катится с лица пот градом... он посматривает на двери — Зои нет. Наконец она выходит; но Роман Матвеевич разговорился; в пылу рассказа он стоит перед Юрием и декламирует про времена своей молодости... Юрию некогда взглянуть на Зою.

Кончив описание прошедшего, Роман Матвеевич начал его сравнивать с настоящим и наконец воскликнул:

— Ну скажите, где теперь найти подобную дружбу и подобную любовь?

— Да-да, это правда!— сказал Юрий, вставая с места и думая прервать этими словами разговор. Он подходит уже к Зое. Но Зоя также встала с места и быстро вышла из комнаты.

Взор и холодная улыбка ее, казалось, говорили:

— Да-да, где теперь найти такую любовь! и не ищите ее!

Юрий не понимал, что значит эта новая холодность; но это был только легкий опыт в сравнении с тем, что он испытал впоследствии. Он находил в Зое все богатство совершенств женских, только сердце ее было для него непостижимо, он колебался между счастием и отчаянием; то повторял он в восторге: она меня любит!— то, измученный сомнением, твердил: не любит она меня! Юрий не мог уже отказаться от Зои, не разрешив тайны чувств ее в отношении себя; но день от дня задача сердца становилась сложнее.

Характер Зои был странен, непостижим.

Смотрите на изображение мадонны, страстно, пламенно; она отвечает вам, не отводит взоров от своего поклонника. Влюбленное зрение встречает взаимность; но слух и осязание никогда не встретят ее, будут мучениками любви к мадонне.

Так и к Зое, казалось, недоступна была нежность ее поклонника.

Она подводила его стезею терпеливой надежды к раю; еще один шаг, и он готов уже был прошептать: мой рай в тебе! — вдруг перед ним пустыня, а подле него мрамор в образе женщины,— и все надежды свернулись в тучу, улетели. Он сам каменеет от удивления и ужаса; но мрамор оживает, глаза блестят, манят его — снова очарование, снова виден рай в отдалении, и счастливец ведет к нему будущую свою подругу.

Он задумался, предался грустному отчаянию, выжидает, чтоб она его спросила: о чем вы задумались?— но ждет напрасно.

Он старается угодить ей, и встречает безмолвную благодарность сердца, и слышит холодное: покорно вас благодарю!— а для страсти довольно одного бесстрастного слова.

Это был лед, облеченный в красоту, который, казалось, боялся растаять от пламени любви; это была утонченная чувствительность, которой нельзя было сказать: вы шутите!— чтоб не услышать в самую торжественную минуту надежды на сознание любви: я шучу!— Это была гармоника Эола, под которую нельзя было подстроить струн сердца.

Страждет самолюбие Юрия; в нем то вера, то неверие; в ней — то увлекающее внимание, то неожиданное равноду-

шие без причины,— любовь то умирает, то воскресает.

Прошли все четыре месяца отпуска в недоумении:

— Завтра,— думает Юрий,— решится участь моя! завтра остаюсь здесь навсегда, или навсегда еду!

Приезжает, ищет минуты, чтоб быть глаз на глаз с Зоей,— находит.

— Прощайте,— говорит он ей,— я... завтра еду...

— Вы едете?.. желаю вам счастливого пути!..— отвечает она голосом, который скрыл вполне ее внутренние чувства. Тронутый этим равнодушием, Юрий хотел продолжать; он подходил уже к ней; но Зоя, не обращая на это внимания, встала, пошла в другую комнату.

Юрий остановился, побледнел, и поток чувств, готовый вылиться перед Зоей, внезапно стесненный в груди, вскипел и хлынул проклятием любви.

— Прощай, безумная девушка!— произносил Юрий, преследуя глазами Зою, голосом беззвучным.— Будь твое сердце в вечном разладе с чувствами и желаниями твоими!.. Пусть любовь в глазах твоих кажется ненавистью, а ненависть любовью!.. будь ты сама себе во всем препятствием, сама себе тайным врагом, обманчивым другом, неверным любовником, холодным мужем, слепым руководителем!.. Прощай, камень холодный, могильный, в котором живет только грустная память!.. Есть и без тебя на свете довольно любви: я отдам себя первой, в которой есть сердце, которая польстит моим чувствам!.. но сердце мое будет вечно грустить по тебе... и с счастием душа не сживется!..

В глазах Юрия заблистала слеза, но он сдавил глаза, не дал ей выкатиться и скрылся, не простясь ни с кем.

II

Отчаянная, бледная ходит Зоя перед открытым окном в своей комнате. Таинственная ночь на Иванов день озарена яркой луной; но затмение надвигается на нее; надвигается на небо и полоса черной тучи с юга. Тиха вся окрестность, только иногда резкий ветр пройдет по лесу за Днепром, волны заколышутся, а отраженный в водах лик луны рассыплется по струям искрами. Сидит Зоя перед открытым окном, бледная. Она не грустит, переломила грусть свою. Юрий в глазах ее самый ничтожный из людей: Юрий уехал, уехал от Зои, которая его любит! В понятиях ее совершается чудо: самый презренный из людей лучше Юрия, и в то же время самый лучший из людей недостоин стопы его.

Не теплую молитву шепчет Зоя, недоброе что-то задумывает.

Ветер посвистывает за углом, луна побагровела; за Днепром, вправо, толпятся не облака, а чудища.

Летит старая ведьма на шабаш, на Лысую гору, летит мимо самого окна и поет:

кумара!
Них, них заполам бада,
Эшохомо лаваса шиббада,
кумара!
ааа, ооо, иии, эээ, ууу!

Поет, поет, да вдруг начнет соловья дразнить:

Тьуу, тьюу, тьюу!
Сшпь, шью, шокуа!
Тьё, тьё, тьё!

— Что это!— вскричала испуганная Зоя.

Ведьма оглянулась, увидела Зою.

— Ааа! ооо! ууу! Вот постараться поскорее состарить, да и в ведьмы ее!— сказала она, да и присела на трубу; оправила растрепанные седые волоса чепчиком с бахромой, опустила широкие полы юбки, которые распахнуты были, как перепончатые крылья летучей мыши, нырнула в трубу и очутилась в комнате Зои приветливой пожилой старушкой, такой доброй, сладоречивой, что, казалось, в устах ее пчелы развели сот и мед.

— Здравствуй, милая моя!

— Ах!— вскрикнула Зоя.

— Что испугалась, дитя мое!.. призадумалась и не видала, как я в двери вошла... Верно, велика грусть на сердце?.. о, грусть-злодейка истомит, иссушит, подточит стебелек и веточку, опадет сердце незрелым яблочком.

— Вам нужно маминьку?

— Э нет, радость моя, на тебя полюбоваться пришла да погадать, что с тобой сбудется.

— Ворожея, колдунья!— подумала с испугом Зоя.

— Нет, не ворожея, не колдунья,— продолжала ведьма,— а кое-что знаю: знаю, что ты мудрена уродилась, смышлена на всякие науки, учена разным хитростям, играешь на гуслях...

— Я не играю на гуслях...

— Ну-ну-ну, те же гусли цымбалды, да не русские: все равно, тоже в струны побрякивают... Не о том дело... Ты, милочка, соскучилась, думкам-то твоим не сидится дома; на все четыре стороны разлетелись,— чай, и тебе хочется

за ними вслед? Знаю, знаю, и не говори... хочется тебе посмотреть белого света, проведать: куда-то улетел мой голубок хохлатый? а? Все можно! То-то чуда на белом свете и радостей! людей-то, людей! один надоел, другие есть лучше его... А живут не по-здешнему: в палатах высоких, во дворцах пространных, золота без счету, всякой воли вволю, женихи на выбор... а любят-то как! не по-здешнему!.. Ты вот, сказать, сидишь,— а он в бархатном кафтане, в шелковых рукавичках, вдруг зашаркает, подсядет, да за ручку... Все с почтеньем да с уваженьем — преучтивый народ!.. А потом позовет плясать нерусскую пляску... какую бишь? ты ведь знаешь?..

— Французскую кадриль...

— Да-да-да! душа не нарадуется, как начнет вертеть и пристойно обнимет, вот... так!..

— Ой!— вскрикнула Зоя. Глаза ее помутились, кровь вскипела, дух занялся, по всей пробежал какой-то сладостный трепет.

Ведьма продолжала щекотать Зою, покуда она не изнемогла, очи ее закатились, лицо пылало, из уст заклубились слюнки.

— Дитя ты мое, то-то еще молода, ничего не знаешь!.. то ли еще будет!.. Да, вот как там: все на учтивостях; а здесь что за обычаи?.. глупые!.. девушки хоть умри без радости: четыре стены не четыре стороны; то и ясный день, как в окно солнце светит, то и ласка, что по голове погладили да сказали: ай умница, за работой сидит!— о-хо-хо! на тюремное заключенье дочерей родят!..

Зоя вздохнула.

— Нет, дитятко, я не старого покроя, не жму плеча. Румяному цвету не слезами себя поливать!.. Слыхала ты про счастье?

— Слыхала.

— Слыхала! а в глаза не видывала; да и где ж видеть: счастье живет за горами; а как живет,— не по-здешнему!.. Вот, примером, тебе он нравится... ну, ведь нравится?

— Нравится.

— А если ты ему не нравишься: тогда что?

— Тогда просто умирать!

— То-то и есть, что нет!

— Что ж делать?

— А на что привораживанье?

— Какое?

— Не все вдруг; много узнаешь, скоро состареешься; а есть и другое средство...

— Какое же?

— Верное-верное! Вот, сказать, ты любишь, а он не любит, любит другую; а ты по глупости и давай грустить: изноешь, истаешь, выльешь душу слезами... Что ж толку?.. А на что другой?.. дело иное, как бы он был один на свете, одинехонек...

— Изменить ему!.. как это можно!— вскричала Зоя.

— Изменить? кто тебе сказал? да что же это такое за слово?.. ведь, красная девушка, красное солнышко: на одного ли оно светит?.. с одного ли цвета пчелка мед собирает?.. подумай-ко?

— А может быть, он любит?— спросила Зоя, вздохнув.

— Любит? ну и пусть любит; полюбит, да и перестанет; не замуж же выходить.

— А как же?

— Что ж с тобой, сударыня, толковать: и вол по своей доброй воле не становится в ярмо.

Зоя призадумалась.

— То-то вы, девушки! живут в глуши и обычаев не знают! Сама ты скажи: дарит ли кто волю?— волю продают, душенька; а в твои ли годы продавать ее? Свет ты моя краса! верно, ты в клетке родилась: пригожа собой и поешь на славу, а не ведаешь воли и мирского раздолья! Книги читала?..

— Читала.

— Ну, что в книгах писано?

— Мало ли что, всему и верить нельзя.

— Вера, душенька, с глазу приходит. За окном улица, по улице ходят добрые молодцы; а за улицей-то что?— другая улица; а за той-то что?— Днепр, река гремучая; а за Днепром-то что? Небось конец света, не так ли?

— Как можно: миру конца нет.

— Умненько; а где ты бывала?

— Бывала в Киеве.

— Только-то? дальний путь: из хмары в потемки!.. А много чего видала? навеселилась, нарадовалась, напитала душку досыта?

— Совсем нет: я и там так же скучала, как и здесь.

— Что ж ты видела, свет ты моя радость? что ж ты знаешь? Думаю я, и охоты нет?

— Ах, как это можно; я бы желала все видеть, все знать.

— Связаны твои крылышки!.. Но, честное слово, развязала бы я их... сперва одно бы развязала, потом другое — по очереди, иначе не могу.

— Я не птица!— сказала Зоя, вздохнув.

— Не ты, а воля птица.

— Что ж толку: развяжешь крылья, куда полечу я одна сиротинкой?

— Э, дружочек мой, нашла бы дорогу и посреди темного леса, не только что посреди белого света... Не девица красоту носит, а красота девицу.

— Нет, я не брошу дом родительский!

— Кто про то говорит: что за охота бросать верный приют... Не то! спроста ничего не сделаешь. Сперва пустим сердце на волю,— пусть его, погуляет, потешится, поищет любви и радостей. Воротится — пустим думку на волю; пусть и она посмотрит, как люди живут. Воротится — тогда подумаем о суженом-ряженом.

— Это что-то чудно!.. а все-таки дома буду сидеть?

— Вот раз! Зоя дома останется, а ты полетишь, куда глаза глядят.

— Как будто Зоя и я — не все равно.

— Глупенькая; а книги читает!

— Я не понимаю!

— Нашел тупик! да я тебе растолкую. Случалось тебе сидеть дома сложа руки, ничего не видя, ничего не слыша?

— Очень часто случалось.

— А что это значит? Это значит, что самой-то тебя дома нет: сама-то ты носишься невесть где... Так да не так и я сделаю: будешь ты дома, да не будет тебя в дому; а будешь там, где сама захочешь.

— Если б это можно было!

— Чего не можно, да не все то мы знаем. У каждого есть своя наука, свое и уменье. И я кой-чему выучилась из старых писаний.

— Отчего же я читала старые книги, а про это ничего не читала?.. даже в книге «Открытые тайны древних магиков».

— Кто их открывал!.. Не по этим книгам я училась: *нашенские* книги не пером писаны... Да не об этом дело; что знаю, то знаю, и тебе помогу.

— Если б это можно было, я бы не знала, что дала за это!

— Ни золота, ни спасибо,— ничего не нужно; только: шу, шу, шу, шу... слышала?

— Да для чего ж это?

— Уж это я знаю; на разные снадобья. Дам я твоему сердечку сорочьи крылышки: летит, куда хочет, далеко ли,

близко ли... только, чур, рано ли, поздно ли воротиться домой ровно в Ивановскую полночь.

— Что ж за охота летать сорокой!

— Не бойся, это только говорится так; будет оно летать сорокой, а всем казаться красной девицей. Какой хочет, на выбор: увидит любую красавицу, и будь ты она.

— Если бы так!

— Так и будет... Ну, скинь же крестик, мое сердце.

— На что это?

— Так следует. Скидай же, скидай! не бойся!

Зоя послушно скинула крестик, повесила к образам.

— Ну, протяни ко мне ручку... держи ладонку...

Зоя подала руку, открыла ладонку. Ведьма повела по ладонке круги пальцем, зашептала...

— Ой! — хотела вскрикнуть Зоя, не вытерпев щекотанья...

— Тс! ни гугу!

Снова Зоя протянула руку. Ведьма повела круги, зашептала:

Сорока-воровка
Кашу варила,
На́ порог скакала,
Гостей сзывала.
Гости не бывали,
Каши не едали.
Этому в тарелочку,
Этому на блюдечко,
Этому на ложечку,
Этому поскребушки...
А ты мал,
Круп не драл,
По воду не ходил,
Воды не носил,
Тут пень,
Тут колода...
А тут...
тепленькая водичка с кипяточком!
Шш, шш!

— Ох! — вскрикнула Зоя, когда ведьма защекотала ее под сердце. У Зои помутились очи, потемнело в глазах. Щекотанье разлилось по всему телу, сладостная дремота налегла на все чувства, она, как беспамятная, припала к открытому окошку... Легонький ветерок обвевал прохладой ее волнующуюся грудь.

III

Восходящее солнце озарило усыпление Зои.

Сорока прыгала подле нее по окну.

«Щелк! щелк!» — раздалось над ухом Зои.

Сорока вспорхнула, задела хвостом, провела концом хвоста под носом Зои.

Щекотанье разбудило Зою; она очнулась бледна, в изнеможении; окинула мутным, робким взором вокруг себя — никого нет. Окинула полусонным взглядом темные берега Днепра, розовое утро и восходящее солнце над туманом реки...

Сорока щелкала близь окна на березе.

Зоя вздрогнула, ее обдало утренним холодом, она чувствовала какую-то пустоту в груди; а мысли так и бушуют в голове... Она перешла к постели, бросилась в пух, закуталась одеялом и задумалась бог знает о чем.

Солнце уже высоко поднялось. Зою приходят будить — Зоя не встает. Зою приходит будить сама мать.

— Вставай тогда, когда другим вздумается!— говорит Зоя сердито.

— Ты, верно, во сне говоришь, моя милая!

— Моя милая!.. какая ласковая брань!— шепчет про себя Зоя.

Она приподнимается с постели. С равнодушием набросила на себя платье, свернула волосы под гребенку, не взглянула даже в зеркало, и вышла в гостиную, к чайному столу, поцеловала холодно руку у отца и матери и села.

— Глупой обычай! как будто руки на то созданы, чтоб их целовать!

— Что ты шепчешь сердито про себя?— спросил ее отец.

— Ничего.

— Как ничего?

— Я шепчу про себя.

— А, понятно: ты сама себя бранишь за какие-нибудь глупости. Это умно.

— Ты не оделась, не причесалась?— заметила мать.

— Для кого ж мне одеваться?

— Для приличия.

— Не знаю, что это за особа — приличие!— говорит сама себе Зоя.

Зоя вдруг переменилась так, что нельзя было узнать ее. Все прекрасное, все пленяющее чувства как будто исчезло для нее. Все стало в глазах ее обыкновенно, недостойно

внимания; все люди, казалось, поглупели в ее понятиях: слова их стали для нее пошлы, поступки бессмысленны. Равнодушие ко всему, презрение ко всем стало ее девизом. Общество для нее стало сборищем паяцов, которые, однако же, нисколько не смешны; на женщин смотрела она как на кукол с пружинами.

Роман Матвеевич привык понемногу считать это характером,— и даже иногда восхищался этим, говорил, что Зоя в отца. Наталья Ильинишна боялась, что это какая-нибудь скрытая болезнь, и ухаживала за Зоей.

В Зое все изменилось; но наружность ее стала еще привлекательнее: румянец подернулся легонькой бледностию, яркость очей — небольшой томностию... Смотреть на Зою — Зоя прекрасна, в Зое все земные совершенства.

IV

В упомянутом нами городе жил только один нечистый дух, по людскому прозванию *Нелегкий;* его было очень достаточно для соблазна чиновников по военной и гражданской части, всех званий и состояний жителей городка. Народ был все сговорчивый, неученый, живший по старым обычаям и в худе не видевший зла.

От захождения солнца до восхода Нелегкий успевал все исполнить, что относилось до его обязанности; а именно, облететь всех значительных лиц города и внушить им все, что было необходимо для соображений и деятельности следующего дня. Явится ли в ком-нибудь слепая вера, он поселял сомнение; сойдется ли кто с кем-нибудь по чувствам, он внушал подозрение; настанет ли тишина в душе и сердце, он тотчас нагонит облачко, которое разрастется в невзгодье; и везде, где только таится искорка под пеплом, он ее раздует,— везде нашушукает, везде наплетет, все смутит, расстроит.

Прилетит ли к Полковнику, тотчас на ушко:

— Каков Поручик-то! он и знать не хочет начальничьих приказаний!

— Да, да!— подумает в ответ ему Полковник.

— Отдан приказ не ходить в фуражках, а он в фуражке прогуливается по городу, да еще уверяет, что в баню шел.

— Да, уверяет! кивер ему помешал в баню идти!

— Разумеется... а ротный командир, надеясь на заступничество батальонного командира, потакает ему...

— Потакает, решительно потакает!

— Да он не увернется: при первом разводе малейшая

ошибка, или взвод собьется с равнения, с дирекции, или, что еще и более, с ноги — под арест, да и только!

— Непременно под арест!

От Полковника Нелегкий к Поручику; и на ушко:

— Полковник что-то не очень благоволит?

— Заметил я, привязался черт знает за что!

— Да, я знаю, привязался!.. это просто наушничество полкового адъютанта...

— Верно, по злобе, что я не хотел с ним играть...

— И то может быть!

— А вернее по дружбе с полковым лекарем, за ссору...

— Как будто и средства нет проучить их за это! стоит только пожаловаться батальонному командиру, сказать, что он знать не хочет батальонных командиров!..

— Непременно скажу!

Из полкового штаба Нелегкий к Судье, и на ушко:

— Стряпчий, верно, взял взятку за дело о разбитых яйцах...

— Уж это я чувствую!

— И утаил: дележа не любит! да еще и огрызается, надеется на письмоводителя губернаторского!

— Недаром свел короткое знакомство!

— Да можно подвести дельце!.. например, по следствию о повесившемся!

— Да, да! с Лекарем сняли с петли прежде, чем собралась вся следственная комиссия.

— Противозаконное дело!

— И уверяют, что была надежда помочь! во всяком случае, противозаконное дело! до прибытия следователей никто не имеет права снимать петли с удавленника.

— Если б даже в нем были еще признаки жизни!

— Просто под суд!

От Судьи Нелегкий к Городничему, и на ушко о намерении Квартального столкнуть его с места.

— Чужого горла ищет, сам свое подставляет!..

— Я его!

В отношении всех прочих жителей, женатых и живущих семьями, Нелегкому было очень легко; помощниц ему было тьма: в каждой семье по помощнице деятельной, усердной, предупредительной, понятной: стоило ему только слово сказать, и дело загоралось.

Несмотря на легкость службы, Нелегкий рассчитал, что ему еще легче будет, если удастся пережить и весь служебный городской народ.

— Что за город,— думал он,— без городничихи и судейши, и подобных значительных особ с причетом подчиненных жен?— Пустынь! ничего порядочного не сделаешь... Надо непременно сочинить бал, собрать всех невест и настроить женихов... Без бала ничего не сделаешь, без бала никак не разогреешь чувств... таков век! непременно надо взболтать всю внутренность! Бал у Романа Матвеевича! больше не у кого... За дело!

И Нелегкий понесся исполнять свои замыслы.

На другой же день Роман Матвеевич, сидя с женой, после долгого молчания, сказал:

— Что это значит, Наташа, что в городе поговаривают, будто я даю бал?

— Не знаю, глас общий, глас...

— Ну, ну, ну! по крайней мере, не мешай имени божьего!.. Впрочем... отчего же и не задать бала? а? как ты думаешь?

— Давно бы пора: чем же и уваженье приобретать, как не угощеньем? Притом же мы, как новые здесь жители, ознакомимся со всеми... Вот на днях именины Зои... как бы кстати: она уж невеста.

— Что ж, можно и бал... По-моему бы, просто обед; а после — стола три виста.

— Вист сам по себе, в боковой комнате, а в зале попляшут.

— Быть по сему! Послать в Киев напечатать пригласительные билеты!

— И! полно! просто послать звать всех чрез человека.

— Непременно по билетам! не иначе. Надо показать, что мы не какие-нибудь провинциалы.

V

Между тем Нелегкий подготовляет женихов, раздувает во всем холостом мире пламенную любовь, которая совершенно потухла под пеплом пламенного усердия к службе,— возбуждает разными средствами и способами охоту жениться, внушает решительное намеренье искать себе невесту.

Сперва, как предуготовительное средство, пустил он в ход статью «О преимуществах на долговечность женатых перед неженатыми»,— и заставил задуматься всю холостую братью города.

Потом, не нарушая нигде семейного мира, не расстроивая ни одной жены с мужем в продолжение целой недели, он

з ставил всех мужей только и говорить, что о семейственном счастии, о достоинствах женщин, о тишине их души, о готовности жертвовать всем для мужа.

Потом распустил он слух, что есть тайный приказ обращать особенное и строгое внимание на чиновников холостых как людей не оседлых, ничем не обузданных, не связанных и легко впадающих в искушение; а людям женатым давать все выгоды и преимущества, должности и чины, большое жалованье и места с доходами.

Потом Нелегкий начал действовать на каждого порознь, начиная с пожилых, на которых должно было употребить соблазн первого разбора, основанный на рассуждении и расчете.

Городничий был старше всех, ему было уже за пятьдесят лет; он привык жить холостяком и не думал о женитьбе. Сперва Нелегкий надул ему в спину сквозным ветром, заставил прихворнуть, разогнал всех слуг по собственным надобностям... В первый раз почувствовал Городничий сиротство холостого человека.

— Плохо, как некому походить за больным да за хворым!— шепнул он ему.

— Надо жениться!— подумал Городничий.

— О, женитьба необыкновенно как возбуждает и подкрепляет жизненные силы!

— Опоздал немножко...

— Лучше поздно, чем никогда!..

— Не видел, как прошло время; то то, то другое, служебные хлопоты — некогда подумать о женитьбе; а отпусков не хотелось брать!.. ну, немножко поизносился...

— Пустяки, самое настоящее время жениться в эти годы; это совершенные лета, в которые мужчина ветреностью своей не испортит жены; а причина измены не старость: причина измены — недоверчивость и ревность...

— Да, да, как подумаешь, точно: стоит только крепко любить...

— Не ревновать и не быть скрягой для жены; женщины на лета не смотрят.

— Право так! сам я знаю пример: одна жена бросила тридцатилетнего мужа по любви к почтенному старику... а отчего? оттого, что ей ничего не нужно было в муже, кроме душевной любви, беспредельной доверенности...

— Именно беспредельной!

— И надежного покрова...

— Так, так!

— Надо жениться...

— Непременно! не теряя времени!

— К чему медлить? стоит только найти ангела...

— Ну, это лишнее...

— Жаль только, что теперь девушки очень избалованы, знать не хотят воли родительской... В старину прекрасно было: девичьего согласия никто и не думал спрашивать.

— Э, да согласие пустяки! Это только так говорится; очень нужно уговаривать! каждую девушку можно на бобах провести.

— Да где ж найти невесту? черт знает!

— Есть в чем затрудняться! была бы охота.

— Охота! о, за этим дело не станет!— сказал Городничий, приподнимаясь с постели.

Мысль жениться так сильно подействовала на него, что ревматизм как будто рукой сняло, и Городничий, одевшись с особенным вниманием, сел на дрожки и поехал по городу женихом-гоголем.

А между тем Нелегкий застал Судью в раздумье.

— Славный дом!— говорил он сам себе.— Жаль упустить из рук! Купил бы, да скажут: откуда взял деньги? какими доходами разбогател в два года? Досадно!..

— А жениться?..— шепнул ему Нелегкий.

— Жениться! хм! вправду!..

— Какое привольное житье Стряпчему и магазейному Смотрителю... Строят ли дом — на женино имя; покупают именье, дают пиры — на женино приданое!..

— Чудная мысль!

— Жена — преважная вещь на службе: ограда! в черный день убежище!

— Богатая мысль! непременно жениться! Я могу жениться по любви...

И Судья, пыхтя, приподнялся с кресел, подошел к зеркалу.

— По любви... только любовь, говорят, невещественный капитал... который редко растет и ужасно как скоро проживается...

— Нет, непременно по любви! Я хочу испытать, что это за особенная такая вещь, которую все в стихах воспевают.

— Главное, решиться жениться; а остальное все будет, у всякой невесты вдоволь любви к жениху...

— Клятву даю, что женюсь!— сказал Судья, отправляясь в присутствие.

К Полковнику явился Нелегкий поутру рано, когда он

заклинал всеми нечистыми силами бессонницу и, для возбуждения сна, читал какие-то стихотворения!

— Черт знает!— говорил он.— Тоска, не спится!

— А жениться?— шепнул ему Нелегкий в рифму.

— Ах, как хочется жениться!— вскричал Полковник.

— И медлить не годится; потому что от бессонницы сердца можно бодрости лишиться,— заметил Нелегкий в рифму.

— Только досадно, что надо в отпуск проситься; жениться, так в столице жениться: нельзя без связей жениться...

— В столицу? хм! там надо по-французски волочиться...

— Черт знает, там нельзя, говорят, и трубки курить!.. а я без трубки не могу быть...

— Жениться на каком-нибудь поместье...

— Действительно, лучше на поместье: женюсь где-нибудь здесь, в окрестностях. Эй! Завалюк!.. трубку!.. да скажи, что в десять часов ученье с пальбою... Весь город выедет на смотр... Здесь должны быть невесты.

От Полковника Нелегкий к Поручику.

— Это гонение!— кричал Поручик, ходя по комнате.— Подам в отставку!..

— А потом куда?

— Потом куда?..

— Да: определиться снова на службу? опять та же история, и — снова в отставку?

— Хм!

— А жениться? жениться надо на службе; потому что мундир есть один из лучших соблазнов для невест; притом же поручичий чин есть чин любви...

— Именно чин любви!

— Вполне соответственный пылким страстям, самый удобный для нежности; сверх того, в этом чине можно и клятвы давать — поверят на слово...

— Я, однако ж, читал в романах, что женщины любят только немного полюбить этот чин, а не любят выходить за него замуж?

— Вот прекрасно! нужно только надежнее опутать всеми пятью чувствами сердце и в пылу страсти предложить бежать, непременно бежать; потому что не невесты не любят этого чина, а отцы да матери...

— Где ж тут отыскать невесту с приданым?

— Как не найти! стоит только пошарить по всем углам.

— Эй, Петр! Педрилло!

— Пьфу!— раздалось за перегородкой.

— Что ты там плюешь, урод!

— Что плюешь! надо чем-нибудь сапоги-то чистить.

— Ты от кого слышал, что у помещика, как бишь его... недавно что приехал в город... что у него бал?

— От кого! да все от него же, от кухмистра.

— Да он почему знает?

— Вот, не знать, что в барском доме делается!

— И прекрасно! На балу выберу невесту; буду волочиться и женюсь!

— И прекрасно!— повторил Нелегкий, отправляясь к Прапорщику, который исправлял должность полкового адъютанта.

— Впрочем,— думал он, сворачивая к Маиору,— об этом юноше нечего и беспокоиться: он влюбчив, ему стоит только показать какую-нибудь белокурую свинку в пелеринке — женится.

VI

Из числа семи человек, избранных Нелегким в женихи,— ровно семи человек; ибо демонский успех каждого предприятия основан на этом числе,— труднее всего Нелегкому было справиться с Маиором да с городским Лекарем. Маиор ненавидел женщин, а городской медик страстно был влюблен в поэзию; поэзия была его страсть; он гораздо лучше писал стихи, нежели рецепты; но судьба и люди предназначили ему ставить в конце строчек, вместо рифм, драхмы и унции, сочинять мадригалы во здравие.

Нелегкий вертелся-вертелся около Маиора, придумывал-придумывал, с чего бы начать о женитьбе, и чуть-чуть не стал в тупик. Маиор не только что сам не любил женщин, но не терпел и подчиненных женатых. Он логически говорил, что каждая жена есть также непосредственный начальник мужа; а в одно и то же время нельзя служить под командой двух начальств, не зависящих одно от другого и не имеющих никаких между собою сношений.

Нелегкий тщетно ломал голову; ни одна убедительная мысль не представлялась ему довольно сильною, чтобы потрясти твердость Маиора и склонить его к женитьбе.

— Ах ты роскошь!— вскричал Нелегкий исступленным голосом, с отчаяния,— ах ты арбуз!..— да как хватится лбом об стену... Мысли так и брызнули искрами.

— Ага!— сказал он,— вот она!— и к Маиору на ушко:

— Ужасно как неприятно: в батальоне завелась секта скопцов!

— Того и гляди, что наживешь выговор; остановят представление к следующему чину!

— Это еще ничего; а вот что худо: поговаривают, что батальонный-то командир сам принадлежит к этой секте, сам развел ее...

— Я, я, развел ее! ах, злодеи! Это какой-нибудь тайный враг распускает такие слухи.

— Как начнется следствие, и эту клевету примут за истину, тогда что? Как сделают запрос, да если еще потребуют свидетельства...

— Это ужасно! осрамят, погубят!

— Ни в службе, ни в добрых людях не найдешь места...

— Ай-ай-ай-ай-ай! что делать!

— Поскорей жениться... в опровержение худых толков и подозрений...

— Да, нечего делать, одно средство — жениться!.. Черт знает, жениться!.. Враги, злодеи! какие распустили слухи!.. Да, ба! не таков дался — женюсь назло, женюсь на первой встречной!..

Распорядившись таким образом насчет Маиора, Нелегкий торжественно хлопнул себя по голове и сказал: ай голова!— потом отправился к городовому Лекарю. Он сидел подле окна на улицу, в халате, красной ермолке и вписывал в золотообрезную книгу свои стихотворения; всего счетом 50 стихотворений. Он намерен был отправить их в Петербург для напечатания.

— Самая досадная для меня вещь — стихотворные поэты!— сказал Нелегкий, садясь на корточки подле Поэта.— С ними не сговоришь, их не удивишь никакой новой мыслью, не убедишь логикой; все народ с возвышенной душой, с непорочными чувствами, с вечным постоянством к неземной красоте! Любят только себя да природу!

Нелегкий взглянул, что пишет Поэт. Он переписывал стихи под заглавием: *«К моему идеалу Анастазии»,* и громко произносил каждый стих, передавая его перу:

Я погружался в море жизни бурном;
Я все постиг, все испытал,
И на челе Урании лазурном
Я тайны чудные читал!

— Какая молодость и какая опытность!— думал Нелегкий.— Он, верно, перелюбил и всех женщин... У него тут и к Полине, и к Алине, и к Серафине, и к Графине!.. Притом же он влюблен в какой-то идеал, называемый Анастазией, который, может быть, еще в пеленках!.. Тут посредством

внушения ничего не сделаешь: он привык только к внушениям поэтическим... Попробую посредством впечатлений.

О, Анастазия!—

воскликнул вдруг Поэт,—

где ты?.. Как сон исчезли
Мои надежды, сладкий сон!
Как дружно чувства все гигантами полезли
На неприступный твой балкон!..
Но взор твой свергнул их!.. о, как душа страдает
Вдали от невских берегов!..

— Ааа!.. вот что хорошо! вот что кстати!— шепнул Нелегкий.— Так вот что такое Анастазия... Однако ж надо узнать некоторые подробности. Удивительно ли видеть подобную красоту и достоинство и влюбиться! — прибавил Нелегкий над самым ухом Порфирия.

— Видеть!— вскричал Порфирий,— но почти не видеть, взглянуть только, не успеть даже разглядеть — и влюбиться!.. Вот любовь, внушенная свыше!..

— То есть с балкона!— прибавил Нелегкий.— Это чудо! Тут надо особенным образом распорядиться, надо употребить возвышенный, романический способ: сочинить героическую любовь Анастазии!..

Нелегкий свернулся вихрем, закружился по улице и надул что-то в уши бедной дворянке, которая ходила из дома в дом с засаленной челобитной к сиятельным особам.

Она воротилась к окну, подле которого сидел Поэт, вскинула руки, ахнула, вскричала: это он! это он! я нашла его! и — бросилась в дом, вбежала в комнату Поэта, грохнулась к коленам его, обняла их, проговорила: Порфирий, я нашла тебя! умираю у ног твоих!

Она была в камлотовом старом капоте, купавинское изношенное покрывало слетело с ее головы, распущенные волоса раскинулись по плечам.

— Боже мой!— вскричал испуганный Поэт.— Она без чувств! Кто она такая?.. Она назвала меня по имени... Не помню...

Схватив бутылочку лаванды со стола, он начал лить ей на голову, оттирать виски и пульс.

— Порфирий!— произнесла таинственная женщина, приходя в себя.— Порфирий, это ты! о, как я счастлива!

И она устремила на него черные, впалые глаза свои.

— Позвольте узнать... я не имею чести знать...— произнес смущенный Поэт.

— Вы... не узнаете меня! не узнаете! о жестокий!..— И она зарыдала, закрыла лицо руками...— Жестокий!— повторила она,— зачем же вы пронзили сердце мое своим взглядом, зачем вы поселили любовь в бедную Анастазию!..

— Анастазия?— произнес Поэт, побледнев, рассматривая черты женщины.

— Да, Анастазия; вы не помните меня, милый, но неверный поэт!..

Она снова залилась горькими слезами и продолжала:

— Вы не помните!.. о, нет, вы только не узнаете меня. Вдали от Петербурга... я изныла, я увяла от страданий любви...

— В Петербурге!..— проговорил Поэт.

— Да, в Петербурге: помните ли, вы прошли мимо балкона, на котором я сидела... взглянули на меня взором пламенным, страстным... а потом опять прошли и взглянули?..

— Неужели это вы?— вскричал Поэт.

— Я самая.

— В Литейной?

— Да. Одного взгляда вашего достаточно было, чтоб погубить бедную девушку!..

— Да вы тогда встали и ушли...

— Я сама не помнила, что делала... я послала вслед за вами, узнать, кто вы; я хотела писать к вам, написала письмо и ждала, когда вы пойдете мимо балкона... но вы вдруг исчезли из Петербурга... Я узнала место, куда вы отправились на службу... в безумии страсти бросила дом родительский... пошла в виде богомольщицы в Киев... искать вас, умереть у ваших ног... На дороге я заболела... и вот видите, что любовь и болезнь сделали из меня!.. Вы меня не узнаете!.. о боже!..

— Милая Анастазия, не плачьте! успокойтесь!— повторял разжалобленный Поэт, сажая ее на канапе подле себя.

— Порфирий!— произнесла она, схватив его руку и прижимая к сердцу.— Порфирий! я хочу только умереть подле тебя!.. Пожалей только обо мне!.. Этого для меня довольно: любить ты меня не можешь... красота моя исчезла... пожалей меня, Порфирий!.. Я для тебя все бросила, отказалась от отца, от матери, от их богатства, от всего!..

— Анастазия! милая Анастазия! сколько жертв! и я... я не оценю этого самоотвержения для любви! о, нет!..

И Поэт, в исступлении чувств, хотел уже обнять Анастазию. Но она отдалила его от себя рукой.

— Нет, милый Порфирий, я могу тебя любить, лежать у ног твоих, смотреть тебе в глаза, быть твоей рабой... но не могу прижать тебя к своему сердцу: я не помрачу моей непорочности, не посрамлю имени отца моего!..

— Ангел!— вскричал Поэт, упав пред ней на колени,— скажи, что ты моя!

— Нет, Порфирий, только закон может назвать меня твоею... но... я не хочу быть твоей женой... Найди жену, которая бы вполне достойна была твоего сердца.

— Ты не хочешь быть моей? нет, ты моя! ты моя, Анастазия! это рука моя! это сердце мое! эти очи мои! все мое!

— Порфирий, Порфирий!

Но Порфирий лобызал уже руки, плечи, голову своей Анастазии.

— Клянусь тебе, ты моя!— повторял он.— Твоя судьба по предопределению соединена с моей.

— Ты клялся, Порфирий!.. любовь моя не может противиться твоей клятве.

Анастазия сжала Порфирия в своих объятиях. Бледное лицо ее загорелось от самодовольствия, глаза заблистали, раскинутые, как смоль, волосы помогли очарованию.

— Как ты прекрасна! как пленительна бледность твоя, на которой оживает румянец!.. О, опять тот же огонь в очах, который светил мне с балкона!.. Посмотри, послушай... я сейчас только писал о тебе:

О, Анастазия! где ты? как сон исчезли
Мои надежды...

вдруг в минуту грустной безнадежности, не только что знать взаимность, но даже видеть Анастазию, она является передо мной... Я не верю, сбылось это или это сон!..

— Нет, нет, не сон, мой друг, не сон!— вскричала Анастазия, сжимая его руку.

В это время пронеслась по улице почтовая коляска; в ней сидел военный.

Анастазия взглянула в окно и вдруг вскрикнула.

— Что такое!— чего испугалась Анастазия?— спросил беспокойно Поэт.

— Ах, мой брат! мой брат проехал; он, верно, скачет по моим следам!.. Спрячь меня, спрячь, Порфирий!— повторяла она, вскочив с места и удалясь за перегородку.— Порфирий, друг мой, нас разлучат!..

— Нас разлучат?

— Могут ли разлучить мужа с женой!— шепнул Нелегкий.

— Могут ли разлучить мужа с женой!— повторил Поэт.

— Но я еще не жена твоя; и каким образом, когда обвенчаемся мы?..

— Завтра же обвенчаемся тайно...

— Но как назовешь ты свою Анастазию?.. Мне нельзя назваться дочерью действительного статского советника и сказать свою фамилию — никак нельзя! без позволения родителей нас не будут венчать...

— Как же быть?

— Знаешь ли что, мой друг: я здесь остановилась в доме одной доброй женщины, которая сжалилась надо мною и предложила приют... я попрошу ее, она согласится назваться моей матерью... нечего делать!.. она же почтенная капитанша... Когда же мы обвенчаемся, то я пошлю сама к брату. Не имея уже возможности возвратить меня к родителям, он, из любви ко мне, будет за меня ходатаем, чтоб они простили меня и отдали назначенное мне приданое, сто тысяч деньгами да 500 душ...

— И прекрасно!.. Милая Анастазия, мне хочется, чтоб ты сбросила поскорей эту страннеческую одежду... Я пойду куплю шелковой материи... пунцового цвета... это мой любимый цвет!.. и одену тебя на свой вкус, нисколько не подражая этим глупым модам!.. Для меня так отвратительны глупые шляпки, корсеты, длиннополые платья, шали, платочки... Я тебя наряжу турчанкой!.. Мне ужасно как нравится чалма или шапочка, из-под которой рассыпаются локонами волосы... К тебе это пристанет!.. потом род тюники... шаровары...

— Ах, как это можно, мой друг, что я за мужчина!..

— Это предрассудки! ты сама увидишь, как хорошо! Я пойду куплю, что нужно... кстати, мне надо купить перчатки. Сегодня ввечеру... такая досада!.. бал у... как его!.. я должен буду хоть показаться там!.. до свиданья!..

Поэт поцеловал руку Анастазии и пустился бегом в ряды.

Я погружался в море жизни бурном,
Я все постиг, все испытал!—

напевал Нелегкий, несясь по городским улицам, с самодовольствием.

VII

Печатные пригласительные билеты на бал были получены из Киева не прежде, как за день до бала, разосланы чем свет в самый день бала; но это нисколько не потревожило городских барынь: им не нужна неделя или две для сборов и для заказов платья, наколок, прически по последней моде

или новому фасону; у них весь праздничный наряд лежит бережно в сундуке, обитом железом, ждет терпеливо какого-нибудь торжественного события и иногда, чтоб не залежалось,— проветривается, чтоб не съела моль — обкладывается листовым табаком. Часа два-три очень достаточно, чтоб достать это платье из его заключения, обтряхнуть, обдуть, подчистить, пригладить, прикупить ленточек в лавке, вымыться, причесаться и нарядиться... даже найдется время для крика, для брани, для ссоры с мужем и для слез.

Однако же полученные билеты с оттиском амуров и вязей цветов произвели волнение в умах чиновных дам города; имея довольно времени для сборов, они посвятили утро взаимным посещениям и беседе о будущем бале. Каждой хотелось узнать: не ее ли только мужу с семейством сделана подобная честь, не забыли ли кого-нибудь пригласить, не пригласили ли кого-нибудь из недостойных приглашения; каждой хотелось высказать свои догадки: что это такое будет и как все будет, сколько будет счетом кавалеров и дам, танцующих и не танцующих, на сколько персон будет ужин, и прочее.

К Анне Тихоновне, супруге Стряпчего, с которой нам должно будет познакомиться, приехала на дрожках с фартуками супруга Казначея, с которой мы не имеем необходимости знакомиться.

— Вы на балу?— сказала она, входя в двери.

— Как же? я получила пригласительный билет.

— Получили?

— Получила; чему же тут удивляться!

— На свое имя?

— Нет, на имя мужа с семейством.

— Слава богу! Я думала, что только меня нашли безымянную и назвали *семейством!* Я и не понимаю этого обычая: как будто для мужей дают бал, а не для дам! и что за неучтивый адрес: его благородию Филиппу Климовичу Кондолубкину! Как будто не знают ни чина, ни того, что он кавалер и что на адресе пишется: «милостивому государю». А что всего лучше: знаете ли, кто приглашен?

— Ну?

— Да еще с женой!

— Кто же, кто?

— Как подал мне муж билет, я и говорю: Настька, сбегай к помощнице да попроси серег с антиком надеть только на вечер... Приходит назад... Что ж ты? «Помощница, сударыня, сама на бал приглашена, сказала, сама наденет;

приказала просить извинения». Я так и ахнула!.. Да ей ли, дуре, на балы сбираться! пешком, что ли, она пойдет? а я с собой не возьму, ей-богу, не возьму!..

— Скажите пожалоста!

— Господи, думаю, уж не нашли порядочных людей в городе!

— Да, может быть, просили вашего мужа со штатом?

— Совсем нет! Просто такое же точно приглашение.

— По билету?

— Билет, печатной билет!.. и на такой же розовой бумажке!

— Верно, места будут по званью и по чинам; а в гостиную не пустят всякую сволочь.

— А как танцы начнутся да какой-нибудь кавалер поставит ее выше меня, а чего боже избави, еще в первую пару?

— Этого невозможно; вероятно, будет сортировка.

— Позволю я себя сортировать с кем-нибудь! Мне хоть и не ехать так в ту же пору! Скажу мужу, чтоб отблагодарил за сделанную честь.

— Нет, нет, полноте, поедемте!.. Посмотрим, что за чудеса будут. Мы составим свою партию, отдельную; да и кто ж нас сравняет с какими-нибудь? нас сам бог не сравнял! Поедем, поедем!

— Право, не поехала бы, да не хочется только заводить ссоры на первых порах.

— В чем вы будете?

— И сама еще не придумала... Думаю надеть кисейное, то есть не простой кисеи, а цветной. Хорошо ли будет?

— Пристойно, очень пристойно.

— Не надену ни за что!

— Что ж так?

— Слава богу, я уже не девочка, не 14-го класса чиновница, чтоб показаться в люди просто в пристойном платье!

— Ах, боже мой, да нарядитесь хоть в парчу, кто вам будет завидовать!

— В парчу — не в парчу, а жаль, что не успею сшить платье из шали: теперь в моде шалевые платья.

— Слишком богато испортить шаль на платье!

— Муж купит новую. У меня шаль бур-де-суа новехонька; а как это будет великолепно: на подоле бордюр в полтора аршина!

— Конечно, вы люди богатые, с доходами, вам надо отличаться от прочих!

— Не вам считать, Анна Тихоновна, наши доходы!

— Где ж нам считать казенный ящик; в нем, чай, и сама казна не досчитается!

— Уж, конечно, сударыня, лучше не считавши брать со встречного и поперечного!

Посчитавшись добрым порядком, казначейша вскочила с места — и вон, а Анна Тихоновна плюнула вслед за ней.

VIII

Бал в полном доме, который приспособлен к неге тихой семейной жизни,— это просто несчастие на целую неделю; жизнь посреди шуму, возни и пыли, тоска ничем не выразимая, горестное лишение всех приютных насиженных мест, расстройство обычного порядка, к которому привыкла душа и с которым расставаясь сердце то плачет, то сердится.

— Нет, *черт бы драл,*— кричит Роман Матвеевич,— если б знал я, что поднимется такой содом, я бы ни за что не дал бала!

Но это было позднее раскаяние.

Небритый, немытый, в халате, не знал он, где пригреть место: везде мытье, битье и катанье; везде лощенье, чищенье, установка и перестановка; кабинет его исчез, спальни не стало. Разоблаченные кресла и стулья разогнаны на середину комнат; столы и шкапы визжат под восковой суконкой. Тут толпа недоростков побрякивает хрусталем и фарфором, таская посуду из кладовой, как напрокат.

— Осторожнее! не стукни!— кричит ключница.

Тут толпа девок чистит мелом почерневшее от времени серебро.

— Тише! глупая! изомнешь!— кричит Наталья Ильинишна.

Тут толпа слуг-верзил ходит около стен с крыльями, метелками и щетками.

— Осел! ты видишь, что я иду!— кричит Роман Матвеевич.

Бабы носятся с тазами, с лоханками, с песком и сором, с тряпками и мочалками, с горячей водой и холодной водой, на босу ногу.

Хаос в доме Романа Матвеевича.

Он в отчаянии; только Зоя сидит спокойно в своей комнате, книгу читает и ни о чем не заботится.

Но в день ее именин все уже на месте, все в новом порядке, все тихо, все светло, никто нигде не ступи, никто ни до чего не дотронься,— чтоб не замарать.

Начинаются другие заботы — стряпня на кухне; и там с непривычки хаос: везде нужен глаз, напоминанье и брань хозяйки. И этот день скомкан в заботы, скуку и тоску для бала. Обед на скорую руку; после обеда опять сборы и хлопоты — весь дом наряжается; только Зоя еще ни о чем не заботится, сидит близь окна, думы думает.

Но вот настал вечер. Наталья Ильинишна велит зажигать люстры. Она уже готова, в пышном *гарнитуровом* платье, обшитом широкими блондами. На голове у нее пышный чепчик с тюлевыми лентами; вокруг шеи собольи хвосты рублей в тысячу.

Роман Матвеевич также готов: манжеты гребнем стоят, к петличке фрака привешены все знамения походов и заслуг. Он распоряжается, где ставить столы игорные.

Гости — страшное слово у нас: с ними нераздельна мысль о беспокойстве, о принуждении себя, о приеме, об усаживании, о *занятии* разговорами, о внимании к породе, значению в свете, богатству, красоте и безобразию... В этом слове нет уже удовольствия, радушия без расчета, угощенья без надежды на выгоду или на *сбыт.*

Кончив заботы и исполнясь ожиданием гостей, Наталья Ильинишна вздумала взглянуть на наряд дочери; а Зоя еще и не думала об наряде.

— Ты еще не одета!— вскричала с ужасом Наталья Ильинишна.

— Успею еще,— отвечала Зоя равнодушно.

В это время послышался чей-то подъезд к крыльцу.

— Гости, ведь гости уж на дворе!— вскричала снова Наталья Ильинишна и бросилась встречать гостей.

— Для кого мне одеваться?— говорила сама себе Зоя, садясь перед зеркалом и приказывая чесать голову.

— Для кого мне одеваться?— повторила она,— для подведомственных чинов Городничему и Судье? для уродов с пером за ухом? для полковых фертов?..

И три раза переменяла она свою прическу, три раза перешивали ей рукава и талию.

Еще не успели зажечь всех люстр, а званые гости толпами уже, как в море вал за валом, стремились в залу.

Шарканье, здравствованье, поклоны и еще поклоны, поцелуи в уста, приседанья, пожатие руки, рекомендации, чиханье, сто лет жизни, сто тысяч годового доходу, не прикажете ли табачку, покорнейше благодарю; новое и поношенное, талия под мышкой, талия ниже живота, крахмал и обручи, волоса собственные, накладные и шелковые, гребен-

ки резные и обложенные бронзой, и прочее, и прочее, и прочее, и все, что составляет провинциальный живой калейдоскоп, на который смотрит, вытаращив глаза в окно, со двора и с улицы вся чернь городская и — ахает.

Сперва явился Стряпчий с женой, потом Заседатель со всем домом, потом разные чиновники с фамилиями, и вдруг — девятый вал окатил залу огромным семейством — две пожилые девушки, две взрослые, два подростка, тучная дама в чепце с бахромой и наконец — сам глава семьи, отставной служака, тащил за руку малолетнего сынишку, который прятался за него.

Войдя в залу, почтенный сослуживец Суворова произнес громогласно:

— Ну, кадет, что ж ты прячешься! шаркни и топни! скажи: здравия желаю, Роман Матвеевич и Наталья Ильинишна! Экой дикарь!.. Имею честь представить семейство мое: это две женины сестры, а вот Даша да Груня, мои дочери... а вот шалун, будущий кадет. Он у меня мастер плясать по-русски — не может слышать музыки, тотчас вприсядку!.. Ну, ну, целуй руку у Натальи Ильинишны, она тебе конфект даст!..

— Просим покорно! — говорили хозяева, встречая гостей и указывая гостиную; а между тем новые толпы теснятся в дверях. Городничий, Судья, секретари, столоначальники, и — снова девятый вал: Полковник с своими офицерами; но этот вал ударил вдоль стены, исключая Полковника, который прошел в гостиную.

Прибывшие дамы вытеснили, наконец, всех мужчин из гостиной; а чинопочитание и старшинство, наблюдавшееся в строгом смысле, производило ужасную суматоху, бесконечную пересадку с места на место.

Хозяйка предоставила эти счеты своим гостям. Иные без церемонии говорили: «Позвольте!», другие, почтительно вставая с своих мест, предупреждали учтивостию: «Не прикажете ли здесь сесть?»

Наталья Ильинишна не знала, кому отвечать, ее осыпали вопросами; несколько каких-то, вероятно, очень значительных дам в городе уселись на диване и около дивана и перекрикивали и друг друга, и всех:

— Давно ли к нам изволили приехать, Наталья Ильинишна?

— Наталья Ильинишна, как вам нравится наш город?

— Вы, верно, Наталья Ильинишна, скучаете здесь, потому что...

— Уж конечно, скучают, после губернского города.

— Почему ж так уверительно говорить, что Наталья Ильинишна скучает у нас!..

— Ах, почему ж, да это уж известно...

— Что ж тут известного, здесь также люди живут!..

Наталье Ильинишне негде было слова приставить.

— Позвольте познакомиться с вашей дочкой, Наталья Ильинишна,— сказала сквозь шум и споры прочих дам жена Стряпчего Анна Тихоновна.

— Ах, боже мой, да где ж она! — вскричала Наталья Ильинишна и приказала звать ее к себе.

Она совсем позабыла в хлопотах про свою именинницу. А Зоя одевалась-одевалась, повторяя: для кого я буду одеваться! — и вдруг раздумала одеваться, сбросила платье, надела реденгот, велела взять из комнаты своей свечу и села подле окна. Вероятно, прекрасная лунная ночь внушила в нее расположение к уединению.

Наталья Ильинишна ахнула, когда сказали ей на ухо, что Зоя еще не одета.

Испуганная, она прибежала в комнату Зои,— темнехонько.

— Зоя! Зоя!

— Что вам угодно? — отвечала Зоя.

— Что это значит? что с тобой? не больна ли ты?

— Голова болит.

— Я думала, бог знает что с тобой сделалось!

— Я не знаю, что ж еще нужно? не явиться же с жалким лицом.

— Ты страмишь нас: гости съехались, хотят познакомиться с тобой, а ты прячешься! Подумают, что ты урод, которого нельзя показать в люди.

— Что ж делать?

Наталья Ильинишна стала сердиться: Зоя равнодушно выслушала гнев ее. Наталья Ильинишна стала просить ее, чтоб она хоть на минуту вышла в гостиную.

— Я выйду, если вам угодно,— отвечала Зоя.

Снова начала она свой туалет; а между тем Наталья Ильинишна предуведомила гостей своих, что Зое сделалось дурно, но что она, немного погодя, представится им.

Между тем Роман Матвеевич засадил почетных гостей в вист и бостон и сам сел играть; между тем полковая музыка загремела польское, начались танцы.

В числе званых гостей был и незваный гость. Этот гость ни пришел, ни приехал, его не встречали и не усаживали,

никто об нем не думал, никто не замечал его, никто с ним не разговаривал; несмотря на это, он не жался в углу, был очень развязен, ходил из комнаты в комнату, мешался в игру, в танцы, в разговоры, шептал что-то многим, и казалось, что все соглашались с его словами, не противоречили ему и, не отвечая вслух, как будто говорили: именно так!.. и подставляли с любопытством к нему ухо.

С одного лица срывал он улыбку, с другого гримасу. Обращение его даже было слишком вольно: то подсматривал он карты и шепотом пересказывал чужую игру, то подставлял танцующим дамам и кавалерам ногу и сбивал их с такта. Но любимым его занятием было сочинение сердечных интриг. Из каких доходов служил он всем страстным сердцам — этого нельзя было понять; вероятно, это составляло страсть его собственную, страсть, полную самоотвержения, заботящуюся только о счастии других: он был поверенным сердца у всех и каждого. На него, казалось, возложили свои надежды и наши женихи для приискания им невест; только Поэт был равнодушен к его заботам: забывая свою Анастазию, он засматривался то на ту, то на другую девушку, а иногда и на женщин. Полковник же, Городничий, Майор, Судья, Поручик и Прапорщик перемолвились с незваным гостем, и он каждому по очереди указал на шесть девушек, дочерей помещиков, приехавших на бал к Роману Матвеевичу из окрестностей города.

Каждому из женихов наших понравились выбранные незваным гостем невесты, каждый прошептал: мила, очень мила! волочусь за ней!

Девушки тоже как будто поручили незваному гостю выбор женихов; и он показал каждой на суженого. Не понравились только двое: Городничий да Судья.

— Неужели этот старикашка намерен на мне жениться? — я не пойду за него! — сказала предназначенная за Городничего, который уже подсел к матери ее с своим почтением.

— Не пойду за него!.. а за кого же?.. за молодого?.. а?..

— Пойду! пойду! только пусть скорей присватается!

— Мне не нравится этот толстяк! — говорила другая про Судью.

— Тем лучше, что не нравится: иначе это была бы измена; притом же у такого Гименея и Амуру будет место.

— Пойду, пойду, только пусть скорее присватается! — отвечала и другая.

И вот Полковник прошелся два раза польское с какой-

то полненькой Юлианой Игнатьевной; не сводит с нее глаз, и она не сводит с него глаз; он подсел к ней, завел разговор...

— Как я счастлив, что...

— И мне приятно, что...

Одним словом, они поняли друг друга.

Маиор волочится за какой-то Анелией Доминиковной.

Поручик за Сусанной Людвиговной.

Прапорщик за Розой Самуиловной.

Городничий за Кларой Юстиниановной.

Судья за Агнессой Викторовной.

Все они ужасно как довольны своими паннами, а панны довольны ими,— симпатия творит чудеса.

После второй кадрили незваный гость успел уже свести каждого с *паном ойцем* и с *паней маткой,* и в разных углах залы можно было бы слышать:

— *Пршепрошем пана до-нас!..*

Приглашение было принято с восторгом.

— Ну, теперь дело пойдет само собою! — сказал незваный гость, и — его как не бывало.

В комнате игорной тишина, нарушаемая только отрывистыми словами: шесть! восемь!.. вист!.. во вторых!.. два онера!.. двенадцать!.. А! это ужасно!.. в сюрах!.. Пропали!

В гостиной, вокруг стола с вареньем и конфектами, говор хаотический.

В зале гром музыки и шарканье.

Но вдруг в гостиной говор внезапно замолк, языки как будто отнялись. В зале все как будто мгновенно окаменело, обратясь лицом к дверям, откуда вышла Зоя.

Зоя вышла.

— Тс! — шикнул Полковник, обращаясь к музыке и махнув рукой.

Музыка повиновалась приказанию командира; кавалеры поклонились дамам, не кончив экосеза; все девушки бросились к Зое; но Полковник загородил всем дорогу.

— Приятный сегодняшний день,— начал он, обратясь к Зое,— потому что сего дня именины... с чем...

— Покорно вас благодарю! — сказала Зоя, перервав приветствие и подставляя щечку паннам.

Она обошла всех панн, спросила о чем-нибудь каждую, сорвала с уст каждой ответ вроде: да-с, как же-с, так точно-с,— и остановилась посреди залы, как будто ожидая, не придет ли еще кто-нибудь здороваться с ней и поздравлять ее. Около нее составился круг из девушек, которые, не ре-

шаясь сами начинать разговора, ждали, не спросит ли их о чем-нибудь Зоя; за девушками круг мужчин, и все они также устремили на нее глаза; поменьше ростом и чином приподнялись сзади на *цыпочки.*

Зою нисколько не смущало это странное положение; она равнодушно осматривала всех и, казалось, думала: откуда собралось столько глупых людей мужеского и женского пола? — чего им от меня хочется?

На кого Зоя ни взглянет — все от ее резких взоров краснеют и потупляют глаза.

— Вот невеста! — подумали чуть-чуть не вслух Полковник, Майор, Поручик, Прапорщик, Городничий и Судья.— Вот совершенство, чудо красоты!.. Ах ты, господи, что за прелесть! — повторяли они мысленно.

— Дело решено, я без памяти влюблен!— прибавил каждый из них.

Только Поэт смотрел-смотрел на Зою и — у него родилась прекрасная мысль в голове:

«О ты, которая...»—

прошептал уже он; но вдруг слова Зои прервали его восторг.

— Что ж мы не танцуем? — спросила она.

— Надо сделать ей честь, пройти польское,— сказал про себя Полковник, обращаясь к полковому адъютанту и приказывая сказать музыкантам, чтоб играли польское.

Между тем как он натягивал лосиные перчатки, а музыка поверяла инструменты, продувала флейты и фаготы,— Поручик подскочил к Зое и ангажировал ее на мазурку.

— Позвольте вас просить на польское! — сказал Полковник, подходя к ней и мигнув музыкантам, чтоб они начинали.

— Я уже ангажирована,— отвечала Зоя.

Музыка грянула польское.

— Что это значит? — вскричала Зоя, обратясь к Поручику,— прикажите играть мазурку!

Но Поручик заметил грозный взор командира своего и не осмеливался приказывать противное тому, что он приказал.

Однако ж волю Зои торопились исполнить все, не состоящие под командой Полковника.

— Шш, шш! мазурку!— воскликнули несколько голосов.

Но и музыка полковая знает порядок службы — продолжает польское.

— Мазурку прикажете? — сказал Полковник, обращаясь к Зое.

— Извольте, следующую с вами,— отвечала она ему.

— Мазурку! — вскричал Полковник.

«Мазуречка панна, не кохайся дармо!» — затрубила, задудила, зазвенела и забарабанила музыка.

Зоя встала на место.

— Вы, сударь, никакого приличия не знаете! — шепнул Полковник Поручику.

— Где ж мой кавалер? — спросила Зоя.

— Извольте идти! что вы стоите? Ангажировать умеете, а танцовать нет! — сказал еще сердитее Полковник.

Поручик с нерешительностию подал руку Зое. Мазурка началась. Его ноги путались, переплетались от страха; он задевал за всех, толкал, останавливался, чтоб извиняться, и не дерзал притопнуть по обычаю.

Полковник стоял против него; смотрел на Зою страстно, на Поручика грозно и пожимал плечами.

— Извольте посмотреть на него,—говорил он стоявшему подле него штаб-офицеру, в эполетах, которые отделялись от плеч, как распахнутые крылья, готовые к полету,— он срамит весь полк!

— Не понимаю-с, он кажется быть не в своем духе; я, однако ж, не замечал за ним никогда такой неисправности,— отвечал Маиор.

Зоя как будто сжалилась над Поручиком: после второй фигуры она предложила кончить мазурку.

— Теперь я могу и с вами танцовать,— сказала она Полковнику.

— Прикажете польское?

— Нет, мазурку.

— Мазурку... но, может быть, польское будет для вас спокойнее...

— Я не люблю спокойствия.

Зоя встала на место. Встал подле нее и Полковник, приподняв плеча до самых ушей, приотставив ногу и растягивая на руках перчатки. Однако ж заметно было, что строгою фрунтовою его наружностию овладела робость. Музыка заиграла, круг двинулся, Полковник подпрыгнул было, но не попал в такту; еще раз — и в другую не попал. Первый неудачный шаг опасен и в кампании, и в компании: он часто лишает бодрости целую армию, не только что одного Полковника.

Полковник смутился и начал *ходить*; но Зоя начальственным тоном напомнила ему устав мазурки.

— Что это значит, господин Полковник, вы, верно, забыли, что в мазурке не маршируют?

Поневоле каблук его должен был отделиться от полу.

— Вы, верно, живали в Польше?

— А что-с?

— Это видно по вашей манере танцовать мазурку.

Эти слова были так же могущественны, как слова полководца, знающего, что для успеха — в храбрых должно возбуждать бодрость, а в трусах трусость, по системе гомеопатической.

Первым говорит он: «Друзья, я уже читаю в глазах ваших победу! да здравствуют победители!» — и храбрые воины ломят сквозь ад.

Трусам говорит он: «Друзья, не оборачивайся затылком к смерти: пропадешь, как собака!» — и трусы лезут, вытаращив глаза, на смерть,— и смерть отступает от них, как от храбрых.

Полковник притопнул и пошел, и пошел, и пошел! — глаза его как будто спрашивали Зою и всех окружавших мазурку: каково?

Зоя тешится, назначает фигуру за фигурой. От Полковника пышет уже огонь; пот градом; он смочил весь платок свой; но предложить кончить мазурку, сказать: я устал,— стыдно; притом же Зоя говорит: «Я никогда не танцовала с такой охотой мазурку».

— Как я счастлив! — отвечает Полковник.— Вы любите полковое ученье?

— Да,— это довольно занимательно.

— Я для вас всякий день буду делать полковое ученье, Зоя Романовна.

— Вы замучите солдат.

— Э, помилуйте, ничего-с!.. А увертюры вы любите?

— Я люблю концерты.

— У меня музыканты непременно будут играть концерты.

— Вы не устали? — сказала Зоя.

— Ах, как можно! нисколько!

— Так мы протанцуем еще фигуры три и кончим мазурку *«кошкой и мышкой»*.

Когда началась *«кошка и мышка»*, Полковника можно было выжать как губку, напитанную водою. Забыв свою ненависть к расстегнутому мундиру, он распахнул его; и хотя стан, выпрямленный обязанностями службы в струнку, нисколько не годился уже для ловли *мышки*, но он не отставал от Зои, преследовал ее сквозь арки рук, обращающиеся внезапно в стрелки готического свода, гнулся в три дуги и за-

служил всеобщее рукоплескание, поймав, наконец, очаровательную мышку.

— А? что не танцуешь? — сказал он с самодовольствием, проходя мимо Маиора.

— Не пройтиться ли и мне с Зоей Романовной,— говорил про себя Городничий в раздумье.— Польское опоздал!.. хоть бы экосез пройтиться!.. Преглупо теперь танцуют сломя голову! Как жаль, что теперь совсем оставили польское с разными фигурами. Самый приличный танец для благородного общества... Да все равно: я приглашу на польское!

Едва Городничий сделал несколько отважных шагов по направлению к Зое, как вдруг, откуда ни возьмись, Поэт:

— Не угодно ли вальс?

— Проклятый! — прошептал Городничий.

— Ах ты, медицина! — подумал и Судья, который также собирался пройтиться с Зоей Романовной польское.

Вальс гремел. Восторженный Поэт летал с Зоей.

В это только время выставилось вперед и обнаружилось новое *лицо,* новый танцор, который сбирался уже отхлопнуть Зою, притопывал такту ногой и, хлопая рука об руку, произносил почти вслух: ейн-цвей-дрей, ейн-цвей-дрей!

Это *лицо* был холостой инвалидный Подполковник, позабывший на долговременной службе свой родной язык и не научившийся в продолжение 50 лет усердия и деятельности русскому языку; это был Эбергард Виллибальдович, которого сам Нелегкий — при выборе семи женихов — не считал уже к чему-нибудь годным.

— Какая прекраснейше! — думал про себя Эбергард Виллибальдович, догоняя взорами летающую Зою,— хоц доннер веттер! Я пы ошень шелал шенильси на нем!.. Ейн-цвей-дрей, ейн-цвей-дрей!.. Какой талья! какой глазе! ейн-цвей-дрей! надо вальцен немного!

Едва Поэт опустил из рук Зою и она бросилась, запыхавшись, в кресло, вдруг Эбергард Виллибальдович подлетел к ней, пристукнул ногой и хлопнул по родному обычаю в ладоши под самым носом Зои.

— И сморчок танцует!— прошептала Зоя.

Эбергард Виллибальдович повторил пантомиму приглашения на вальс.

— Нечего делать, чтоб сравнять их достоинства, надо танцовать и с этим! — подумала Зоя и подала руку Эбергарду Виллибальдовичу.

— Ейн-цвей-дрей, ейн-цвей-дрей! — шептал он, подвигаясь вперед медленно и как будто прицеливаясь к такте

ногами; шел-шел и вдруг развернулся, обхватил талию Зои и начал перекидывать ейн-цвей-дрей...

— Браво, браво! и Булгар Филиппович танцует! — вскрикнули дамы. Составился круг зрителей. «Ейн-цвей-дрей», произносимое сперва шепотом, становилось слышнее и слышнее, звучнее и звучнее — и, наконец, раздавалось по зале во всеуслышание.

Поднялся хохот; все стали вторить Эбергарду Виллибальдовичу, повторяя так же: ейн-цвей-дрей, ейн-цвей-дрей!

— Нет, это уже слишком! — сказала Зоя вслух и, вывернувшись из рук Эбергарда Виллибальдовича, который долго еще вертелся один, волчком жужжа: ейн-цвей-дрей,— но, наконец, ударился в толпу любопытных и остановился, сказав: хоц доннер веттер!

К Зое бросилась было толпа кавалеров с *«не угодно ли»*, но она ускользнула от них и скрылась. Только ее и видели.

Этим и заключились танцы. В залу втащили длинный стол, подали ужин. За ужином хватились Зои; но она была уже в постеле.

Провожая гостей, Роман Матвеевич и Наталья Ильинишна, по русскому гостеприимному обычаю, просили не забывать их, жаловать без зову, на чашку чаю или откушать — когда угодно, мы всегда рады гостям!

IX

— Зоя!.. Какое прекрасное, поэтическое имя! — думал Поэт, возвращаясь с балу домой почти на рассвете.— Какое совершенство красоты, Зоя!.. Какой игривый ум!.. Когда я ее спросил: вы, конечно, занимаетесь литературой? — Как же,— отвечала она,— я иногда даже и сочиняю эпистолы в прозе.— А я, сдуру, не расслыхал последнего слова, да и спросил: какой размер вы предпочитаете? Преглупой вопрос! К счастию, она обратила его в шутку: я не люблю ни мерить, ни весить,— сказала она. Что, бишь, я еще спросил ее?.. Да: любите ли вы чтенье? — Очень.— И библиотеку имеете? — Как же.— Большую? — Да, книжки толсты.— Плутовка!.. а я еще глупее спросил: вы сами или ваш батюшка составляли ее? — Нет, ее составляли в Петербурге,— отвечала она, как будто не поняв глупого моего вопроса... О, какое простодушие и вместе острота!.. Зоя... покоя... признание немое... от чего я... полуденного зноя...

Разговаривая сам с собой и прибирая рифмы к Зое, наш Поэт подошел к своей квартире; торопливо вбежал он на

крыльцо, в каком-то забытьи влетел в свою комнату и — оцепенел.

На диване, раскинувшись, лежала Анастазия и громко храпела. Нагоревшая свеча слабо освещала бледное, худое ее лицо; глаза и рот полуоткрыты, зубы оскалились, зрачки неподвижны — она была страшна.

Порфирий охладел от ужаса, припоминая все, что сбылось с ним в этот день: Зоя, чудный призрак сладкого сна и какое-то обезображенное жизнью существо — наяву; страсть и отвращение, ангел и демон.

— Черт знает! — шептал Порфирий, заходив по комнате взад и вперед и не зная, что ему делать.— Откуда пришла эта Анастазия! черт знает!.. она меня разжалобила...

И Порфирий остановился против лежащей женщины, взглянул на нее.

— Ух, какая!.. фу!.. Что мне с ней делать?.. Ах, господи! что я сделал!

И Порфирий, ударив себя в лоб, снова заходил по комнате.

— Послушайте,— произнес он наконец, подойдя опять к дивану и дернув за руку женщину.

— Ну! подвинься! — сказала она сердито сквозь сон, толкая спиной стену.

— Уф! это какой-то дьявол, а не Анастазия!.. Послушайте! — повторил Порфирий.

— А?..— проговорила она в нос, протирая глаза.— Ах, Порфирий, это ты!.. А мне какой сон приснился... Ждала, ждала тебя, плакала, плакала, истомилась и не чувствовала, как ты вошел...

Порфирий ходил по комнате в беспокойстве, не зная, что ему говорить с ней.

— Ты, верно, устал, дружочек?.. ложись, успокойся...

— Как это можно! — вскричал Порфирий.

— Что, как можно?

— Я при даме не могу... извините... мне стыдно!

— Стыдно?.. при мне стыдно!.. что ты говоришь, Порфирий?

— Да-с, стыдно... я холостой человек... вам неприлично...

— Мне неприлично?.. так я здесь лишняя!

— Конечно-с... я не могу вас держать у себя...

— Ах, я несчастная! он меня выгоняет!.. Соблазнил мою душу, свел меня с ума, заставил бежать от отца и матери... ай, ай, ай!.. я умираю, умираю!..

— Прошу вас покорно не кричать!.. что это такое!.. люди услышат, бог знает что подумают!

— Умираю, умираю! — кричала Анастазия, метаясь по дивану.

— О, боже мой! — вскричал Порфирий, всхлопнув руками и заходив по комнате.

Из распахнувшегося платья на груди отчаянной Анастазии выпал на пол засаленный пакет.

Порфирий поднял его, развернул. В нем были два листа бумаги, сложенные на четверо: один из них пашпорт на имя прапорщицы Ульяны Пршипецкой, другой следующего содержания:

«Сиятельнейший князь,
ваше сиятельство,

Лишившись на поле брани мужа моего, убитого в последнюю отечественную войну, на турецких границах, при крепости Варшаве, в чине аудитора, с тремя малолетными грудными детьми...»

Порфирий не успел еще дочитать, как вдруг мнимая Анастазия вскочила с дивана, бросилась к нему.

— Нет! — вскричала она,— я от тебя не отстану!.. нет, соблазнитель! ты лишил меня чести, сманил от отца и матери!..

— Прочь! — вскричал Порфирий, оттолкнув ее.

Бумаги посыпались на пол.

— Я, прочь?... жена твоя прочь!.. Ты кого упрашивал давиче?.. Чьи целовал ты очи?..

— Извольте, госпожа Пршипецкая, собрать свои бумаги с полу и идти...

— Пршипецкая? так что ж, что Пршипецкая! Для тебя же назвалась Пршипецкой!..

— Извольте отправляться к своим грудным детям! — вскричал Порфирий,— покуда я не послал за полицией!..

— Обманщик, лекаришка! дуб, пень, колода, мешок, дылда, лотва, мерехлюндия!..

Осыпая бранью Порфирия, госпожа Пршипецкая собрала бумаги свои, накинула платок на голову, схватила со стола кусок пунцового гроденапля, купленного Порфирием на тюнику для обожаемой Анастазии, и — бросилась в двери. Из полузатворенных дверей высунула она язык, плюнула чуть-чуть не в лицо бедному Поэту, вскрикнула: у-у! писаришка безмозглой! — и исчезла.

Усталость, клонящий сон, Зоя, хаос... бродили в мыслях Порфирия; приперев двери на крюк, он бросился в платье на постель и, вздохнув глубоко, заснул.

X

Бал Романа Матвеевича сделал ужасный переворот в городе. В полковом штабе, в полиции и в уездном суде все вздыхали; мысль о Зое вмешалась во все производства дел. Начальство думало о ней молча; но вся подчиненность канцелярии думала о Зое вслух; и иногда, в восторженных разговорах шепотом о ее красоте, раздавалось громогласно: прелесть, как хороша!

Часто, однако же, для прекращения неуместных восклицаний, слышно было строгое: *что-с?*

— Ничего... бумага-с,— отвечали неосторожные.

Слово: *то-то-с* — прерывало все восторги. Пламенное чиновное сердце садилось смиренно на место, а душа снова начинала вникать в смысл прошений по пунктам или в шаги.

Задумчивости и рассеянию, которые постигли всех после первых явных восторгов, не было примера.

Прапорщик, отуманенный любовью, вместо кивера прикладывал руку к сердцу, забывал расстегивать которую-нибудь из пуговиц и — получал выговор.

Поручик, ослепленный красотою Зои, почти при каждом новом построении взвода задумывался: где дирекция? направо или налево? — и получал выговор.

Майор, разнеженный чувствами любви, из злого фрунтовика вдруг сделался добрым и — получал выговор.

Полковник, желая угодить Зое, забыл о шагах, о ученье поодиночке, по отделениям и шереножное ученье; почти всякий день у него на плаце ученье с музыкой и маневры по большой улице, мимо дома Романа Матвеевича. Полковому капельмейстеру приказал он, чтоб музыка не смела играть увертюр, а играла бы концерты. Он изморил всех концертами и маневрами мимо дома Романа Матвеевича,— и не получал ни от кого выговора.

Городничий также, чтоб угодить сердцу своему, нашел необходимым отделить квартирную комиссию от полиции и поместить на большой улице против дома Романа Матвеевича. Это отделение полиции ужасно как его занимало: несколько раз в день приезжал он справляться, кто именно требует квартир и отведены ли? Вся деятельность полиции кон-

центрировалась против окон дома Романа Матвеевича; тут было сухо во время слякоти, полито во время жаров и пыли; тут нельзя было спотыкнуться даже трезвому, ни крикнуть охриплому. На все прочее, не имеющее никакого отношения к дому Романа Матвеевича, Городничий мало обращал внимания и — не получал ни от кого выговора.

Только с одним Эбергардом Виллибальдовичем Городничий не мог сладить: Эбергард Виллибальдович приводил его в отчаяние. Он вздумал муштровать свою инвалидную роту на площадке перед домом Романа Матвеевича. Барабан, пикулина и ейн-цвей-дрей, раз-тва! ежедневно, в продолжение целого утра, не умолкали.

— Господин Подполковник! в квартерной комиссии невозможно заниматься от вашего грохоту и свисту! — говорил Городничий Эбергарду Виллибальдовичу.

— Затыкайте свой ухо!— отвечал Эбергард Виллибальдович и — продолжал муштры.

Судья после бала совсем потерял смысл в делах: все казалось ему темно, все следственные дела неполны, все требовали переследований и справок. Как только сядет он на судейское место, так голова кругом, кровь заволнуется, сердце застукает.

В продолжение тридцати лет сидения за столом: то судейским, то обеденным — он разжирел, как Додо; у него был и нос с крючком, и лапа с когтем.

На обыкновенных людей неудовольствия наводят бессонницу; а на него все неудовольствия от малых до великих наводили сон; досада его и даже месть выражались всегда страшным аппетитом: казалось, что он в супе, в соусе и жарком пожирал всех своих недоброжелателей и толстел на счет их. Наружность его, как полный месяц, вечно улыбалась; но иногда выражалась на нем и тоска,— не тоска по родине или по милым сердцу; но тоска по обеде, когда дела задерживали его в суде долее обычного часа трапезы.

Задумав жениться и избрав целью намерений своих именно Зою, он никак не воображал, чтоб постоянные мысли о Зое и будущей супруге имели влияние на его здоровье, кружили голову, производили трепетание сердца, наводили бессонницу и отнимали аппетит.

Несмотря на то, что весь город не имел доверенности к юному городовому Медику и Поэту, Судья объявил ему о внутреннем своем расстройстве. Желудок обыкновенно отвечает за все внутренние части тела, точно так же, как спина за наружные; и потому наш Медик и Поэт Порфирий прописал

исправление желудку: самую кислую микстуру и самую строгую диету.

В несколько недель он снял с ног Судью и уложил в постелю. К счастию, что для противодействия излишеству *положительных* средств являются в помощь бедному человечеству средства отрицательные. Из числа их явился к нашему Судье в помощь магнетизм.

Какой-то последователь Мессмера, которого мы назовем *Онеиропатом,* явился к Судье по какому-то больному тяжебному делу; и вот, оба они обязались подать друг другу руку помощи.

— В неделю вы будете здоровехоньки! — сказал Онеиропат Судье и, посадив его в кресла, начал обаять таинственным *руководством* по струям облегающей тело атмосферы. Сперва пробежали по больному мурашки, потом почувствовал он какую-то переливающуюся в себе теплоту, потом казалось ему, что на его веках повис свинец; потом почувствовал тяжесть и дремоту, потом усыпление, а наконец ничего не чувствовал. Сомнамбулизм овладел им, и он так всхрапнул, что испуганный Онеиропат отскочил от него на несколько шагов.

— Как вы чувствуете себя?

Больной снова всхрапнул отрывисто.

— Подумайте хорошенько, какое средство должно употребить для излечения вас?

Больной в ответ протяжно просипел носом, потом просвистел, как ветер в ущелье.

— Это значит, что сон лучше всего поможет ему,— сказал Онеиропат, оставляя своего пациента покоиться в креслах.

Проспав около часу высокостепенным сном, больной вдруг почувствовал, что на креслах протяжное положение неловко. Не открывая глаз, но руководимый каким-то внутренним созерцанием, он встал и пошел прямо к постеле,— лег и захрапел снова.

— Как вы себя чувствуете?— спросил на другой день Онеиропат своего пациента.

— Кажется, хорошо... Спал также, кажется, хорошо... Боюсь только, не фальшивый ли это сон? — отвечал Судья.

— Напротив,— сказал Онеиропат,— это истинно магнетический сон, сон искусственный, но не фальшивый.

— И действительно... в самом деле, я спал как-то совсем не так, как прежде сыпал; только знаете ли что: мне как будто ужасно как хочется поесть чего-нибудь...

— Подумайте,— сказал важно Онейропат,— что бы вы съели с большим вкусом? Не видали ли вы во сне какого-нибудь блюда, которое соблазняло вас приятным своим запахом?.. Подумайте.

— Во сне?.. Кажется, что-то было... да, да, да, именно: перед самым пробуждением представилось мне... эдак, знаете... часть телятины, молочной, жирной!..

— И прекрасно! Это значит, что магнетизм возбуждает в вас деятельность органического питания.

— Я послал бы в трактир... там... чудо что за телятина!.. Так бы и съел!

— И прекрасно!

— Только боюсь я, не фальшивый ли это аппетит?

— Помилуйте!.. конечно, это еще не натуральный аппетит, а искусственный; но не фальшивый.

— То-то я чувствую, что есть тут что-то ненатуральное...

— На вас особенно благодетельно действует магнетизм; еще несколько магнетизирований, и я вас приведу в полное магнетическое состояние в отношении себя: вам нужно будет только подумать обо мне, и вы тотчас заснете сладким, *пользительным* сном.

— Вот странно!.. Только подумать?

— Даже только вспомнить.

Потому ли, что часто изнеможенное тело, исторгнутое из рук мачехи-медицины и возвращенное матери-природе, как будто обрадуется и начнет оживать, поправляться видимо, не встречая насилия и отказа в необходимом себе; или потому, что последователь Мессмера в самом деле овладел тайною чудного воскрешения сил, только Судья в несколько дней стал краснее и толще прежнего.

Дозволив пациенту своему заниматься службой, Онейропат уехал, благодарный Судье, который, с своей стороны, употребил что-то вроде судебного магнетизирования к восстановлению сил тяжебного дела: оно также встало на ноги и пошло твердым шагом по инстанциям.

Магнетизм имел сильное действие на Судью. Во время *суждения* о важных делах, *дрема долила* его в присутствии; едва придет ему на мысль магнетизер — кончено! сон начинает клонить непреодолимо, и Судья, притворно жалуясь то на головную боль, то на боль под ложечкой, торопится домой. Но однажды, вспомнив роковое имя магнетизера, он не мог не покориться сладости сна во время чтения тысячелистного экстракта из одного дела *«О подставленных фонарях и о прочем»*. Прошел час *шабаша*, прошел час обеда, настал

час вечерний... Секретарь продолжал читать, воображая, что Судья внимательно слушает, склонясь на руку, прикрыв глаза и увлеченный деятельностию службы, не хочет откладывать чтения до следующего заседания.

Когда совершенно смерклось, заседатели решились доложить Судье, что по причине неимения в суде свечей не угодно ли будет ему отложить чтение экстракта.

— Уф, хм! — произнес сквозь сон Судья, потягиваясь,— кажется, я долго спал?..

— Часов шесть-с...

— Ай, ай, ай! — сказал он, очнувшись и осматриваясь,— знаете ли, господа, ведь это я спал искусственным сном: черт знает, магнетизер испортил меня! Едва вспомню его, так и начинает клонить...

— Это удивительно! — восклицали заседатели, слушая его рассказы про действие магнетизма.

— Да, ей-богу, удивительно! Я не знаю, что делать! не знаю, как выжить из памяти этого проклятого магнетизера! — говорил Судья, торопясь домой удовлетворять магнетический аппетит.

Неблагодарность к средствам и людям, подавшим нам помощь в черный день, есть также одно из свойств, которыми может похвалиться иной человек перед животными.

Восстановив и сон, и аппетит, Судья решительно вознамерился искать руки Зои Романовны.

— Завтра же иду к Роману Матвеевичу на вечер и приступаю к делу! — сказал он, отходя на сон грядущий.

XI

Занявшись магнетизированием Судьи, мы забыли упомянуть о важном обстоятельстве; упомянув, *каков был бал у Романа Матвеевича и что на оном происходило,* нам должно было писать главу *о том, какие после вышеозначенного бала последствия приключились.*

Балом Романа Матвеевича были все очень довольны, оказанною честью и гостеприимством — необычайно довольны, возвратились домой на рассвете упитанными тельцами — сыты душа и тело; оставалось лечь спать, спать до полудня и потом не нахвалиться балом Романа Матвеевича, Романом Матвеевичом, Натальей Ильинишной и Зоей Романовной... Не тут-то было: проснулись — и всё недовольно и балом, и Романом Матвеевичем, и Натальей Ильинишной, и Зоей Романовной. Физиологи и психологи сказали бы, что это

неудовольствие происходит от внезапного лишения удовольствия и что человек, одаренный постижением «идеала совершенства» во всем, поневоле видит во всем недостатки; но это совсем не от того произошло: причина была гораздо проще.

Когда проведал незваный гость,— в котором, верно, узнали все *Нелегкого,*— когда проведал он про все, что случилось на балу после его отбытия, так и грохнулся оземь; катался, катался ковылем по полю, ныл, ныл, уткнувшись, то в скважину, то в ущелье, мыкал, мыкал горе на городских конях, заплетая им колтун,— ничто не помогало.

Так как в нечистой силе нет предвидения, то Нелегкий никак не воображал, чтоб все *семь* чинов, избранных им в женихи, вопреки его распоряжениям, влюбились в одну и ту же Зою, которая у него и в расчете не была: совсем вышла из головы, не являясь долго в гостиную.

— Ах ты обстоятельство! — прожурчал он, зная, как трудно помочь этому и что пламень любви, так же как антонов огонь, ничем не потушишь. Задумывал Нелегкий употребить средство «similia similibus curantur»*, т. е. излечить любовь любовью; но во всем городе не было similii, которая хоть сколько-нибудь уподоблялась бы Зое.

Нелегкий попробовал действовать на своих *семерых* посредством обидного мнения: надул в уши всем бывшим на балу разных суждений и осуждений, особенно *дамам,* в отношении красоты и достоинств Зои,— и вот заговорили:

— Что это за бал! такой ли бал бывает!.. С таким огромным состоянием и не уметь дать порядочного бала!.. Роман Матвеевич точно *мужлан,* в вист да провист!.. а Наталья Ильинишна: трр-трр-трр-трр-трр-трр... обрадовалась, верно, что было перед кем поважничать!.. Назвали разной сволочи!.. «Честь имею рекомендовать мою дочь!..» Хороша дочка! поздороваться порядочно, слова сказать с гостями не умеет!.. Говорили, что она хороша — жалости какие! и румянец-то какой-то ненатуральный, взгляд без привлекательности, волосы скомкала под гребенку, разбросала локоны по сторонам, да и на!.. Ни учтивства, ни приятности, ничего нет; только ножка хороша, правду сказать, что хороша... а уж физиогномия — нисколько.

Эта желчь, изливаемая прекрасным полом города на Зою, нисколько не вредила ей во мнении *семи* избранных; они, скрывая любовь свою, боялись, однако же, заступаться за честь Зои, но каждый шептал про себя с негодованием

---

* подобное излечивается подобным (*лат.*)

— Чумички, ветошницы! и вы смеете говорить о красоте Зои!..

А Поэт, отворачиваясь, произносил тихо:

О верх многотерпенья!
И эта тварь еще жива,
И произносит имя божества
Без чувств благоговенья!

Нелегкий, видя, что общее мнение не действует на влюбленных, весь вспыхнул и вскричал:

— Постойте же, люди! я вам покажу, как семь лучей в одну точку сходятся!

И пронесся он угаром около всех женихов.

— Иду, непременно иду, сей час же иду!.. Эй! одеваться! — вскричали они, и все, как будто сговорившись, оделись, идут к Роману Матвеевичу.

Каждый обдумал, о чем говорить с Зоей Романовной. Судья не понадеялся на память, записал, вытвердил наизусть следующий примерный разговор:

«Я слышал, что вы, Зоя Романовна, в отношении музыки очень искусны? Позвольте вас просить, если не утруждательно, проиграть из какой ни на есть оперы хоть прелюдию».

— Она, верно, спросит: из какой оперы?

— Я скажу: «Из Двух Слепых Багдадских цирюльников».

— Когда она будет играть, я ей скажу: «Ах, я не имел никогда счастия слышать музыки в таком великом превосходстве!»

— Потом спрошу: «Сделайте одолжение, спойте, Зоя Романовна, что-нибудь касающееся до любви».

— Она без сомнения скажет: вы, верно, любите или влюблены?

— А я скажу: «Как же можно не любить, Зоя Романовна, на то создан всякий человек, у которого есть собственное сердце».

— А она спросит: а кого же вы любите?

— А я скажу: «А кого же преимущественно можно любить...» но... на первый раз она, может быть, верно, этого и не спросит. Довольно на первый раз.

Протверживая роли, все семеро идут по семи разным радиусам к одному центру, в котором обитает Зоя.

Отправляются, задумавшись и уставив глаза в землю; только Поэт не смотрит в землю, а смотрит в воздушное, не ограниченное ничем пространство.

Идут... Вот уж близко ворота дома Романа Матвеевича;

продолжают идти, более и более углубляясь в раздумье: идти или нет?..

А Нелегкий ждет в воротах да шушукает, считает: раз... два... три!

— Ой! — раздалось аккордом семь голосов.

— Ага! вот каким образом семь лучей, стекаясь в одну точку, производят искру! — сказал Нелегкий, приставив пригоршни под искры, посыпавшиеся из глаз от столкновения лбов.

— Ах, извините! — вскричали: Полковник, Маиор, Городничий, Прапорщик, Судья, Поручик и Медик-Поэт, отскочив друг от друга.

— Куда изволите идти?..

— Прогуливаюсь... В полицию... До свидания, до свидания, до свидания!

— До свидания!

— Что за шум у ворот? посмотри! — сказала Наталья Ильинишна человеку, который дремал в передней.

— Сейчас-с! — отвечал он, протирая глаза; вышел, посмотрел кругом, воротился и донес:

— Никого нет-с!..

XII

Возвратясь окольной дорогой домой, Поэт присел к столику, думал и писал:

Я был уже на шаг от чудного эдема,
Где лучезарная...
— Нет!..
Благоуханная в нем лилия цветет!
Я думал: вот, сорву!.. Как вдруг завистник-демон
В священные врата загородил мне вход!
Я отступил от них с отчаяньем и грустью:
Увы! Напрасен был души моей порыв!
Так иногда челнок, приплывший уже к устью,
От моря отразит нахлынувший прилив!..

— Чудо! — вскричал Поэт, бросив перо,—
Так иногда челнок, приплывший к устью...

— Правда, это очень хорошо! — пробурчал Нелегкий, который, проносясь мимо окна, был завлечен частым упоминанием демона и присел подле Поэта прослушать его стихи.— Правда, это хорошо, только тут не разберешь: челнок ли отразил нахлынувший прилив, или нахлынувший прилив отразил челнок!

— Вот прекрасно! — отвечал Поэт на эту мысль,— кто имеет в голове логику, здравый смысл, тот поймет, что челнок не может отразить прилива и, следовательно, здесь челнок отражен приливом.

— Вот теперь я знаю, почему стихи могут обходиться без здравого смысла: здравый смысл должен быть не в стихах, а в голове читающего и слушающего стихи,— думал Нелегкий, отправляясь в путь.— Однако ж это клевета поэтическая, что будто бы демон заграждает путь в эдем! Демон ни часовой, ни сторож, ни бутошник: он благородная особа, имеет право ездить четверней... не только что четверней — цугом!.. имеет вход в лучшие дома, и не только что в лучшие — в самые лучшие, в бесподобные!.. Он может... да мало ли что он может!.. Только не может быть поэтом... потому что... хм! и не придумаешь почему; а не может!..

Между тем как Поэт думал и писал стихи после неприятного столкновения у ворот, прочие соперники, возвратясь домой, повторяли: черт знает что за встреча!..

— И очень знает, то ли еще будет! — повторял и Нелегкий, навещая своих избранных.

Потом все они стали думать; но мысли их были так мутны, что в них только неводом можно было ловить слова.

В понедельник были будни, во вторник также будни, в середу был праздник. Около семи часов вечера Судья принарядился, закрутил над лысиной волоса узелком, молча вышел из дома; пошел было из ворот налево; но вдруг своротил направо, через улицу и — прямо на двор к Роману Матвеевичу.

— Дома?

— Дома-с!

Человек побежал вперед, двери в гостиную отворились, Судья подошел к дверям и смутился. «Верно, званый вечер! — подумал он.— Вот попал!»

В гостиной раздавалось: «Покорно прошу, садитесь, господа! прошу без церемоний!»

Роман Матвеевич и Наталья Ильинишна усаживали Поручика, Прапорщика и Поэта, которые один вслед за другим пожаловали к ним в гости.

— А! вот и почтеннейший наш Судья! — вскричал хозяин, встречая нового гостя.

Едва присел Судья, откашлялся и хотел сказать приветствие Наталье Ильинишне, вдруг человек вбежал:

— Господин Полковник!

— Проси, проси!.. Господин Полковник! сердечно рады!..

— Очень рады, что и вы удостоили нас своим посеще-

нием! — прибавила Наталья Ильинишна, прося его садиться подле нее, на кресла.

Поручик и Прапорщик встали, схватились за шляпы, которые взял у них из рук Роман Матвеевич, пробирались и к шпагам, которые стояли уже в углу; а Полковник присел уже, посмотрев на них искоса...

— Я...— сказал он, обращаясь к Наталье Ильинишне...

Вдруг дверь отворилась.

— Господин Городничий! — доложил слуга.

— Аа, вот и начальник города! Милости просим!

— Пора бы, пора! — прибавила Наталья Ильинишна. Кресла задвигались; Городничий садился, немного смущенный мыслию, что приехал без зову на званый вечер.

— Господа, прошу оставить ваши вооружения! — сказал Роман Матвеевич Поручику и Прапорщику,— мы и господина Полковника обезоружим.

— Погода очень благоприятная,— начал Полковник.

— Действительно прооогуул...— сказал Городничий...

— Господин Майор! — доложил слуга.

Двери отворились снова; вошел Майор и оробел.

Опять усаживанье: *«Кладите шляпу, сденьте шпагу!..»*

— Вот люблю, господа,— начал Роман Матвеевич,— давно бы, давно сговориться посетить нас...

— Проси сюда Зою Романовну разлить нам чай! — крикнула Наталья Ильинишна.

Смущенные гости вместо ответа на слова Романа Матвеевича поклонились.

— Служба...— сказал Полковник.

— Я...— произнес Судья.

— Должно сказать...— выговорил Городничий.

Вдруг из противных дверей вышла Зоя.

Все вскочили с мест.

Зоя, не воображая видеть во всех этих господах претендентов на ее руку и сердце, очень равнодушно окинула всех одним взглядом и села на диване подле матери.

Внесли семейный самовар, поднос с чашками, корзинку с хлебом.

Роман Матвеевич стал усаживать гостей вокруг стола

— Наташа,— сказал он,— мы не отпустим гостей без ужина.

— Разумеется,— подтвердила Наталья Ильинишна. выходя для распоряжений.

— А между тем можно пульку в бостон, по небольшой.. не правда ли?..

И Роман Матвеевич вышел. Зоя молча разливает чай,— и гости-женихи сидят молча, устремив на нее взоры.

Но как будто кто-нибудь вдруг шепнул каждому на ухо: стыдно молчать! ну! раз, два, три!..

— Зо... Зо... Зо... Зо... Зо...

— Вот здесь, на два стола!..— раздался звонкий голос Романа Матвеевича в дверях.

— ...я,— договорили в один голос все женихи и — умолкли; потому что Зоя, услышав со всех сторон зо, зо, зо, зо,— с удивлением окинула всех быстрым взором и, улыбнувшись, сказала:

— Не угодно ли чаю?

Как по команде, все приподнялись с мест, и семь рук потянулись к подносу, перепутались, разобрали с трудом чашки.

— А сливок! — сказала Зоя.

И снова семь рук протянулись; но ручка у сливочника была одна,— и все вдруг отдернули руки свои — разумеется, из взаимной учтивости.

— Сегодня прекрасная погода! — сказала Зоя.

— Пре...— произнесли в один голос женихи, забывая о сливках; но Роман Матвеевич опять перервал слово надвое.

— ...красная,— было произнесено почти шепотом.

— Карточку! — сказал Роман Матвеевич, подходя к Полковнику.

— Никак не могу-с! я... назначил пригонку амуниции!..

— Полноте, Полковник... что за пригонка амуниции!..

— Никак не могу-с! если позволите, в другой раз.

Роман Матвеевич к другому, к третьему; все: «Никак не могу-с!» Городничему мешало отправление почты, Судье — месячный рапорт.

— Угодно еще чаю? — спросила Зоя, обращаясь ко всем.

— Никак не могу-с! — вскричали все в один голос и один за другим схватились за шляпы, распрощались.

— Где же гости? — вскричала Наталья Ильинишна, кончив выдачу провизии и возвратясь в гостиную.

— А бог их знает, что с ними сделалось: схватились за шапки, да *и драло*: по-русски.

— Что за странность!

— Да, немножко странно! Точно как будто черт их вымел отсюда! — А я было и стол приготовил.

— А я выдала провизию на ужин!.. нарезала сыру, вет-

чины, сарделек наложила, вареньев на тарелки — хотела после чаю на стол поставить!..

— Хм!

— Хм!

XIII

— Нет, это преглупая вещь: свататься самому! — сказал Городничий, возвращаясь домой.— Хоть и говорят, что теперь вообще все сами сватаются, только мне не верится; это совершенно невозможно. Во-первых: минуты не найдешь объясниться порядком; а во-вторых: каким образом сказать девушке: не угодно ли за меня выйдти замуж? Положим, что я и решился бы сказать это Зое Романовне; но что ж она будет отвечать, желал бы я знать?.. Разумеется, как скромная девушка, должна будет *сконфузиться,* покраснеть и уйти. Тут и догадывайся: хочет она или не хочет отдать руку и сердце?.. Нет, это не в порядке вещей! Лучше на старый лад: подослал сваху, да и прав. Нет, так нет, и стыда нет; по крайней мере, за глаза сказано. Зайду к Анне Тихоновне, поговорю с ней... она же давно приговаривалась просватать мне хорошенькую невесту.

Сказано — сделано. Городничий зашел к Анне Тихоновне, имел с ней тайные переговоры.

— Тс, кажется, кто-то идет,— сказала она ему наконец,— никому ни слова! а мое дело хлопотать.

— А уж вы будьте уверены, Анна Тихоновна...

— Хорошо, хорошо. Вы когда посылаете в Киев?

— Да когда вам угодно, я хоть нарочного пошлю...

— Так вот кстати обращик, поручите, пожалоста, верному человеку купить мне вот точно такого *грогро...* ни хуже, ни лучше! а уж там, что причтется денег...

— Предоставьте уж это все мне... все будет исполнено!..

— До свидания!

— Прощайте, Анна Тихоновна!..

Веселый и радостный, с полной надеждой на успех, отправился Городничий домой, повторяя: «Вот так-то гораздо лучше!»

Не прошло пяти минут, к Анне Тихоновне явился Полковник с визитом.

— А супруг ваш?

— На следствии.

— Все ли в добром здоровье?

— Покорно благодарю, господин Полковник.

— Анна Тихоновна, вы, кажется, желали заказать моим мастеровым мебель? Теперь они свободны; что вам угодно будет приказать?

— Ах, как вы обязательны!.. Да, я думала...

— Из карельской березы или из красного дерева?..

— Право, я не знаю, как и решиться... что подешевле.

— И, помилуйте! это ничего не стоит: краснодеревщики свои, дерево — пустяки.

— Какие вы добрые, Полковник; чем же мне вам отплатить?.. Чем же лучше, как не красавицей невестой?..

— О, от этого я не прочь!.. да кто же здесь, кроме...

— Зои Романовны? не так ли? знаем... видела, как вы ухаживали за ней на балу!.. Выбор не худ! За чем же дело стало?

— Конечно... но знаете ли... свататься... скучно...

— Это уж не ваша забота... Сядемте-ко рядком, да поговорим ладком!..

Полковник подсел к Анне Тихоновне, начались переговоры шепотом.

— Так я уж в полной надежде на вас, Анна Тихоновна,— сказал Полковник, поцеловав ее руку и вставая с места.

— А насчет мебели, вы прикажите хоть из карельской березы: красное дерево дорого; только скорее; к именинам хочется меблировать гостиную: диван, стол круглый или овальный, 12 кресел да 12 стульев.

— Завтра же начнут работу.

— Прощайте, Полковник.

— Прощайте, Анна Тихоновна. Позвольте еще раз поцеловать ручку, миленькую ручку!..

— Ох вы, поцелуйщики! а еще собираются жениться!

Не успел уйти Полковник, явился Судья.

— Анна Тихоновна,— сказал он без предисловий,— у меня есть дельцо до вас, дельцо важное.

— Например?

— Да, например... я решился жениться...

— Поздравляю; но что ж мне до этого за дело?

— Великое: вот видите, я хочу вас просить...

— В посаженые матери?..

— Избави боже!.. совсем нет!.. Притом же я желаю только еще приступить к делу...

— Не сваху ли из меня вам угодно сделать?.. Покорно вас благодарю!

— Совсем нет, Анна Тихоновна, я хотел просить вас только поговорить о моем намерении.

— Покорно вас благодарю! Мужа в петлю, а к жене с просьбами!..

— Анна Тихоновна, сударыня, оставьте уж старое... я, ей-богу, не виноват!.. притом же все благополучно кончилось...

— Благополучно!.. Годовое жалованье вычли!.. Да что ж бы вы еще хотели?

— Все, бог даст, вознаградится! — сказал Судья и стал продолжать переговоры шепотом.

— Ну, ну, ну, обещаниям я не очень верю!

— Завтра же!

— А послезавтра я буду говорить с Натальей Ильинишной...

— Точно?

— Не к присяге же идти.

— Пожалуйте же ручку.

— Не нужно.

— Сделайте одолжение!

— Нет и нет! когда вы исполните, тогда я вам выхлопочу ручку Зои Романовны.

— Ну прошу вас! пожалуйте поцеловать ручку!

— Ах, какой неотвязной человек!

Судья поймал руку Анны Тихоновны, почтительно чмокнул и, исполненный душевной радости, отправился домой.

Утренние визиты заключились Маиором.

— Какая прекрасная погода! — сказал он, отирая пот с лица.

— Жарко немного.

— Очень жарко!

— Как вы проводите время, господин Маиор? У вас, я думаю, все ученье да ученье.

— Довольно часто бывает; да уж, признаться, мне очень наскучило.

— А пословица говорит: век живи, век учись.

— Оно так, конечно, если в самом деле рассудить; но ведь вы не поверите: то полковое, то батальонное, то по отделениям, то поодиночке... надо честь знать!

— Кому ж больше и чести, как не военному.

— Действительно справедливо; я не променяю ни за что мундира на фрак, ни за что! если б даже самая прекрасная девушка предлагала мне за это и руку, и сердце!..

— О, да, я знаю, вы большой ненавистник женщин и женитьбы... вы...

— Я-с? избави боже! Кто это вам сказал?.. Я сей час го-

тов принять руку достойной особы... Я всем советую жениться... Это самое благополучное состояние... Я хоть сей час готов жениться...

— Что ж? здесь не деревня, есть и невесты... С богом.

Маиор глубоко вздохнул.

— О! да вы что-то вздыхаете? это недаром.

— Что ж делать, Анна Тихоновна,— начал Маиор, вздохнув еще раз,— кто не испытал пламени любви!.. Любовь есть чувство, любовь есть такая вещь... ей-богу!.. которая делает человека совершенно не способным даже к священным обязанностям службы. Предмет страстной любви так и носится перед глазами... Поверите ли, Анна Тихоновна, вчера на ученье я в рассеянии скомандовал вместо: дирекция направо — дирекция налево!.. Такого рассеяния со мною сроду не бывало!..

— Скажите пожалоста! Кто ж это такой предмет ваш?..

— Я от вас не могу скрыть...

При этих словах Маиор зарделся от скромности и стыдливости.

— Не могу скрывать... вы, верно, догадываетесь...

— Кто же это такой?..

— Вы, кажется, коротко знакомы в доме Романа Матвеевича?..

— Аа! Зоя Романовна?.. Поздравляю вас!

— Покорнейше благодарю!.. Только не знаю, как начать... Открыть ли намерения мои самой Зое Романовне или испросить сперва согласия родителей! Посоветуйте, Анна Тихоновна, я в этом случае человек совершенно темный: я чувствую, что я ни слова не буду в состоянии сказать; потому что любовь есть чувство неизъяснимое...

— Если не хотите сами, сделайте предложение через кого-нибудь; попросите какую-нибудь даму, уважаемую в городе.

— Анна Тихоновна, вы одни... которые пользуетесь преимуществами общего уважения.

— Я бы очень рада... и, может быть, успела бы в этом: с Натальей Ильинишной мы очень подружились; но я теперь не могу выезжать: у меня нет приличного экипажа; просто в гости идти пешком — дело другое, но с предложениями...

— Если б я осмелился предложить вам рессорную мою бричку... Совершенно на манер коляски... 800 заплатил.

— Я видела; очень, очень хороша; кажется, венская?

— Настоящая венская! Когда вам угодно будет, всегда к вашим услугам.

— Ну, нет, покорно вас благодарю: в чужом экипаже *не приходится:* бог знает, что скажут; вот если б вы продали подешевле...

— Мне бы, конечно, очень приятно...— сказал Маиор, отираясь платком.

— Она уж не новая, подержанная... рубликов двести, триста я бы могла дать, принудила бы мужа.

У Маиора облилось сердце кровью. Расстаться с бричкой, от которой зависело столько маиорской важности!.. Зоя или бричка? раз, два, три! Зоя!..

— С величайшим удовольствием,— произнес Маиор, удерживая свой вздох.

— Дело решенное! — сказала Анна Тихоновна,— завтрашнего же дня я могу приступить к исполнению вашего желания и — утешу вас наперед приятным известием: Зоя Романовна на балу расспрашивала меня про вас, и Наталья Ильинишна также спросила и сказала: какой должен быть прекрасный человек!

— Неужели?.. Как они добры!

— Вы родились под счастливой звездой: красавица, тысяч сто приданого...

— Неужели?

— Если не больше... Только условие: деньги я отдам вам не вдруг; я знаю, что муж скажет: да на что это, да к чему это, да денег нет; но я выплачу из собственных; а лучше всего вы скажите ему при мне, что вы хотите купить новую бричку и продаете старую; а я уж кончу, уговорю его купить... Прощайте, г. Маиор, до свидания.

Обнадеженный Маиор отправился. Он был бы вполне счастлив в эти минуты сладостной мечты о сбывчивости желаний, если б не бричка: мысль о бричке нарушала самые блаженнейшие мгновения воображаемой его будущности.

— Положим, что я уже отдал бричку,— думал Маиор,— Роман Матвеевич, Наталья Ильинишна и Зоя Романовна согласны на брак... Каким же образом отправлюсь я в дом?.. Неужели пешком отправлюсь? О господи, что я сделал!..

Бричка и Зоя не выходили из головы Маиора, даже на батальонном ученье со стрельбой, которое Полковник назначил по известным ему причинам, Маиор в рассеянии вместо: по 4-му и 5-му взводу строй каре! — скомандовал: по 4-му и 5-му Зою строй бричку!

XIV

Перед вечером Анна Тихоновна села подле окна и стала о чем-то рассуждать с необыкновенным довольствием. Несколько раз принималась она что-то считать по пальцам.

— Мое почтение, Анна Тихоновна! — раздалось подле нее.

— Ах, это вы! откуда?

— Сей час только с ученья,— отвечал Поручик, снимая кивер и махая на себя платком.

— Ах, как вы устали! ей-богу, мне вас жаль!

— Поневоле устанешь! — сказал Поручик, садясь подле окна.

— Ах, не садитесь, не садитесь на сквозном ветру! сядьте на диван!

Анна Тихоновна взяла Поручика за руку и посадила подле себя на диван.

— Вы что-то печальны?

— Вы не поверите, какая тоска! — отвечал Поручик, вздыхая.

— Скажите, что с вами?.. Откройтесь мне... право, я в вас принимаю участие, как в родном брате... Что значит сходство! вы необыкновенно как похожи на моего брата... Однажды... когда это вы были у нас? только что вы в двери — я, забывшись, чуть-чуть не бросилась к вам и не вскричала: ах, братец!.. Муж мой даже подозревает...

Поручик поцеловал руку у Анны Тихоновны; Анна Тихоновна поцеловала его, как родного брата, в горячую щеку.

— Скажите же мне, отчего вы печальны? У вас, верно, от меня нет тайны.

— Я не могу скрывать от вас...— сказал Поручик, покраснев; но не знал, как продолжать далее.

— Говорите, нас никто не слышит... что за стыд... если бы это касалось даже и до сердца... ведь я не девушка... мне можно все говорить... Ах, какие вы стыдливые!

Она взяла его за руку.

— Вот что, Анна Тихоновна,— сказал, наконец, Поручик,— мне надо непременно выдти в отставку... Полковник меня гонит...

— Ну?

— Я бы и вышел, и не подумал; да мне хотелось бы до отставки составить хорошую партию.

— Ну?!

— Тут прекрасная есть партия...

— Ну?.. прекрасная партия?

Анна Тихоновна опустила руку Поручика.

— Если б... Вы знакомы в доме... Ро...

— Понимаю; но мне еще далеко до полвека, чтоб быть чьей-нибудь свахой! — сказала Анна Тихоновна с сердцем.

Поручик замолк. Но Анна Тихоновна вдруг переменила тон.

— Впрочем, я вам не могу ни в чем отказать...

— Ах, какие вы добрые, Анна Тихоновна!..

— Перестаньте же, перестаньте,— сказала она нежно, отвечая на поцелуй руки поцелуем в голову.— Вы заставляете меня забываться... неравно... вдруг муж... он и то невинную мою привязанность к вам почитает бог знает за что... Ах, если б вы знали, как много я терплю за вас!

И Анна Тихоновна приложила платок к глазам.

— Анна Тихоновна, успокойтесь! — повторял Поручик.

— Какие вы добрые! — сказала она, припадая к его плечу и вздыхая,— вы жалеете, утешаете меня!.. Пусть что хочет говорит, а я все-таки буду вас любить, как брата!.. я буду сама вас сватать... Вы... страстно любите Зою?..

Этот вопрос напомнил Поручику Зою Романовну, о которой, принимая участие в горе Анны Тихоновны, он готов был забыть.

— Не то, чтоб страстно,— отвечал он,—мне только хотелось бы сделать хорошую партию: она богата...

— Я буду сватать вас... только... знаете, нам должно будет часто говорить об этом деле,— а я боюсь мужа; он наделает беды из одних подозрений: пожалуй, бросит меня; и потому мы должны видеться со всевозможной осторожностью... Теперь ступайте... он скоро должен возвратиться, и если застанет нас...

— Анна Тихоновна!

— Называйте меня просто: сестрицей или Ашенькой, когда мы будем вдвоем; я не люблю этих глупых прозваний.

— Прощайте же, милая сестрица!

— Прощай, миленький братец! — руки не даю! просто...

Едва Поручик вышел, Анна Тихоновна бросилась на софу и в небрежном положении стала мечтать.

Но только что из груди ее вырвался глубокий вздох — вдруг вбежал в комнату, подпрыгивая, юный Прапорщик.

— Миленькая маминька!

— А, милый сынок! — сказала Анна Тихоновна, не изменяя своего положения.

— Миленькая маминька! — повторил Прапорщик, припав перед диваном на колена и сложив на груди руки,— у меня до вас просьба.

— Например?

— Я хочу жениться.

— Браво! браво! вот что мило, то мило! — вскричала Анна Тихоновна, помирая со смеху.

— Ей-богу, право, хочу жениться!.. Я влюблен без памяти!..

— Влюблен? прекрасно!

— Да, и хочу жениться.

— И жениться? бесподобно!

— Что ж тут удивительного?

— Молод, душенька!

— Молодость — не порок в женитьбе.

— На другой день изменишь жене!..

— Вот хорошо! насчет постоянства я постою за себя!

— Не на Зое ли Романовне?

— Хоть бы и на ней.

— Страстно влюблен?

— Страстно! как нельзя страстнее!

— И до свадьбы десять раз изменишь?

— Никогда!

— Об заклад!

— Что за охота наверное выигрывать!

— О чем бы?.. Я должна буду связать бисерный кошелек... а вы должны будете привезти мне десять фунтов киевских конфект... согласны?

— Согласен... только с тем, чтоб вы поговорили обо мне отцу и матери... Я служить не хочу, у меня есть состояние — душ сто с лишком, я хочу быть хозяином.

— Несчастное то хозяйство, в котором будет такой хозяин!

— Полноте шутить, маминька! Скажите, вы не откажетесь исполнить мою просьбу?

— Разумеется, для такого милого сына все сделаю.

Прапорщик хотел взять ее руку и поцеловать,— она отдернула руку.

— Дайте же ручку поцеловать.

— Нет!

— Милая маминька, дайте ручку!

— Нет!

— Умоляю вас!

— Нет!

Прапорщик ловил ее руку, а Анна Тихоновна дразнила его: водила перед ним рукою.

— Пожалоста!

— Ну, поймайте!

И руки ее летали около рук юноши. Казалось, что она магнетизировала его. Настойчивость Прапорщика возгоралась: он уже успел схватить руку, готов был прикоснуться к ней губами — вдруг Анна Тихоновна вырвалась, вскочила с дивана, и — они стали играть в кошку и мышку.

Анна Тихоновна хотела только выиграть десять фунтов конфект — не более.

Едва только юный Прапорщик приложил уста к повисшей от утомления руке Анны Тихоновны, вдруг звякнул колокольчик, подле крыльца фыркнули кони.

— Муж! — вскричала Анна Тихоновна и всхлопнула руками.

Прапорщика обуял панический страх; потому что в самом деле, из шутки могли родиться бог знает какие глупые подозрения. Анна Тихоновна обхватила его и, как чемодан, сунула под кровать, швырнула туда же кивер и полусаблю и бросилась в постель, охая во весь дом.

— Что с тобой, Ашенька! — вскричал вошедший торопливо Стряпчий, весь в пыли и в поту.

— Скорее, скорее за доктором!.. съезди сам, сам съезди! — простонала Анна Тихоновна.

Испуганный супруг бросился опрометью вон, сел снова на почтовую телегу, поскакал за городовым Лекарем.

Когда он возвратился с ним, Анна Тихоновна лежала уже спокойно.

— Что с вами? — спросил Лекарь, приложив руку к пульсу.

— И сама не знаю... вдруг дурнота... такая...

— Это так; это бывает... Может быть, что-нибудь скушали?..

— Может быть,— отвечала Анна Тихоновна.

— Мы что-нибудь пропишем.

XV

День прошел; все наши искатели Зои Романовны, положив свои надежды на ходатайство Анны Тихоновны, по пословице: «Доброе начало — половина успеха» — предались сладостному чувству самодовольствия. Только Поэт,— который по званию своему, или лучше сказать, по призванию

ищет всех сил и средств человеческих в самом себе,— не явился к Анне Тихоновне: он считал за низость всякое ходатайство и не хотел ходить окольными дорогами к своим целям. «Есть я, есть и судьба моя,— думал он,— вот ходатай, которого я признаю».

Эта благородная гордость и самонадеянность заключали в себе, по крайней мере, столько же, если не более, надежд на успех, сколько было их и в ходатайстве Анны Тихоновны.

Поэт, в полной уверенности, что его чувства будут оценены, писал стихи с таким одушевлением, какого еще никогда не испытывал. Мысли текли на бумагу шумным потоком; рифмы перекатывались в памяти, как жемчужины; он без труда подбирал самые богатые и низал их для Зои: то украшал ожерельем ее лилейную шею, то надевал поручни, то привешивал серьги, то примеривал, к лицу ли ей чалма, перетягивал стан ее поясом; то всю Зою осыпал мыслями и рифмами; целовал ее то в плечо, то в чело, то в очи; но не прикасался к устам, руки также не целовал: глупо ему это казалось, или слишком умно, или, может быть, он слыхал турецкую пословицу: «Целуй только ту руку, которую не можешь отрубить» — только он не целовал руки даже и мысленно.

Так как воздушные замки строятся не из покупных материалов и без плана, требующего подтверждения строительной комиссии, то Поэт этот род зодчества предпочитал всякому другому. В роскошные, чудные здания переносил он Зою на руках, услаждал ее всем, что сладко, питательно и здорово для чувств,— исполнял все прихоти ума и сердца, бродил с ней по тенистым рощам, по берегам алмазных ручьев, по цветистым коврам, разостланным руками самой весны, говорил ей огненные речи, обвивал ее нежностями любви и дружбы и, наконец, помножал мгновенный восторг на вечность, жил в бесконечном rendez-vous*.

Тут не было никого, кроме природы, двух голубей — символов любви, да соловья — певца любви.

Если б Зоя знала, *что* каждый из женихов готовит для ее счастия — она, верно, предпочла бы Поэта. В заоблачной жизни могла бы устрашить ее только вечная поэзия, и вечно *никого из посторонних* и вечно *некому слова сказать*.

Могли ли понравиться Зое прозаические женихи, у кото-

* свидание *(фр.)*.

рых чувства излагаются по пунктам, по параграфам, периодам или по команде? Неужели за генерал-маиором она, по обычаю взлелеянных на поверьях, захотела бы быть полной генеральшей, за Полковником — полковой командиршей, а за Прапорщиком приняла бы в свое ведение денщика?

Все касающееся до сватовства на Зое Романовне при помощи Анны Тихоновны случилось в отсутствие Нелегкого. Когда возвратился он около вечера в город, узнал причину самодовольствия женихов и увидел уже готовые планы семейной жизни,— он ахнул. Шесть человек, которых он прочил для собственных целей (ибо Поэта, живущего всегда в воздушном пространстве, он не считал под своим ведением), вышли из-под его команды в распоряжение Анны Тихоновны.

Вырвать что-нибудь из рук дамы было непристойно, неприлично, грубо и невозможно.

Нелегкий посердился-посердился, да и плюнул на все.

А между тем...

Конец первой части

ЧАСТЬ II



I

А между тем... мы воротимся назад. Читатели помнят, как на Иванов день восходящее солнце озарило усыпление Зои, а сорока-трещотка прыгала подле нее по окну,— прыгала, прыгала, да и улетела?

Это была не простая сорока деревенская и не городская ученая, которые чочокают без смыслу,— нет!

Попрыгав немного туда и сюда по окошку, она вспорхнула и перелетела на липку. Сидя на липке, она задумалась.

— Куда же полететь мне? — думала она.— Уж если лететь, так в большой свет... Полечу в большой свет!.. Там, говорят, самая лучшая жизнь, какой лучше не бывает: весело-весело, как нельзя веселее! с утра до вечера балы да маскерады; ничего не делают, только ездят в гости да разговаривают о чем угодно, и спят когда вздумается, и любят кого хотят... Ах, и *он* в большом свете!.. И он там!.. Ах! какое счастье! я буду *его* видеть!.. Но я не знаю дороги... Вон-вон идут какие-то прохожие... старичок с девушкой!.. спрошу у них...

— Эй, добрый старичок! куда лежит путь в большой свет?

— Ась? Что ты молвила, Дуня?

— Ничего, дедушка.

— То-то; а мне послышалось, что ты молвила: куда путь лежит? Тебе ли, зрячей, али мне, слепому, знать про то?

— Путь в большой свет, дедушка? — повторила сорока.

— В большой свет! На белый свет, хочешь сказать... На белый свет путь лежит чрез материнские недра, а выход — гробовая доска.

Содрогнулась сорока от такого ответа.

— Где ж слепцу знать дорогу,— подумала она, проносясь мимо.

Едет по дороге, на наемной жидовской бричке, какой-то не пожилой еще человек, а глаза как голодные волки из норы выглядывают, ланиты бледны, уста запеклись. Окутанный в калмыцкий тулуп и перевязанный полинявшим шарфом любви, он лежал, растянувшись, закинув руки под голову, и подгонял ногою жида в спину; и жид, не довольствуясь кнутом, подгонял тройку тощих кляч также ногою.

— Позвольте узнать, где дорога в большой свет? — спросила сорока, опускаясь почти над самой головой проезжего.

— Дорога в большой свет!.. Вот прекрасная мысль пришла мне в голову! — сказал проезжий.— Кажется, дорога довольно широкая, а сбился с пути! Да и нельзя: повсюду светит, дверей тьма, все манит, кто обещает сердце, кто дружбу, кто золотые горы!.. Я бы взял и железные, которые приносят мильона три дохода, так нет: только сулят да обещают, чего у самих не бывало!.. Волшебный мир! Великолепные картины благоденствия! живые картины!.. Жид! как тебя зовут?

— Юзя, ваше благородие!

— Врешь, каналья, врешь!

— Юзя, ваше высокоблагородие!

— Врешь, мошенник, врешь!

— Ой, ой!.. Юзя, ваше сиятельство!

— Вот так!.. Видал ли ты живые картины?

Жид только дзыкнул и помотал головой.

— Очень, очень хорошо!.. Например, картина, представляющая гнев Ахиллеса, гнев и Агамемнона; тут же и гнев Хриза... Гомер очень ошибся, прося богиню воспеть только гнев Пелеева сына; потому что у него все сердятся... Но об этом после... Тут же и Бризеида в нерешительном положении: в одно и то же время ей хочется принадлежать и царю, и герою и остаться в отеческом доме... Бедная! Это ужасно; но очень естественно... В большом свете также все естественно... Только черт знает, каким же это образом я поставил всю естественность, или вещественность, на одну карту и остался с одной невещественностью?.. Все продул, кроме своего собственного да родительского имени!.. Стало быть, есть еще что поставить на карту? потому что порядочное имя есть также богатство, а иногда сокровище в большом свете.. Жид! как тебя зовут?

— Юзя, ваше сиятельство!

— Врешь, каналья, врешь!

— Ой! превосходительство!

— Врешь, мошенник, врешь!

— Юзя, ваше высокоблагородие... ой! благородие!..

— Вот так!.. А для чего тебя так зовут?

— А что ж, я знаю?

— Глупец! Для того, чтоб у тебя было хоть имя собственное!

— Говорил, говорил о большом свете,— подумала сорока,— а не сказал, где дорога в большой свет!.. Позвольте узнать, где дорога в большой свет?

— Где?.. Разумеется, что там, где дорога более избита, где можно выезжать на всем, на чем хочешь, даже на словах... Толкучий ряд... Лохмотница в треугольной шляпе и при шпаге... Инвалид в чепчике... Ходячие вывески ходячих мелочных и меняльных лавочек!.. Толпа! того и смотри, что выкрадут сердце, выкрадут не только часы золотые, серебряные и томпаковые,— выкрадут часы дня и ночи!..

— Что он говорит? Он говорит я не знаю что!

— Знаю, знаю что: надо ехать в Москву, надо там жениться... Москва запасна на невест... Надо Бржмитржицкому ехать в Москву!

В это время пронеслась мимо почтовая коляска.

— Ах! какой-то Адъютант!.. Ах, это *он*! он!.. Он, верно, едет в большой свет в Москву! Я не отстану от него!

Сорока запорхала вслед за коляской.

Быстро неслись кони: Адъютант ехал или по самонужнейшей казенной надобности, или по сердечной надобности, или убегал от сердечной тоски. «Пошел скорей!» — повторял он ямщику.

Сорока едва успевала порхать вслед за коляской. Версты, стоящие на дороге, слились в палисад, города и селения в одну длинную улицу.

Сорока утомилась, хотела присесть на дугу.

— Пш — ты, проклятая! — вскричал ямщик, хлопнув бичом.— Видишь привязалась! так и летит следом!

Сорока испугалась бича, отпорхнула от коляски, но не отстает от нее. Летит-летит и посмотрит на Адъютанта.

— Какой он грустной!..

— Ямщик! верно, у вас здесь много сорок? — спросил проезжий Адъютант.

— Избави бог сколько! Да добро бы простая птица, примером сказать, ворона; а эта не простая: всё проклятые обо-

ротни. Посмотрели бы, ваше благородие, как соберется их где стая да начнут трескотать, так уж, словом, что говор! не просто кричат, а тоже речь ведут. У нас есть такие, что понимают их... говорят: срамно и стыдно сказать, что они трескочут... А вот в Москву ни одна не залетит: видишь, сказывают, заклял их святой Алексей... Так уж, стало быть, ваше благородие, в Москве и ни одной колдуньи нет?

Адъютант не отвечал на вопрос ямщика; но денщик не оставил без ответа такой важный вопрос.

— Статошное ли это дело, чтоб где не было колдуньи! В Москве есть и цыганки.

— Так, стало быть, во что ж они перекидываются?

— А про то их Старшой знает.

— Старшой? хм! вот что... по неспособности в сороку, чай, в ворону?..

— Пошел, пошел! — вскричал Адъютант.

Ямщик свистнул, приударил коней.

Станция за станцией, и — вот вдали загорелась глава Ивана Великого.

Не успела сорока взглянуть и подумать, не Москва ли это? — вдруг, чок! как будто об стену, так что в глазах потемнело. Развернулась еще, порхнула вперед за удаляющей коляской... чок-чок еще раз!.. Приподнялась повыше, опустилась пониже, рвется к Москве... Нет! ограда, да еще и невидимая!

А коляска умчалась, пропала из глаз, только пыль крутится вдали.

— Ах! — чочокнула сорока.— Ах, стена! Что я буду делать! он уехал!

Села бедная сорока на перильцы мостика и не знает, что делать: хоть назад лететь.

А в это время шла девушка по дороге; девушка хоть куда: в кумашном сарафане, с коромыслицем на плече; на коромыслице висят кувшинчики с молоком. Идет и песню поет.

— Ах, какая счастливая! — подумала сорока,— в Москву идет!.. Что бы мне на ее место...

— Ах!.. Ух!..

Смотрит... а на ней уже кумашный сарафан, и коромыслице на плечах, ноги сами в Москву идут, бегом бегут.

Вот подходит девица к заставе.

— Стой! откуда?

— Из-под Киева.

— Так ты нездешняя? Э, сударыня моя!

— Послушай, мой любезный солдат!

— Нечего слушать! нет пропуску! а что у тебя в кувшинчиках-то?

— Молоко.

— Молоко? Как!

— Мой любезный солдат...

— Молоко! постой, голубушка!

— Мой миленький солдатик! — произнесла девушка с ужасом, сложив на землю коромысло с кувшинчиками и сложив на груди руки.

— Молоко! Держи ее, держи!

Девица как бросится бежать от часового вдоль улицы.

— Держи ее, держи! — кричат караульные солдаты, развязывая кувшинчики и пробуя, свежо ли молоко.

II

Без памяти бежит девица по улицам московским. Ей кажется, что со всех сторон кричат: держи ее, держи! Быстро бежит, так быстро, что не видать ее, точно как тень от маленького пролетающего облачка в день ясный, солнечный.

Вот очутилась она посреди улицы, полной экипажей; посреди той улицы, которую невозможно описать; где вчера не похоже на сегодня, где завтра будет все ново: вывески и товары, наружность и внутренность, имена и названья, цвет и форма; вместо единообразия пестрота, вместо длины ширина, вместо мериноса *тибет* и *терно,* вместо *манто* — *клок,* вместо N—si devant N*, вместо лавки магазин, вместо магазина калейдоскоп... Посреди той улицы, которая со временем обратится в картинную галерею, в *депо* всех родов одежд женских и мужских, телесных и духовных; в депо всех родов украшений: украшений ума и глупости, красоты и безобразия, юности и дряхлости, украшений всего, что живет между радостью и горем, между раем и адом, между всем и ничем; где все будет предметом рассеяния и любопытства; где науки и искусства обратятся в приманку и соблазн; где импровизаторы будут приглашать проходящих сонетами и похвальными одами товарам; где проезжие музыканты будут давать для посетителей-покупщиков концерты без платы; где вместо сидельцев будут очаровательные девы, певицы, уроды, допотопные животные, Сиамские близнецы, женщины-великаны, полосатые шуты, жители Океании и Альбиносы в своих народных костюмах, или какой-нибудь механический

---

* «си» перед «эн» *(фр.)*.

человек, сбирающий плату за товары,— только без сдачи; где, в придачу к купленным нарядам и вещам, будут выдаваться gratis* Альманахи с гравированными на стали картинами, Альманахи, исполненные *легкого чтения,* стихов благозвучных и повестей, раскрывающих внутренний мир человека.

Невольное удивление остановило девицу; она не знает, на что ей смотреть, так любопытны кажутся ей все предметы.

— Какое богатство, какая роскошь! Сколько дам в цветах и в шелку!.. Все стены в картинах!.. А в окнах какие вещи!.. Ах, ленты!.. наряды!.. шляпки!.. Вот, вот где живет большой свет... Ай!

Подле девицы прошел точно такой же солдат, какой напугал ее у заставы; она хотела опять бежать,— а навстречу еще такой же солдат... «Ай!» — вскрикнула опять девица и заметалась во все стороны... видит, идет мимо ее молоденькая девушка в манто из drap-royal**, с блестящими цветами, в дымковой роскошной шляпке, обшитой рюшем из шелкового тюля.

— Ах, если б я была на ее месте!— подумала она.

Смотрит... Ух!.. точно как будто перелились все ее чувства из сарафана в манто из drap-royal, и на душе стало легко.

— Что с тобой, Лели? — спросила дама, шедшая подле молоденькой девушки.

— Ох! точно как огонь разлился по мне, сердце так и бьется! — отвечала живая и рассеянная Любовь, Любенька или Лели, по наречию семейному, приспособленному к французскому языку.— Да это ничего,— продолжала Лели,— пройдет... Зайдемте, maman, в этот магазин.

— Спроси, мой друг, стакан холодной воды: это освежит тебя.

— Нет, нет, не нужно!.. Ах, как это мило! это совершенно в новом вкусе!.. Это мы купим?.. Теперь зайдемте к M-me Megron.

От Мегрон к Мене, от Мене к Цихлеру, от Цихлера... куда бы?

Накуплено много, уложено в карету.

Длинный лакей в пестром эксельбанте захлопнул дверцы, закричал во все горло: пошел домой! — уселся сам в лакей-

---

* бесплатно *(фр.)*.
** королевское сукно *(фр.)*.

ских креслах на запятках, подбоченился. Кучер хлопнул по лошадям вожжами; форейтор взвизгнул: пади, пади! — и — карета понеслась, загремела по выбитой мостовой.

Приехали.

— Как хорошо!.. как мило!.. Очень мило! Я еще в магазине говорила, что очень мило! — твердит Лели, вертясь перед зеркалом. То развернет кусок материи и приложит вместо фартука; то примеряет фермуар или шляпку, или кокетку, или цветную гирлянду, и — в радости, с лорнетом в руках, танцует перед трюмо, напевая французскую кадриль — попурри из Роберта, Фенеллы, Дон-Жуана и «Чем тебя я огорчила».

— Maman! — продолжает Лели,— мне кажется, что я буду конфузиться в первый раз на балу,— как вы думаете?

— Конфузиться! это глупо: как будто ты в первый раз едешь на бал.

— Не в первый раз... но до сих пор на меня смотрели как на ребенка, водили с распущенными детскими локонами, одевали только *пристойно!..* Но теперь другое дело, совсем не то, что прежде, Maman, не правда ли? Мне кажется, что я вдруг переменилась...

— Воображение, милая: одежда не изменяет человека!

— Не изменяет, хм! — и Лели насмешливо улыбнулась на слова матери.

День прошел в сборах. В 10 часов вечера кончилась прическа головы, в 12-ть Лели разряжена, обвешана блеском, как Индейское божество, и вот она едет... едет на бал — какое блаженство!

III

Теперь не то, что прежде. Теперь все хуже! — говорят старики; теперь все лучше! — говорит молодежь. Кто ж не пристрастен к своему времени?.. Кто любил *свое время,* тот поневоле помнит его, грустит, что пережил его, жалеет, как об друге сердца, как о красавице... хороша была она в фижмах, в роброне, в громадной напудренной прическе, набеленная и нарумяненная; мерно щелкали ее каблучки о гладкий белый пол, который мыли каждую субботу, или о мозаиковый паркет... Вот китайский фарфор, чашки в виде плодов, обложенных листьями, в виде розы без шипов... из этих чашек пила *она* чай,— какой чай! теперь не купишь за сто рублей фунт!.. Вот круглое зеркало в бронзовой раме в виде ленточки с узелком... Вот часы с курантами, которые

он подарил *ей*: в них и кукушки, и бой четвертей, и солнце восходит, и птички перепархивают с ветки на ветку, чудно поют, на голос: «Я в пустыню удаляюсь от прекрасных здешних мест»; и пастушок наигрывает на дудочке: «mes chers brebis»*, и пастушка подле приплясывает менуэт, и собачка ластится, и барашек прыгает в такту. Где теперь такие часы, кроме меняльной лавки?.. А плетеный столик, соломенный столик и вся мебель, хитрой работы, из красного, черного, пальмового, карельского, сандального и разного дерева, с бронзой, с резьбой, с узорами, с позолотой, с чернью, с насечками?.. Например, *ее* ларчик, облитый эмалью и окованный железом: в нем лежали сотни перстней и колец, и столько же серег, и столько же ниток жемчугу. Например, канапе, кожаное, обитое в узор блестящими пуклыми гвоздиками; на нем так ловко было сидеть с *нею* рядом,— грустно смотреть на эту — нынешнюю — мебель, на которой нельзя усесться порядком и сблизиться с кем-нибудь по душе!.. А золоченая резная карета, как дом, просторная, в которой *ему* и *ей* не тесно было сидеть; а цуг в шорах, на запятках два гайдука, на козлах кучер, наряженный гусаром, вооруженный арапником!.. Чета ли эта карета теперешним, тесным, извозчичьим, с наемными клячами, возкам, перегороженным надвое взаимной холодностью и равнодушием... Бывало, селятся в доме навек; а теперь и *у себя,* как в незваных гостях... Жизнь не впрок идет!

Но вот перед Лели отворились двери в залу.

Там много было уже блеску и людей. Душа Лели как будто *понесла* желанное счастие, глаза заблистали, румянец вспыхнул, а сердце забилось, как младенец в недрах матери.

Лели вступила уже в языческий храм, где есть идолы, жрецы, поклонники и жертвы.

Все обратило на Лели внимание и лорнеты; даже иноверцы, которые ходят на это празднество сердца и чувств с холодным умом, с весами и аршином, с оселком и щупом.

Лели привыкла к свету, ее не мог ослепить его блеск; но она, верно, сглазила себя перед трюмо: сердце ее так и стукало, глаза помутились; ей казалось, что все пошло кругом ее, все вдруг ахнуло, стало ее рассматривать — от атласного башмачка с отрезанным носом до атласного цветка на голове,— все стало мерить рост, ножку, талию... Опустив глаза в землю, смущенная, она не решается поднять лорнет, проби-

---

* Мои милые овечки» *(фр.)*

рается сквозь толпу, воображает идти за матерью... оглянулась — вместо матери перед ней какая-то неизвестная дама, вокруг нее кавалеры, messeurs, военные и статские, служащие и неслужащие, в очках и без очков, с усами и без усов, с сладкой и горькой наружностию, завитые в salon au coupe de cheveux, pour 7 rouble*, и расчесанные пятью пальцами, принцы с хохлом и горбом, на челе глубокая мысль, в осанке самостоятельность, самозначительность, самонадеянность... и все они стоят над Лели, как призраки над страхом.

Она содрогнулась, готова была умереть на месте... Вдруг грянула музыка, и чья-то великодушная рука протянулась к Лели,— она удержалась за эту руку, сжала ее, и вот — не пришла еще в себя, а уже носится в кругу кадрили, стан ее извивается плавно, ножка резво перепархивает под знакомую музыку.

Лели танцует и не знает с кем; Лели так близорука, что без лорнета почти не видит; притом же ей ужасно как стыдно поднять глаза: «Что он обо мне подумает! я ему ненарочно пожала руку!» Только сбоку замечает она аксельбант и ловкость своего кавалера.

После первого колена кадрили он нашелся, наконец, что ей сказать; голос его приятен, глубоко отзывается в сердце.

— Нам скоро начинать,— говорит он ей,— а я совершенно забыл фигуры кадрили: кажется, теперь следует balancé, chaîne des dames, потом chaîne croisée?

— Ах, нет,— отвечает Лели,— теперь вторая фигура: chassé en avant, en arrière, de côté, balancé, traversée и tour de main**.

— Благодарю вас. Уроки Иогеля я мог забыть, но вашего никогда не забуду.

Кончив вторую часть кадрили, Лели должна была рассказать фигуры и третьей части. Белая роза, неосторожно приколонная к плечу Лели, вдруг упала; ловкий кавалер на лету поймал ее, не допустив упасть на пол.

— Позвольте мне сберечь этот цветок,— сказал он, предупредив слова Лели:

— Благодарна вам.

— Сберечь вечно! — прибавил он.

Лели не знала, что отвечать на эти слова.

---

* в салоне для стрижки волос за 7 рублей *(фр.)*.

** балансе; цепь дам; скрещенная цепь; шассе вперед, назад, в сторону; траверсе, поворот рукой *(фр.)*.

— Могу ли я,— продолжал он,— надеяться на позволение танцовать с вами... не следующую, нет — я не смею утомлять вас собою,— но третью кадриль?

Лели изъявила знак согласия. Во все время танцев она видела перед собою только Адъютанта и более ничего.

Кадриль кончена; кавалер раскланялся с ней; она поднимает лорнет, хочет следить за ним взорами; но тщетно: он исчез в толпе,— вышел в другую комнату.

— Кто этот Адъютант? — спросила Лели одну из подруг своих.

— Хорошенький собой? будто ты не знаешь его! это князь Юрий Лиманский. Не правда ли — красавец?

— Я танцовала с ним, но хорошо не рассмотрела.

— Какая ты слепая, ma chère!

— Я без лорнета совершенно ничего не вижу, даже за несколько шагов.

— Пойдем, я тебе покажу его!.. Вот он...— И — Лели рассмотрела своего кавалера. Сердце ее как будто стукнуло в грудь: это он! — «У него моя роза!» — подумала Лели, вздохнув; он овладел ею *навеки!*

Она бы не желала танцовать второй кадрили: ей казалось уже изменой танцовать с кем бы то ни было, кроме *его*; но Лели еще не умеет отказывать.

Музыка грянула аккорд новой кадрили.

К Лели подлетел кавалер в кованом фраке, с отворотами набивного бархата, вокруг шеи обвернута шаль, узел огромен; волоса улиткой, руки ребром, ноги сами ходят.

Лели взглянула на кавалера; он ей показался страшен, сердце сжалось в груди; ей ужасно как не хотелось танцовать с этими впалыми очами; но — нечего делать!

— Как приятна жизнь московская! — сказал он ей.

— Да-с,— отвечала Лели.

— Какая разница с Киевом и Бердичевым, откуда я только что приехал... Вы постоянно живете в Москве?

— Да-с,— отвечала Лели.

— Хм! безмолвная! — подумал бледный кавалер Лели,— то ли дело польки... А не дурен куш! — Жаль только, что климат московский не так хорош, холоден...— продолжал он вслух.

— Да-с,— отвечала Лели.

— Да-с, очень холоден!..— повторил едко кавалер Лели и молчал до конца кадрили.

Лели села, боязливо ожидая *третьей* кадрили. Напрасно к ней подбегали кавалеры один за другим. «Я тан-

цую»,— отвечала она, не сводя глаз с Адъютанта, стоящего в отдалении, напротив ее. Он, казалось, стерег Лели. Опустив глаза, она прислушивается к музыке... Вот строят уже инструменты... Ах, как долго строят!.. все еще строят!.. Ух! раздался аккорд... К Лели подлетел Адъютант... Покраснела Лели, потупила взор, привстала уже с места... Смотрит — перед ней два Адъютанта.

Лели смутилась, нерешительно посмотрела на того и на другого и — подала руку князю Юрию.

— Князь, вы слишком много берете на себя: отхлопывать ангажированных дам!.. За ваш поздний выбор, сударыня, будет отвечать мне предпочтенный вами!

— Отвечаю чем угодно! — сказал князь Юрий, уводя испуганную Лели на середину залы.

— Ах, боже мой, что вы хотите делать? — сказала Лели князю.

— Наказать за дерзость этого человека. Это олицетворенная зависть! Поверьте мне, что все это было сделано с намерением: он давно уже искал случая столкнуться со мною!..

Лели с трудом кончила кадриль: она вся дрожала от страха.

— Ты совсем бледна, Лели? что с тобой? — спросила ее мать, когда она подошла к ней.

— Мне дурно... maman, поедемте.

IV

Ни отец, ни мать, ни родные, ни знакомые, ни ближние, ни дальние, ни сплетни, ни догадки — никто не знал, что случилось с Лели в первый выезд ее на поприще света. Никому и в голову не пришло, чтоб вокруг нее вдруг могла образоваться сфера событий, что она уже маленькое солнце, которое также в состоянии производить весну и лето, осень и зиму в обращающихся около нее сердцах.

Неизвестность, чем кончится раздор за нее, мучит Лели.

— Юрий, Юрий! — думает она,— что, если тебя убьет этот... другой, злой, гадкой, мерзкой Адъютант! о, я не переживу этого!

Холод пробежал по ней при этой мысли, и Лели становится на колени пред образами и молится за Юрия,— и никогда не бывает так хороша девушка, как во время молитвы за того, кого любит.

В продолжение целой ночи, в продолжение другого

дня Лели переходила от одного ужаса к другому: стук двери, скорые шаги — все пугало ее: ей казалось, что уже идут обвинять ее в причине смерти двух молодых людей; она боялась выйти в гостиную... Но прошел день — нет никаких слухов, прошел другой — также; на третий день она забывает уже боязнь быть предметом общей укоризны,— готова сама спросить каждого, кто может дать ей верное сведение о князе Лиманском: жив ли он? не случилось ли чего с ним?

Ввечеру собрались гости; Лели, жалуясь на кружение головы, прислушивается, не говорит ли кто о князе, о дуэли,— ни слова. Но вот приезжает барыня-вестовщица.

— Знаете ли что? — говорит она, усаживаясь,— вы ничего не слыхали о рыцарском поединке?..

— Каком, каком?— раздалось со всех сторон.

Лели побледнела.

— Как же: происходило сражение за одну прелестную вдову... догадываетесь?.. имени не скажу...

— Но кто? с кем? это любопытно!

Лели несколько ожила; прислушивается.

— И оба ранены...

— Да кто же, кто?

— Однако ж, чтоб не испугать многих, потому что *многие* принимают большое участие в одном из соперников, я предуведомлю, что раны обоих не опасны: подвязав руку черным платком, можно показываться в общество, и тем интереснее будет для *многих*.

— Но скажите, пожалоста, кто?

— Главное лицо... отгадайте? Адъютант...

Лели затрепетала.

— Неужели...

— Князь Лиманский.

— Шутите! — А другой?

— Также какой-то Адъютант; но не интересен,— не знаю даже и фамилии.

— И за кого, сказали вы?

— Догадывайтесь.

— Неужели за... Dame du Lac?

— Да, за Dame des eaux d'Ostojenka*.

— Может ли это быть!

— Что ж, это мило: кавалеры обязаны проливать кровь свою за дам. Я не знаю, которая бы не пожелала, чтоб все

* дама с Озера; дама с Остоженских вод *(фр.)*.

московские Damoiseaux* передрались за нее. Это облегчает выбор.

— И вы наверно знаете, что за Dame du Lac?

— Наверно.

Лели готова была вскрикнуть: неправда! — так затронуто было ее самолюбие мнимою причиной дуэли.

Но она только глубоко вздохнула, с беспокойной досадой, даже с ненавистью в душе к неизвестной, которую называли Dame du Lac. Она желала непременно узнать, кто эта соперница, лишившая ее славы быть предметом дуэли.

V

Прошел целый месяц; князь Юрий не являлся в общество, где прилив новых лиц и новостей заставил скоро забыть даже и о том, существует ли Юрий на свете: жить там и не показываться на глаза значит то же, что быть покойником. Но для Лели это убийственно; едва она только помыслит: может быть, он умер от раны! — тоска как будто перельется по всему ее телу, а сердце, кажется, хочет вырваться из груди, оставить Лели.

Но настало время собраний, объявлен маскарад. Не по душе Лели забавы рассеянного света, но она едет: может быть, там встретит *кого-нибудь,* кто скажет ей *что-нибудь* про Юрия.

Задумчиво ходила она в текучей толпе, вокруг толпы неподвижной среди залы, как на острове,— вдруг видит перед собой Адъютанта... Радостное восклицание замерло у нее на устах; но глаза ее ясно высказали: вы живы! я вас вижу! о, как я рада!

Лиманский не имел права поклониться ей; но взглядом своим он встретил ее как знакомую.

Он прошел, Лели оглянулась назад, и он оглянулся. В глазах есть что-то заменяющее слова: «Мне нужно сказать вам хоть одно слово!»

Лиманский понял этот немой язык; вскоре подошел он к Лели. Она подала ему руку; глаза ее заблистали радостью.

— Если б вы знали, как я боялась за вас! — сказала она ему со всею откровенностью сердца.

— Мне дорого ваше участие,— отвечал Лиманский,—

* волокиты, дамские угодники *(фр.)*.

но, может быть, подобное же участие вы принимаете и в моем сопернике... скажите?

— Ах, нет! он был так дерзок, он готов был обратить на меня общее внимание...

— Я его наказал за это.

— Но и вы также ранены.... Скажите, вы не опасно ранены? ваша рана не будет иметь последствий?

— Я желал бы, чтоб она имела последствия! — отвечал Лиманский, значительно взглянув на Лели.

Она поняла эти слова и понеслась в круг кадрили, как дух, не прикасаясь к земле, как цветущая роза, облеченная легким облаком.

В танцах, как в опьянении, высказывается все, что лежит на сердце. Тут заметны для наблюдателя и любовь, и досада, и зависть, и равнодушие. В выражениях лица и в движениях есть также язык неумолкающий, невольный порыв высказывать мысли и чувства. И ничем не высказывается так хорошо первая радость влюбленного сердца девушки, как движениями под звуки музыки: кажется, что она плавает в волнах этих звуков, исчезает, появляется снова пылающей зарей. Мать любуется на нее, подруги завидуют, и никто не понимает, отчего она так ловка, хороша и пленительна?

В эти минуты на взор счастливца она отвечает взором, на слово согласием, на чувство взаимностью, увлекаемая в traversée и chaîne, она расстается с *ним* со взором грусти; но, вырвавшись из фигуры, где *его* нет, она быстро летит к нему, и взор ее слетается с его взорами.

Кадриль кончилась; утомленный кавалер Лели торопится в галерею, чтоб вздохнуть свободнее. «Эта девушка стоит того, чтоб забыть для нее бесчувственную Зою!» — говорит он почти вслух, восхищаясь издали красотою Лели.

Несколько вечеров, несколько домов общих знакомых открывают всегда путь сперва к сердцу, а потом в дом.

Лиманский вскоре приглашен уже и отцом, и матерью Лели на вечера. Князь, ротмистр, имеет состояние, хорош собою — чего же больше нужно для самолюбия родителей и для счастия дочери? В дополнение: взаимная любовь, и — дело решено.

Князь Юрий вскоре становится уже *своим* в доме. Он свободен в обращении с Лели, как брат; говорит ей, что хочет, целует ее руку, когда вздумает; он повсюду ее спутник. Недоставало еще только решительного объяснения. В этом случае мужчина всегда медлит, отклоняет решитель-

ную минуту воплощающегося блаженства, чтоб насладиться долее сбывчивостию желания; а женщина торопит эту минуту, не постигая наслаждения духовного, предвкушающего сбывчивость: в женщине слишком много нетерпения и пылу, который требует существенности.

Однажды пробирался Лиманский подле Лели сквозь толпы гуляющих в парке. Мимо их медленно прошел офицер в шинели.

— Кто это такой? — спросила тихо Лели.— Как он злобно посмотрел на вас!

— Неужели вы не узнали его?

— Нет...

— Вы не узнали моего соперника?

— Неужели это он?

— Как будто вы видите его в первый раз? Вы шутите!

— Уверяю вас, я его совсем не знаю; когда он подошел ко мне на балу, я, задумавшись, приняла его за вас...

— О чем же вы в это время думали?

— Это одна моя тайна, и ту хотите вы выведать?

Лиманский понял эту тайну; но он хотел на откровении Лели основать и свое собственное признание в любви и намерение просить ее руки.

— Скажите мне вашу тайну! — повторил он убедительным голосом по возвращении с гулянья.

— Что я думала?.. вы хотите знать? непременно?..

— Хочу знать непременно,— сказал Лиманский, взяв Лели за руку,— может быть, от этого зависит мое счастье! скажите!..

— Я думала...— отвечала Лели, покраснев и потупив взор,— я думала о белой розе, которая была первым залогом моей любви, с которой вместе я отдала и свое сердце...

Быстро потухло на лице Лиманского выражение страсти; он опустил руку Лели.

— О белой розе... залоге любви!..— сказал он,— эта откровенность выше моих ожиданий!

— Где она?

— Белая роза? — Не знаю: я не хранитель чужих залогов любви!.. Она, верно, у того, кому вы *вручили* вместе с ней и свое сердце!..

Поклонившись очень учтиво и сухо, князь Лиманский торопливо вышел.

— Ah! — вскрикнула Лели, опамятовавшись и вскинув руки вслед за ним; но его уже не было.

В тот же вечер Лиманский встретился с своим соперником.

— Князь, мне нужно с вами переговорить,— сказал он ему.

— Что вам угодно? Кажется, мы кончили с вами счеты?

— Не совсем; мне необходимо знать — извините мое любопытство,— мне необходимо знать, в каких отношениях вы с той особой, которая была причиной нашей ссоры?

— Милостивый государь, на подобный вопрос не отвечают; но я не намерен снова быть причиной какой бы то ни было расстройки... Если вы неравнодушны, то позвольте вас уверить в моем совершенном равнодушии ко всем прекрасным особам Москвы!..

— Мне сказали, что вы уже жених этой девушки.

— Я? никогда! и чтоб рассеять эти глупые слухи, моя нога не будет в этом доме!..

— Этого мне довольно.

— Сердечно радуюсь.

VI

— Поздравляю тебя, Лели! — вскричала Мария Зарская, разумеется, не по-русски, вбежав в комнату Лели, спустя несколько времени после события.— Когда ж свадьба?

— Свадьба? когда мне вздумается,— отвечала Лели равнодушно.

— Ах, Лели, как ты переменилась! что с тобой сделалось?

— Не знаю... кажется, ничего. Когда вы приехали?

— Вчера. Как ничего?.. посмотри в зеркало, ты, верно, нездорова... Скажи, пожалоста, хорош ли твой жених?

— Ах, оставь, пожалоста, спрашивать!.. Все надоели мне вопросами!.. Совсем не хорош!..

— Зачем же ты выходишь за него?

— Зачем? странный вопрос!

— Верно, тебя принуждают?.. ах, бедная!..

— Нисколько!

— Стало быть, ты его любишь?

— Да, люблю, ну люблю — что ж из этого?

— Он также любит тебя?

— Хм! пошла ли бы я иначе замуж? Еще бы не любил тот, которому отдаешь себя во владение!

— Он князь?

— Нисколько не князь!..

— Мне сказали, что князь, адъютант... фамилию позабыла!.. Как его фамилия?

— Да, Адъютант, что ж из этого, что Адъютант?

— Ах, это приятно, Лели, как приятно! ты будешь сама развешивать ему аксельбант! Только, пожалоста, не вели носить по форме: я не люблю; развесь от одного плеча к другому, чтоб вся грудь была увешана... пожалоста, сделай так, как я тебе говорю!

И — Мери подбежала, обняла Лели.

— Как бы я желала быть на твоем месте, счастливица Мери! — подумала Лели, вздохнув.

Уста их слились поцелуем. Мери, казалось, впила в себя какое-то сладостное чувство, которое обдало ее жаром. Грудь ее заволновалась, она отскочила, бросилась к зеркалу.

— Что с тобой сделалось, Мери? — сказала, в свою очередь, Лели и, не ожидая ответа, приложила к сердцу своему руку, как будто прислушиваясь к биению его.— Какая пустота! — произнесла она тихо.

Между тем Мери вертелась перед зеркалом.

— Ах, милая Лели, мне вдруг пришло в голову, что я сегодня особенно что-то хороша... глаза так и горят!.. Не правда ли, что у меня восточные глаза?.. Это платье ко мне очень пристало! как мило: широкие рукава с перехватом!.. Я бы желала, чтоб вечно носили такие рукава и гладкий лиф без глупых сборок... Посмотри, как это полно: так и хочет хлынуть вон!.. Ах, Лели, ты счастлива: ты знаешь уже любовь!..

— Хм! — произнесла Лели в ответ на эти слова, с горькой улыбкой.

— Как у меня бьется сердце!.. Какое-то сладостное чувство!.. Поцелуй меня, Лели, еще раз... обними так, как обнимают мужчины!.. Ах, Лели, Лели! я влюблена!

— В кого это?

— Я и сама не знаю... но, кажется, я задушила бы его в своих объятиях!

— Кого же?

— Ах, какая ты скучная!.. Кого, кого! я почему знаю кого?.. Мне еще ни один мужчина не признавался в любви.

— Не верь, Мери, этим мужчинам: мужчины ложь, обман!

— Конечно! ты также, верно, за обманщика выходишь замуж? Бедная! тебя обманули!.. однако ж я также хочу быть обманутой.

— Кто же тебе мешает? влюбись! может быть, ты уже и обратила на кого-нибудь особенное внимание, но таишь...

— Нет!.. Мне до сих пор встречались только уроды; а волочится за мной и прикармливает конфектами какой-то Бржмитржицкой, какой-то помещик, который недавно познакомился с нами и играет почти каждый день с дядюшкой *в палки*... Какой гадкой! но ужасный богач, почти всякий день у него какая-нибудь новая драгоценность: то булавка тысячи в три, то перстень, то табакерка с музыкой и чудной живописью; один раз привез он нам показать фермуар... ах, какой фермуар, ma chère! Для кого же вы это купили? — спросила я.— Для будущей моей невесты,— отвечал он мне сладким голосом, верно, думая прельстить меня своим фермуаром... глупец какой!.. Какая ножка! не правда ли? Представь себе: вчера я сижу у тетушки, разговариваю, вот с этим... как его зовут... эта *ходячая тоска*... ну, все равно!.. оглянулась, а *ни то ни се* уставил глаза на мою ногу, да еще очки протирает! Вообрази себе! точно как будто моя нога на выставке!

— Ну?

— Я оглянулась, а он вдруг вздохнул, так громко, что я вздрогнула; а моя нога сконфузилась и спряталась, как улитка в раковину... Безумец! вздыхает по ноге! какой-нибудь *ни то ни се* воображает, что его можно любить!.. Однако же, adiex, мой друг, я собираюсь сегодня ехать под Новинское... Прощай! только, Лели, смотри, когда выйдешь замуж, не будь так скрытна, как Леночка.

Мери выбежала в гостиную и с трудом отвлекла свою тетку от всеобщего любопытного разговора о мадам Дюдеван, сочинительнице «Индианы», и об обществе восстановительниц прав женского пола.

Какое-то нетерпеливое чувство влекло Мери под Новинское; казалось, что там ожидало ее земное блаженство; она слышала какой-то внутренний говор в себе, в ней так и раздавалось: как я рада, что вырвалась от этой скучной Лели! поедем, поедем искать, где *он*!.. *он*! ах, как хорошо это одно слово!.. Ах, Мери, *он* полюбит тебя, ты хороша собою!

VII

Праздник — эти толпы людей, этот говор и шум, эта безотчетная радость, этот пир всех пяти чувств — давно изобретен человеческим сердцем; оттого-то оно так и радо празднику. Но великий праздник Весны для него веселее всех праздников. С воскресением бога живого все воскресает;

воскресают в памяти и те времена, когда еще человек поклонялся матери-природе, когда перед изваянным ее ликом во Фригии на горе Иде, а потом в Риме на горе Палатинской совершались *великие игры*, а благорожденные жены и девы пели священные гимны и плясали; а властители присутствовали в полном убранстве багряниц, а Эдилы угощали народ и дивили его конскими бегами, борьбой людей и зверей и театральными зрелищами.

Весело было тогда, весело и теперь; но тогда сердце каждого должно было участвовать — и участвовало; а теперь много сердец — холодных зрителей. Тогда никто не смел явиться на общественный пир с лицом, наводящим уныние и тоску, никто не имел права считать веселость людскую глупостью, а игру — ребячеством; потому что в эти дни и само солнце играло.

Бывало, разрядясь в парчу да в камку, торопятся русские добрые люди на приходский праздник пешком, неся сапоги и красные черевички на плече на палочке. Помолившись богу в Новинском патриаршем монастыре,— который существовал уже при Иоанне Васильевиче Грозном,— все отправлялись к кабачку *«куковинке»*, сохранившему и поныне свое прозванье. Против этого кабачка, на том же месте, где ныне строятся нарядные балаганы, совершались в старину чудеса *Пимперле;* Итальянский паяц — Pasquin, плясал на канате, красные девушки качались на качелях, водили хороводы, щелкали орешки и *кокали* яички.

Теперь не те уже времена, не та цель сборов под Новинское: монастырь в стороне, церкви Иисуса Навина, от которой он принял свое названье, как не бывало.

Обратимся же к новому смыслу, заключающемуся между веревками. Ландо, в котором Мери сидела земной счастливицей, въехало на стезю гремучей змеи экипажей, извивающуюся вокруг раскрашенных балаганов, в которых показываются дикие люди и дикие звери, где Удав, кормящийся по объявлению только один раз в год, кормится для удовольствия зрителей десять раз в день, и пр., и пр., и пр.

Мери едет с самодовольствием. Радужное перышко — эспри — развевается на ее шляпке цвету маисового; Мери смотрит и направо, и налево, и в толпы гуляющих пешком — ничто не поражает ее взоров, не производит впечатления на сердце; но вдруг, совсем неожиданно, какой-то Адъютант пронесся мимо ландо на гордом коне. Он взглянул мельком, но проницательно на Мери,— взор ее встретился с его взором.

— *Он!* — отозвалось в сердце Мери.

И — *он* исчез; только стан его рисуется вдали на коне. Мери вздохнула.

— Поезжай скорее! — вскричала она кучеру.

— Перед нами едут экипажи, Мери,— сказала ей тетка.

— Как глупы эти ко́злы! кучер сидит выше нас! — сказала Мери с сердцем, почти выпадая из ландо и всматриваясь в длинный ряд экипажей, которые тянулись перед ними. Она никого ни видела, кроме Адъютанта, исчезающего вдали. Мери смотрела неподвижно, как астроном, боясь потерять из глаз вновь открытое светило; вооружась шелковой трубочкой, она созерцала течение кометы, ожидала с нетерпением, когда она совершит свой круг и придет снова в перигелию с ней.

— Ах, какой несносный большой круг! — повторяла она. Вот уже видно только белое перо, вот все меньше и меньше... но Мери не теряет белого пятна в отдаленной толпе... Вот она уже не может различить: пылинка ли носится перед ее глазами, или это еще *он* виден?

Совсем исчез! а Мери ищет его повсюду в рядах. Долго, долго нет его... и вдруг, какая радость для сердца Мери! он опять появился, опять проскакал мимо.

— Кто этот Адъютант?

— Как будто ты не видывала его,— отвечала тетка,— это князь Лиманский. Ты, верно, встречала его на балах.

— Никогда.

— Так, верно, помнишь, он у Селининых представлял в живых картинах Адониса?

— Я в то время не была у Селининых!

— Однако же пора ехать домой.

— Ах, нет, нет! Как можно! рано!— вскричала Мери.

— Я устала, мой друг,— да и все уже разъезжаются.

— Рано, рано, ma tante!

Мери посмотрела умоляющим взором на тетку, и ландо продолжал колесить вокруг качелей. Но лучшие экипажи уже разъехались, только старинные рыдваны тянутся еще, да лаковые праздничные колясочки, четверней и парочкой заводских откормленных коней, да дрожки с фартуками, с семьями и дамами — смешением гарнитуровых платочков с пышными шляпками — уж каких нет дороже и *пригоже* не только на всем Кузнецком мосту, но и в панских рядах: всё блонды да *светы, светы* розовые.

— Ступай домой!— повторяет, наконец, утомленная тетка решительным голосом.

— Тетушка, милочка, еще один круг!

Нельзя не исполнить такой ласковой просьбы, с поцелуем в плечо. Объезжают еще круг; ряды уже исчезли, остальные экипажи едут рысью, около балаганов пустеет, пестрый шут выходит уже на балкон балагана, только проветривать свой белый широкий балахон и дразнить языком запоздалых ротозеев.

VIII

Для первоначального наслаждения сердца достаточно только одной встречи с тем, кого оно располагает любить. «Как я счастлива!» — произнесла Мери почти вслух, возвратясь домой. Она уединилась в своей комнате, раскинулась на кушетке, против самого трюмо, и — мечтала. Ее спальня была очень мило убрана: тут не было наруже кроватей с вздутой пуховой периной и с пирамидой подушек мало-мало-меньше, в которых нега лежит, как утопленница; стены не были опалены свечой и окровавлены под мрамор: все было чисто и опрятно. Из старомодных наследственных вещей висели только на стене, рисованные сусальным золотом по стеклу, картинки; одна из них изображала первый поцелуй Меналка Филлиды.

В первый раз Мери обратила особенное внимание на эту картинку. «Ах, я влюблена!» — повторяла она про себя и, приложив руку к сердцу, радовалась, что сердце ее сильно бьется, смотрела попеременно то на Меналка, то на Филлиду, то на себя в трюмо — и вся горела.

— Буду писать журнал любви! — пришла ей мысль в голову,— и Мери вскочила с кушетки, сбросила со столика ручную работу по канве, взяла листок почтовой бумаги и стальное перышко, стала писать.

МОЙ ЖУРНАЛ

тысяча восемь сот такого-то года.

Кончив заглавие, Мери задумалась; очень долго думала, обкусала деревцо пера и все ногти.

«Сегодня после обеда...»

— Нет!..

«Какое сладостное чувство — любовь...»

— Нет!

«Сегодня день первой любви моей...»

— Нет, надо написать с самого утра, что делала и как влюбилась...

«Встала я сегодня поутру в десятом часу, пила чай, потом одевалась и во все время чувствовала какое-то предчувствие... примеривала новое платье, велела переделать талию, потому что широка сделана талия; оделась в новое тюлевое — мне не хотелось ехать к Лели, потому что она скучна до безмерности и мне с ней скучно бывает; но поехала, потому что оттуда собирались под Новинское... ах, Новинское!..»

— Нет!

«Поздравляли Лели с женихом; она была что-то бледна и надута, верно, поссорилась с женихом. Поехали под Новинское. Ах, я никогда не забуду это гулянье! оно запечатлено в моем сердце! Когда мы ехали, вдруг показался прекрасный мужчина верхом, в адъютантском мундире, с белым пером на голове. Он ехал и пристально смотрел на меня. Я почувствовала непонятное чувство! кровь во мне закипела — черные глаза его так и пылали любовью, и я влюбилась навеки! навсегда, и не изменю ему никогда!.. Тетушка говорит, что это князь Лиманский, ах, если б он поскорее познакомился с нами».

— Ах, если б он поскорее познакомился с нами! — повторила Мери вслух, бросив перо.— Но каким же образом он познакомится? Он и не знает нас... может быть, и случая не найдет...

Мери задумалась, Мери в отчаянии: эта горестная мысль была первым облаком на чистом небе ее мыслей. Но у Мери был настойчивый нрав. В продолжение всей святой недели она каждый день, и поутру, и после обеда, ездила под Новинское, морила усталостию свою тетку, которая не умела ни в чем ей отказать.

День, в который встречала она своего милого Адъютанта, записывался в журнале в числе счастливейших дней жизни.

В одну из утренних прогулок привязался к ней Бржмитржицкий. Разговорами своими он отвлекал ее наблюдательные взоры,— она злилась на него тайно, кусала от досады себе губы, старалась отвечать отрывисто, притворялась, что не слышит слов его,— ничто не помогало; Бржмитржицкий не отставал, продолжал свои рассказы, свои вопросы. Не зная, что делать, Мери отвернулась от него совершенно и заговорила с другими.

— Здравствуйте, князь!

— Здравствуйте, Бржмитржицкий!

Раздалось вдруг подле Мери.

Мери оглянулась,— это *он* прошел. Ей хотелось огля-

нуться еще назад, но тут несносный Бржмитржицкий. Между тем Лиманский исчез в рядах.

— Куда ж вы? — сказала Мери, заметив, что Бржмитржицкий, поравнявшись с кондитерской, хотел своротить.

— Я хотел зайти...

— Нет, нет, не оставляйте нас!

— Желал бы, но я дал слово.

— Полноте, оставьте ваши слова!

— Впрочем, если вы приказываете...

— Приказываю!

— Исполняю вашу волю,— отвечал Бржмитржицкий. Взгляды его запылали самодовольствием, плеча его несколько приподнялись выше; бледное, изношенное его лицо несколько ожило. Он шел подле Мери как человек, имеющий уже право гордиться ее красотой, ревновать к ней все слишком внимательные взоры мужчин и отражать их взором суровым, который, кажется, говорит: не беспокойтесь, это уже моя!..

— Итак, вы у нас сегодни? — повторила Мери, приближаясь к коляске.

— У вас,— отвечал Бржмитржицкий, подсаживая ее.

— Ma tante, знаете ли что? — сказала Мери своей тетке во время дороги.

— Ну?

— Вы согласитесь на то, что я у вас попрошу?

— Не знаю; если только возможно.

— Ma tante, согласитесь! я хочу этим доставить вам удовольствие, сделать сюрприз дядюшке.

— Какой? не театр ли? Нет, милая, уж поздно: в неделю не успеть, а я не хочу, чтоб это было кое-как!

— Вот и не отгадали!

— Что ж такое?

— Живые картины! Не правда ли, я прекрасно выдумала? Теперь они в такой моде.

— Что ж, можно.

— Можно?

— Но кого же мы наберем представлять их?

— А я вам пересчитаю: две кузины, да я, да Лида Нильская.... вот женщины; теперь... мужчин надо больше... потому что, например, представить Поля и Виргинию... когда убивают ее оленя... тут нужны охотники... Во-первых, Юлин, потом...

— Помилуй!.. неловок! для картин, милая, нужна ловкость и красота.

— Он в числе подставных, которые будут стоять на втором плане картины; а для главных ролей мы пригласим тех, которые играли у Селининых.

— Где ж их искать по Москве? Это невозможно!

— Это уж мое дело: Бржмитржицкий всех знает, и вы уж не беспокойтесь, я распоряжусь.

Мери поцеловала в плечо тетку и умчалась в свою комнату одеваться на вечер.

Кончив свой туалет, она с нетерпением ожидала Бржмитржицкого; едва показался он в двери:

— Ах, m-r Бржмитржицкий, наконец, вы явились!

— Я торопился...

— Торопились, чтоб застать партию виста, не правда ли?

— О, совсем нет! вы знаете, какой охотник ваш дядюшка до карт; невозможно, нельзя отказаться; поверьте, что я играю поневоле; у меня в голове совсем не партия виста...

— Хорошо, посмотрим, составите ли вы партию в нашей игре?

— Вам легко распоряжать мною, потому что я весь в вашей воле.

— Если так, то я хочу, чтоб вы участвовали в живых картинах, которые мы думаем представлять в день имении дядюшки; и на вас именно я возлагаю все распоряжения.

— Надеюсь оправдать ваш выбор.

— Очень хорошо; я буду вербовать дам, которые должны будут играть; а вас попрошу комплектовать мужчин.

— И прекрасно! я буду уметь устроить это все: у меня много знакомой молодежи.

— Но знаете ли... тетушка не хочет заводить излишних знакомств... надо выбрать таких, которые уже участвовали где-нибудь в живых картинах; потому что некогда испытывать способность: пригласить — не отказывать же после...

— Это правда; но... право, я не знаю, кто бы из моих знакомых участвовал в живых картинах?

— Ах, постойте... на масленице, кажется, были живые картины у Селининых: тетушка, кажется, видела и, верно, помнит, кто играл там...

И с этими словами Мери бегом понеслась в свою комнату, поправила перед трюмо локоны свои и возвратилась.

— Тетушка никого не знает, кроме Адъютанта... князя... как бишь его?.. Лали... ли... позабыла!.. постойте, я переспрошу...

— Лиманского?

— Да, да, да, да!

— Я знаком с ним: еще в Киеве познакомился; мы коротко знакомы.

— Ну вот и прекрасно! Пригласите его к нам, скажите, что дядюшка и тетушка желают с ним познакомиться. А других тетушка сама хотела узнать... Только надо скорей, потому что через восемь дней дядюшкины именины. Послезавтра надо начать репетицию... А завтра я с вами посоветуюсь насчет выбора предметов для картин; между тем, вы обдумайте, какие бы лучше... Вы все это сделаете для меня?

Последние слова Мери произнесла почти что голосом нежной любви.

— И вы спрашиваете меня? — сказал Бржмитржицкий, устремив на нее пламенный, значительный взор.

Распорядившись таким образом, Мери умела ускользнуть от дальнейших разговоров.

Бржмитржицкого усадили за карты; изредка Мери подходила к столу и спрашивала его:

— Выигрываете ли вы, M-r Бржмитржицкий?

Искусство Бржмитржицкого потревожено было рассеянностию: он делал ошибки, не занимался игрою и проигрывал.

— Плохо, очень плохо выигрываю,— отвечал он Мери.

— Кто несчастлив в картах, тот счастлив в любви,— заметил дядя Мери басом.

Бржмитржицкого смутило это предсказание, и он, в рассеянности, стал козырять простой мастью.

IX

Бржмитржицкий исполнил обещание. На другой же день князь Лиманский представлен был в дом, обласкан приветливостью и вниманием. Живой, свободный нрав Мери развернулся перед ним во всей прелести соблазна. В хитрой девушке никто не замечал намерения: она казалась так простодушно-веселой, болтливой со всеми, радушной и одинаково внимательной ко всем... Всем и весело: с Мери время летит в шумных разговорах, в выборе картин, в раздаче ролей, в пробе... Но никто всем этим не наслаждался так, как Бржмитржицкий; на нем лежат все хлопоты: доставать костюмы, одевать, примеривать, устанавливать, изобретать положения. Предвкушаемое блаженство надежд и любви развернуло в нем гений отличного режиссера.

Князь Юрий находил также удовольствие в участии; ему особенно нравились в Мери и живой ее нрав, и пылкость. К предпочтению перед прочими он привык; и потому таинственное и только для него заметное внимание к нему Мери нисколько не льстило его самолюбию и не удивляло: оно казалось для него чем-то законным, должным; Лиманский был равнодушен к нему, хотя и сам предпочитал Мери всем прочим девушкам, бывшим налицо, как девушку, которая лучше прочих, как хозяйку, с которой должно быть внимательнее, приветливее. Но Мери только об этом не подумала: это особенное внимание она почитала вниманием любви, и сердце ее билось радостно.

Оставался еще один день для репетиции.

— В котором часу завтра соберемся? — спросил ее Лиманский накануне, при отъезде домой.

— Завтра надо пораньше собраться,— отвечала Мери,— приезжайте часов в шесть...

Князь уехал.

Прочие тоже спросили; но ответ был не тот.

— В седьмом часу...— отвечала Мери всем прочим,— ах, нет, нет, я и забыла: тетушка до восьми часов не будет дома... Часов в восемь.

С нетерпением ожидала Мери утра. Настало утро. С нетерпением ожидала она шести часов вечера, и с пяти часов была уже в гостиной одна. В самом деле, ее тетке куда-то нужно было отлучиться до 8 часов вечера.

Мери приотворила дверь в переднюю; приказала людям, если кто приедет из ежедневных гостей — просить.

Шесть часов пробило — нет его. Мери стала считать секунды шагами.

Вдруг фаэтон загремел у подъезда. Мери выбежала в залу.

Князь вошел в переднюю и, увидя ее, не стал спрашивать, дома ли господа.

— Это вы, князь? — сказала Мери.

— Я боялся опоздать: вы сказали в шесть часов, а теперь четверть седьмого...

— Вы меня чуть-чуть не застали мертвой на диване...

— Это каким образом?

— Я придумала еще картину, прекрасный сюжет из Демутье: «Lettres á Emilie sur la mytholoqie»* и повторяла роль Прокрисы. Знаете, как трудно выразить ее положение:

---

* «Письма Эмилии о мифологии» *(фр.)*.

умирать на руках своего убийцы, умирать с страстной к нему любовью — ужасное состояние! Я почти выучила наизусть эту сцену. Как хорошо описана ревность несчастной Прокрисы: она прячется за куст, подозревая, что Цефал любит нимфу Ору, и что же! Верный Цефал слышит позади себя в кустах шорох, воображает, что это зверь, натягивает лук и поражает Прокрису! Это ужасно! Умирая на его руках, она говорит:

Rardonne moi de t'avoir soupçonné!
En mourant de ta main, le Ciel veut que j'expie
Mon injustice et mon erreur,
Mais je regrette peu la vie,
Si je me survie dans ton coeur*.

— Не правда ли, как это хорошо!

— Бесподобно.

— Что, если б с вами то же случилось, князь Цефал?

— Я бы не пережил.

— О, я бы желала посмотреть, как вы выразите свое отчаяние, когда Прокриса, умирая на ваших руках, будет мысленно говорить вам эти стихи.

— Притворно выражать подобные чувства гораздо труднее, нежели на самом деле; но если вы назначаете меня Цефалом, я постараюсь выразить отчаяние en forme**.

— Хорошо, вот вам стрела! — вскричала Мери и в несколько мгновений принесла золотую стрелку, для которой коса служит колчаном.— Бросайте в меня, я представлю пораженную этим убийственным орудием Прокрису. Ну!

Лиманский, увлекаемый живостью и шуткой Мери, бросил в нее стрелку...

— Ах! — вскричала она, и глаза Мери стали закатываться, голова и руки опадать, стан склоняться.

— Вы упадете в самом деле! — вскричал Лиманский, поддерживая Мери.

Но едва прикоснулся он до нее, сердце встрепенулось в груди ее, как вспорхнувшая птица, члены ее онемели, дыхание стеснилось; она всею тяжестию тела упала на руки к Лиманскому.

Смущенный, держал он ее на руках. Глаза Мери были закрыты, голова закатилась, румянец пылал, грудь волно-

* Прости меня за то, что я тебя подозревала!
Умираю от твоей руки, и небо хочет, чтобы я искупила
Мою несправедливость и мою ошибку,
Но я мало сожалею о жизни,
Если я буду жить в твоем сердце (*фр.*).

** как следует (*фр.*).

валась, руки повисли... и вся она была как бездыханная.

— Боже мой, ей дурно!.. и если кто-нибудь...

Лиманский испугался своей собственной мысли; торопливо опустил он Мери на диван, приклонил ее голову к боковой подушке и — тихими шагами выкрался из комнаты.

В это время Бржмитржицкий, всегда и везде ранний гость, прошел из залы по комнатам вправо и, не встречая никого, воротился, прошел в боковую гостиную, не встретив князя, который между тем уже удалился.

В гостиной, заметив Мери на диване, Бржмитржицкий подошел к ней.

— Заснула!..— сказал он тихо.— Как она мила!

За глубоким вздохом Мери раздался тихий стон.

— Что с вами? — сказал вполголоса Бржмитржицкий с участием, садясь подле нее.

Мери откинула руку; ее рука упала на руку Бржмитржицкого; он взял ее, повторяя тихо вопрос:

— Что с вами?

Голова Мери приподнялась и снова покатилась назад. Бржмитржицкий поддержал ее.

Как сонная, припала она к нему на плечо, лицо ее пылало; Бржмитржицкий чувствовал, как переливалась в ней кровь и стукало сердце. Он поцеловал ее руку... прикоснулся к ее челу...

В это мгновение вбежала в двери Лида, вбежала — и остановилась в дверях, пораженная живой картиной. Мнимый Цефал и умирающая на его руках Прокриса не замечали ее.

Смущенная Лида не знала, что ей делать; опустив глаза в землю, она боялась приподнять их: непостижимое чувство проникло во все изгибы ее сердца. Вдруг раздалось перед ней звонкое «ах!». С испугом бросилась она от двери, выбежала в залу, в переднюю, спросила карету; но карета уехала домой. Лида воротилась в залу, стукнула дверьми, как будто ненарочно.

Из гостиной вышел Бржмитржицкий, смущенный.

— Кажется, мы приехали рано... В гостиной никого еще нет...— сказал он, покачнувшись вперед очень вежливо.

— Никого? — проговорила Лида, не поднимая глаз и подходя к окну,— как жаль, что я отпустила карету...

— Вот, кто-то еще приехал...— сказал Бржмитржицкий.

Экипаж прогремел у подъезда,— приехала хозяйка.

— А где ж Мери? — спросила она, входя.

— Я сама только сию минуту приехала,— отвечала Лида,— я не видела еще ее.

Тетка бросилась в комнату Мери и возвратилась с печальною вестию, что Мери заболела.

Вскоре собрались все участвующие в живых картинах; приехал вторично и Лиманский; но по болезни Мери картины расстроились. Несколько скучных слов, плоских приветствий, и у каждого родилась необходимость ехать домой.

— Кто потерял? — сказал вдруг Бржмитржицкий, поднимая с полу золотую стрелку.

— Это стрелка Мери. Каким образом она зашла сюда?

Про это знал только Лиманский; но он промолчал на вопрос хозяйки дома.

X

Лида торопилась домой; сердце ее то сжималось, то, расширяясь по всей груди, вздымало ее; все предметы в глазах Лиды приняли другой образ: все то двоилось перед ней, то сливалось,— звучный поцелуй раздавался над ухом, и эхо повторяло его тысячу раз, как будто унося в отдаление или исчезая в глубине мыслей воспламененной Лиды

Лиде не более пятнадцати лет, но она была уже престранным существом. Не имея еще понятия о любви, она дала уже клятву никого не любить. «Чтоб я любила кого-нибудь из этих мужчин! никогда!» — обыкновенно говорила она подругам своим; однако же подруги смеялись над ее клятвами.

Ненависть к мужчинам поселилась в ней из дружбы: один искренний и вечный друг ее вдруг стала грустна, задумчива, слезлива, стала худеть, худеть и в короткое время ужасно переменилась.

— Ты должна мне открыть причину своей печали,— сказала решительно ей Лида,— ты совсем истаяла, совсем изныла! Скажи мне, что это значит? Не скрывай от меня своего сердца!

При этих словах у чувствительной Лиды скатились по румянцу две крупные слезы; она крепко сжала своего друга в объятиях.

— Не могу, не хочу говорить, добрая моя Лида,— отвечала ей страждущая втайне.

Лида стала на колени и снова умоляла открыть ей причину грусти.

— Друг мой Лида, зачем тебе знать? ты не должна знать причину моего несчастия.

— Несчастия!— вскричала Лида.— Ах, боже мой! и ты не хочешь сказать? не хочешь мне сказать!

— Не могу!

— Умоляю тебя! я твой друг, я должна знать, я хочу делить с тобой и радость, и горе!

И Лида поцеловала у друга своего руку.

Друг ее не могла скрывать долее своего сердца: она призналась, что любит, была любима и наконец забыта, оставлена.

Лида всплеснула руками.

— Кто ж он, этот варвар? — вскричала она.

— Пусть это останется тайной.

— И он тебя любил?

— Любил.

— И что же?

— Обещал жениться, поехал просить позволения у отца и матери и — женился на другой.

— На другой!.. он клялся тебе в любви, говоришь ты?

— Тысячу раз.

— И изменил?

— Изменил!

— Что ж он говорил тебе?

— Разумеется что: говорил, что только я могу составить его счастие...

— А ты что ж ему отвечала?

— Я верила ему.

— И он клялся тебе?

— Да.

— И верно на коленях?.. Бедная!.. Ах, какой мерзкой!.. и ты влюбилась в такого гадкого!.. Я бы этого не сделала на твоем месте!.. Я бы прежде вышла замуж, а потом стала бы любить...

— Если б я знала, что мужчины такие *изменщики*, разумеется, я не поверила бы и ему...

— Ах, боже мой, какие низкие люди!.. я не знаю, зачем их пускают в общество... соблазнять бедных девушек.

— Теперь уж кончено! — сказала сквозь слезы друг Лиды;— клянусь, что никого уже не буду любить!

— И я,— вскричала Лида,— клянусь богом, что не буду любить мужчин, ни статских, ни военных — никаких!..

— Лида, ты еще не испытала любви... не клянись не испытавши...

— Вот прекрасно! охота испытывать несчастие!

Друг Лиды хотела уговорить ее взять клятву свою на-

зад; но Лиду ничем уже нельзя было уговорить: она повторила тысячу раз свою клятву.

С этой поры Лида смотрела на всех мужчин как на обманщиков, как на изменников, как на неверных, с презрением, и в кругу подруг проповедовала презрение к мужчинам; все смеялись над ее убеждениями; а между тем Лида ни от одной не слыхала доброго слова о мужском роде; слыхала похвалы частные, исключения из общего правила; слыхала похвалы до исступления; но все исступленные похвалы вскоре обращались в жалобы и даже в проклятия.

Основывая свои заключения на словах подобных себе прекрасных существ, которые вечно жалуются на мужчин и между тем никак не отстанут от пустой привычки любить мужчин, Лида уверялась час от часу, что все мужчины, без исключения, злодеи.

Прошел целый год цветущей жизни Лиды, во время которого все, что только носило и брило усы, как будто назло преследовало Лиду. Военные рисовались перед ней Марсами, статские Меркуриями или Адонисами, все прочие Аполлонами; Игры и Смехи шумели вокруг нее; хитрый Амур, скинув повязку, целил-целил, стрелял-стрелял, мимо да мимо, промах за промахом: сердце Лиды, как кремень, сыпало искры, но само не зажигалось.

Никто, однако же, не смеялся так над клятвой Лиды, как Мери.

— Как я крепко обниму тебя, душенька Людмила,— когда ты изменишь собственной клятве! — говорила она ей.— Лида, Лида, можно ли отказываться от любви? Знаешь ли ты, что такое любовь?.. Это такое блаженство, такое блаженство! я не в силах тебе высказать.

— Я вижу, что ты в исступлении любви,— отвечала ей Лида.

— О, я люблю, и как люблю!

— Желала бы знать, кто этот счастливец, которого со временем ты будешь проклинать.

— Проклинать? моего Юрия?

— Юрия Лиманского?.. Он уж твой?

— Не совсем, но я уверена... только ни слова!.. я тебе проговорилась...

— Можешь быть уверена.

— Как я люблю его!.. Это первая и последняя моя любовь.

— И он любит тебя?

— Он так скромен, молчалив; но я поняла его чувства, он один из тех людей, которым надо идти навстречу.

— Очень жаль мне тебя!

— Отчего это?

— Оттого, что тем легче будет ему изменить тебе.

— Никогда!

— Увидишь!

Этот разговор случился за день до того вечера, когда Лида приехала на репетицию живых картин, вбежала в гостиную и видела, как нежная головка Мери лежала на плече Бржмитржицкого и как страстно Бржмитржицкий целовал руку и чело Мери.

— Изменница! — повторяла Лида, возвратясь домой.— Вчера еще уверяла меня, что любит князя Лиманского, что это первая и последняя любовь ее, а сегодня... в объятиях другого! в объятиях этого отвратительного коршуна!.. Бедный Лиманский!.. и он любит ее!.. Что, если узнает он, кто разделяет с ним сердце этой — этой гадкой Мери!

И Лида во всю ночь не могла сомкнуть глаз. Отчаянный, страждущий Юрий носился перед нею, жаловался ей на ее подругу, плакал... Лида утешала его, грустила вместе, разделяла скорбь его, плакала вместе с ним, проклинала неверную Мери, клялась, что не хочет ни видеть, ни знать ее.

В этом бреду сновидений в первый раз почувствовала Лида неизъяснимую сладость быть утешительницей мужчины. Ей представляется, что Юрий клянет уже всех женщин, называет их неверными, коварными,— она умоляет его, чтоб он не произносил этой клятвы на всех: ей страшно быть в числе проклинаемых.

Лида не могла смотреть на Мери равнодушно; но зато неравнодушное желание видеть Юрия запало ей в душу. Она стала искать его везде, где только могла искать: у родных, у знакомых, на бульваре, в театре, в собрании, в концертах.

Как нарочно, после события с Мери она долго не встречала Лиманского. «Может быть, он уже узнал измену!» — думала она и при этой мысли чувствовала в душе точно такое же страдание, какое чувствует тот, кому изменила любовь.

Наконец, она встретила князя. Все жилки вздрогнули в ней, вся кровь вскипела.

По обыкновению, он был сумрачен, молчалив, невесел в обществе; по обыкновению, ничего и никого не искал,

потому что все само искало его, гонялось за ним, как за неуловимым призраком. Прямо смотрел он в глаза всем царицам балов, как идол был равнодушен к красоте и любезности своих поклонниц и не понимал, какие мольбы произносят они мысленно, вздыхая и упоительно впиваясь в него взорами.

И никто не знал, не постигал, что причиною этого равнодушия было существо, которое он проклял в отчаянии, Зоя — девушка, которая живет в уездном городке, которую нечистая сила опутывала своими замыслами.

— Он уже знает свое несчастие! — думала Лида.— Это видно по его глубокой задумчивости. Как понятна мне его тоска! Бедный! как пристала к нему печаль!

Лида всматривалась в Юрия, но таила взоры свои и от него, и от всех; душа ее жаждала быть утешительницею Юрия; он казался Лиде так жалок, что она готова была бы пригреть на груди своей осиротевшее его сердце.

— Лида, ты что-то задумчива? Не изменила ли ты своей клятве? Не влюблена ли ты? — признайся! — говорили Лиде.

Ей наскучили эти замечания и шутки.

— Ошибаетесь,— отвечала она горделиво,— я уже решилась никогда не любить; и теперь только думаю, стоят ли женщины дружбы.

Лида по понятиям своим точно не любила: доброе ее сердце принимало только участие в человеке, которому изменили; она только сожалела об нем до глубины сердца. А сердце, говорят, хитрее ума. Большой ли дорогой, или тропинкой, или совсем без пути, без дороги, но оно *проведет* бедного человека, возьмет свое с этого должника и за просрочку заставит приплатиться вдвое.

Встречая князя Лиманского в обществе, Лида продолжала таинственно наблюдать за ним,— она видела его равнодушие к женщинам, его задумчивость, иногда даже суровую грусть; Лиде казалось, что он час от часу истаивает от страданий сердца. Она более и более убеждалась в его страсти к неверной Мери; сожаление и досада возрастали в ней и обращались в мученье.

Мери неизвестно почему не показывалась в общество; говорили, что она больна; но Лида не навещала больную. Наконец, сказали, что Мери уехала в деревню.

Вскоре исчез из Москвы и князь Лиманский.

Вся прелесть балов и гостиных для Лиды исчезла вместе с ним.

— Он уехал вслед за ней! — думала она.— Он еще ищет

её, он еще любит ее! мечтает, что она дорожит умом, достоинствами и красотой мужчины; а ее прельщает какой-нибудь драгоценный фермуар отвратительного Бржмитржицкого!

Все лето прошло в томительном изнеможении от мысли, что Мери овладеет Лиманским. Все летние московские гулянья посреди туч пыли и праха, как во время самума в степи африканской, прошли, не посещаемые Лидой. Сердце ее сжалось от тоски, и казалось, что в нем захлопнулось что-то живое, крылатое, как птица, и тщетно билось, чтоб вырваться на волю. Часто Лида, приложив руку к сердцу, думала: что с ним сделалось? — оно все изболело.

Но лето скоро проходит, и для не мыслящих ни о чем, кроме удовольствий, и для задумчивых. Настала осень, самое грустное из времен года, в которое природа обнажается, а люди кутаются, серое небо порошит снегом, туман изморозью, а сердце, тоскуя, живет между воспоминаниями дней летних и ожиданием *вечеров* зимних! Снова балы, собрания, а вместе с ними возникло в Лиде утихавшее чувство заботы о счастье Лиманского. Когда она увидела его в первый раз после нескольких месяцев отсутствия, первое, что поразило ее внезапным ужасом, была мысль: «Может быть, *он* уже принадлежит *ей*!» Ненавистная *она* тут же; эта *она* — все танцует с Юрием, осыпает его взглядами и словами; он так внимателен к *ней*. Лида видит то, чего другие не видят. «Она овладела им совершенно!» — вертится у ней в голове — и слезы готовы хлынуть из глаз Лиды; только чувство ненависти к Мери воздерживает их. А Мери не отстает от нее с своей дружбой и страшной для Лиды доверенностью.

— Мне кажется, мы век с тобой не виделись,— говорит она ей,— ты что-то похудела, Лида?.. Как приятно провела я время в деревне!..

— Да, в деревне очень приятно,— отвечала сухо Лида.

— Э, бог с ней, деревенская приятность без общества и без тех людей, с которыми нам приятно быть!

— Да, разнообразие очень приятно для *многих:* сегодня один, завтра другой.

— О, нет, я не люблю этого разнообразия в лицах: один человек, которого отличаешь от прочих, и чувства взаимные...

— Кто ж этот человек?.. Да, помню... ты мне сказывала... ты надеялась...

— Мои надежды понемногу сбываются... Ах, Лида! как счастливо провела я два дни в жизни!.. Мой Юрий исполнил слово и приезжал к нам в деревню!

— Ты называешь его *своим?*

— О, он мой, непременно мой! Я иначе и называть его не хочу, несмотря на то, что дядюшка пугает меня женихом, которого будто бы предназначили мне покойные родители и который скоро должен приехать из армии... Разумеется, что он отъедет от меня с тем же, с чем и приедет! Я в состоянии только один раз любить: а я уже люблю... Ах, Лида! какие два дни провела я в деревне! В обществе Юрий кажется таким неприступным; но у нас он был весел, любезен до бесконечности.

— Может быть, он уже объяснился тебе в любви?..

— Не совсем,— он очень осторожен, досадно осторожен! Он, кажется, любит прежде истомить, а потом уже дать пощаду... Однако ж его любимый разговор был о любви; а все признания иначе и не начинаются... Не нравятся мне в нем частые выходки на изменчивость и непостоянство женщин; в нем есть какая-то недоверчивость к любви, он должен быть ревнив...

— Да, ревность *многим* не нравится; но не знаю почему... Мне кажется, что ревность нисколько не мешает истинной любви.

— Ах, нет, ревнивый муж ужасное мученье!

— Может быть, собственный опыт внушил в него недоверчивость... Но странно: после такого опыта продолжать любить!.. Это можно назвать несчастной страстью!

Лида произнесла эти слова дрожащим голосом; она вся вспыхнула и хотела прервать разговор, но Мери взяла ее под руку.

— Э, нет, ma chere,— сказала она,— он не таков, чтоб предался страстно, это только *манера* внушать страсть в глупеньких; эти люди и не любят жениться на страстно влюбленных... на них нужны сети... Я не следую твоему правилу ненавидеть мужчин; но не предамся слепому чувству и скорее сама обману, чем позволю себя обмануть.

Лида не отвечала на слова Мери; негодование выразилось во всех ее чертах.

— Позволь,— сказала она, отняв руку,— я выйду из залы, чтоб меня не ангажировали,— я не хочу танцовать.

Лида отошла от Мери, удалилась в уборную, чтоб перевести дух от тягости мыслей, которые давили ее собою.

Когда она вошла опять, Мери танцовала уже с Лиманским. Живость и говорливость Мери оживляла его.

— О, боже мой! и никто не избавит его от этой змеи! — подумала Лида, уходя снова из залы.

Эта мысль преследовала ее, и Лида придумывала средство открыть глаза несчастному, по ее мнению, Лиманскому. Самым лучшим средством казалось ей сказать ему просто: вас обманывает Мери, берегитесь!

XI

Темная ночь налегла уже на Москву. В Охотном ряду замолкли мясники, птичники, огородники, барышники и торговки; лавки заперты, раскидные лавочки с деревянной посудой и скамейки с лотками прибраны; прибраны и клети с птицей дворовой, прибраны и клетки с птицей певчей: замолкли крылатые невольники, не перекрикивают друг друга, перепрыгивая с перекладинки на обручик, с обручика на ящичек с кормом, на баночку с содой. У всех головки прикурнули под крылышком; все они спят на одной ножке, спят и, может быть, видят сны, как люди. Во сне бог дает им волю и раздолье.

Но разнообразный шум дневной заменился стуком экипажей и со всех сторон криком: пади!

Ряд карет подъезжает и отъезжает от подъезда освещенного дома. Наружность его не обещает многого; что-то вроде двухэтажного дома в пять окон с подъемными окончиками, которые подставлялись в старину палочками; но это только портик того храма московских удовольствий, который чудным образом таится от взоров за зданиями, как будто стыдясь своей наружности.

Из одного экипажа, подъехавшего к собранию, вышло сперва довольно тяжелое существо в обыкновенном домино; а за ним легкая Сивилла. Сквозь толпы ливрейных лакеев, зевающих и дремлющих на ногах или спящих на узлах, две маски поднялись на лестницу и вошли в залу, в которой и Юпитер Олимпийский не постыдился бы принимать своих поклонников.

Маскарад был в полном блеске; из числа двух тысяч посетителей было, по крайней мере, триста масок; то там, то сям пищали мистификатрисы; блондовые бородки их мотались, как у жидов *в школе*, когда они, не переводя духу, торопятся произнести имена Амана и десяти его сынов.

Сивилла прошла несколько раз между толпами; прикоснулась волшебным жезликом к некоторым маскам, подала им билетики, разгадывающие будущность; прикоснулась жезликом и к князю Лиманскому, который ходил по зале задумчиво.

Почувствовав прикосновение, он оборотился к Сивилле и получил от нее также билетик; он не успел еще развернуть его, как она уже скрылась.

— Что тебе вышло, князь? — сказал Бржмитржицкий, подскочив к Лиманскому.

— Целое, братец, преглупое письмо; завязка маскарадного романа, плоская шутка, чтоб посмеяться после над малодушием; но ни к тому, ни к другому я не расположен.

— Можно взглянуть?

— Пожалуй.

«Кассандра принимает в вас искреннее участие: у нее на душе тайна, касающаяся до вашего сердца. В следующий маскарад, в виде пилигримки, в розовом, она будет здесь; будьте пилигримом; она танцует с вами, скажет вам то, что вам необходимо знать».

— Очень невыгодное имя выбрала для себя таинственная особа, принимающая во мне искреннее участие: предсказаниям Кассандры никто не верил.

— Ты не воспользуешься этим? — спросил Бржмитржицкий Юрия.

— Нисколько, маскарадное счастье я готов уступить кому угодно.

— Ах, князь, уступи мне; я ужасный охотник до всяких глупостей: это очень весело! Это чудная будет мистификация!

— Нет, мой милый, я не хочу, чтоб ты под предлагаемой мне фирмой напроказил.

— О, не бойся, я только выслушаю сердечную тайну и потом разочарую как-нибудь, поселю сомнение,— только ты не приезжай или приезжай позже... Вот и будет все в должном порядке, а ошибка в фальшь не ставится.

— Мне кажется, игра не стоит свеч; это просто сделано для того, чтоб после спросить меня: что, говорили с пилигримкой?

— Тем лучше, ты можешь сказать, что, не развертывая билета, ты бросил его; а может быть, тут таится какая-нибудь пламенная любовь, со всеми онёрами!

— Только, пожалоста, на мой счет не делай глупостей.

— Шутка, братец, не глупость.

Мимо Лиманского прошли знакомые дамы и заговорили с ним. Бржмитржицкий бросился отыскивать Сивиллу, чтоб допытаться, кто она такая; но и след ее уже простыл.

XII

В следующий вторник в собрании почти та же история и с таким же предисловием; можно было только прибавить мороз в 30 градусов, который, однако ж, был не страшен: члены, платящие 25 и 10 рублей в год, приняли меры против холода — они нарядились в зимние одежды: в прозрачный и блестящий шелк; заботливо окутали шею шарфами из газ-марабу или газ-риса; атлас и газ-иллюзьон густо опушен блондами; бриллианты, имеющие свойство согревать кровь, горят на *членшах* и *посетительницах,* осыпают их искрами... Им тепло. Но члены, которые платят 50 рублей в год, как будто пренебрегая летом жар, а зимой холод, носят неизменно сукно, подбитое шелком, покроя фракийского, с искусственным хвостом сзади, с жалостью смотреть спереди. В честь лета, однако же, жилет пикэ, зимой — шелковый и право держать в руках шляпу на вате. Впрочем, это только мечта: просвещение живет постоянно в 17 градусах тепла; и если б не сени у подъезда,— куда ветер и мороз, пробравшись погреться, обдают холодом насладившихся десятью-двадцатью приглашениями на французскую кадриль, за неимением лучшей,— наш климат можно было бы почесть эдемским, потому что pour varier* необходима и зима.

Многие говорят, что наша одежда несоответственна климату, что балы скучны, а маскарады глупы; но это говорят только мужчины с охладевшими и испорченными от употребления сердцами; от женщин подобного дизлогизма никогда не услышишь; они только часто жалуются на климат, и эта жалоба очень справедлива, особенно во время страданий от простуды. И в самом деле, что может быть хуже климата, где после нескольких кадрилей и галлопады на своих на двоих нельзя выпить даже стакана холодной воды для прохлаждения; где, раскалившись в пылу мазурки, нельзя ждать в сенях кареты с открытой головой и распахнутым манто? Что это за варварский северный климат, где даже любовь надо кутать притворством и разогревать лестью; где надо делать на заказ по крайней мере стихии, необходимые для жизни: теплый воздух и теплые воды; где может водиться только оранжерейная поэзия, и где язык так холоден и тяжел, что всякое нежное существо не в силах употреблять его и должно довольствоваться только

---

* для разнообразия (*фр.*).

истертыми от употребления фразами языка иноземного?..

Но как бы то ни было, а вторник настал, пора ехать в собрание.

В собрании почти никого еще нет; только пилигрим в коричневом хитоне забрался спозаранку в озаренную залу, ходит, поглядывает на двери, выжидает Кассандру. А Кассандра еще с утра в ужасном раздумье: она почти раскаялась уже в неосторожности своей, не решается ехать в собрание; но Мери, как будто назло, явилась к ней.

— Я приехала пригласить тебя сегодня ввечеру к себе,— говорит она ей значительно,— истинный друг никогда не бывает лишним.

— Я еду в собрание,— отвечала Лида,— извини меня. У вас, верно, будут Лиманский, Бржмитржицкий...

— Бржмитржицкий? избави боже! я никогда не выхожу, когда он приезжает; он мне надоел: я видеть его не могу с тех пор, как он стал явно показывать свою претензию на меня!

— А я думала, что он успел заслужить сколько-нибудь внимания за свои угождения.

— Помилуй! можно ли больше ненавидеть человека, как я его ненавижу? Он опротивел мне ужасно еще во время затеянных *живых картин;* я не рада была, что пригласила его участвовать.

— Отвратительное притворство! — подумала Лида.

— Ты не можешь себе представить, Лида, как несносно волокитство мужчин, когда уже любишь одного; особенно нестерпимо волокитство настойчивое, которое напитано надеждами на взаимность: это так досадно, что я тебе выразить не могу! Что делать с подобным глупцом, как, например, этот Бржмитржицкий: он даже мое невнимание к его словам и грубые ответы считает признаками любви и всеми средствами старается высказать свою любовь, воображая, что я не понимаю его или испытываю... каково тебе кажется это?

— Низко, гадко! ничего не может быть хуже двуличности! — произнесла Лида с негодованием вместо ответа.

— Потому-то я и ненавижу этого человека,— продолжала Мери, не подозревая настоящего смысла восклицаний Лиды,— и что еще хуже: он может вредить мне во мнении Лиманского.

— Это невыносимо! — вскрикнула опять Лида.

— Ей-богу, невыносимо! — повторила Мери, прощаясь с Лидой.

Когда удалилась она, на лице Лиды выразилось все чувство ненависти к Мери. Она решилась ехать в собрание — так, рассеять себя; ибо она была уже уверена, что Лиманский, приглашенный к Зарским, не будет там.

Приклонившись на ручку кресел, она погрузилась в задумчивость; но часто взоры вспыхивали каким-то беспокойством, грудь волновалась; Лида вскакивала с места и искала в комнате и в окне какого-нибудь предмета, который бы рассеял ее черные мысли.

— Ты нездорова, Лида? — сказала ей мать, когда она уже собиралась в маскарад,— ты не похожа сама на себя; лучше остаться дома.

— Я рассеюсь, и головная боль пройдет,— отвечала Лида.

И они поехали в собрание, где пилигрим смиренно сидел уже за колонной на лавке, близ самых дверей, и всматривался во всех приезжающих. Едва заметил он розовую пилигримку — проводил ее глазами в омут залы и быстро прокрался к выходу.

Подле самых дверей, в передней, слуга подал ему шубу; и они спустились с лестницы, вышли в длинные переходы со сводами, ведущие к заднему крыльцу или подъезду.

— Узнал?

— Как же-с: и человек-то знакомый, из наемных.

— Кто такие?

— Да просто Нильская с дочерью.

— Будто?

— Ей-богу: так-с!

— Хм! а я думал... ну, да все равно: смотри же ты, не говори своему знакомцу...

— Что ж мне говорить? Уж известное дело, что наш брат должен молчать.

Пилигрим возвратился в залу, обегал толпы, отыскал розовую пилигримку, следит за ней, догоняет, подходит и кланяется ей и ее спутнице как знакомым.

Лида беспокойно осмотрела его с головы до ног; а ее мать отгадывала, кто он.

— Вы меня, верно, не узнаете? — пропищал пилигрим.

— Нет! — отвечала Лида.

— Кассандра должна знать,— сказал он, приклонясь к ней.— Вы не откажетесь танцовать со мною кадриль?

Пилигримка подала ему руку. Рука ее дрожала.

— Я не надеялась, что вы будете здесь!

— Отчего же-с?

— Отчего?.. спросите у своего сердца...

— Если б в самом деле передо мной стояла пророчица Кассандра, то не думаю, чтоб и она знала тайну моего сердца.

— О, знает, очень знает... и жалеет об вас!..

— Правда, я стою сожаления, потому что люблю ангела, который презирает любовь и ненавидит мужчин без исключения; но вы не знаете...

— Она презирает любовь? ненавидит мужчин? и она это вам говорила? Какое притворство!

— Притворство? Нет, многие испытали на себе, что это не притворство, в том числе и я...

— И вы?.. сожалею о вашем заблуждении!

— Не знаю, кто вы, и не понимаю цели вашего участия во мне; но желал бы знать это.

— Участие мое имеет одну цель: предостережение.

— Позвольте же узнать, от кого и от чего вы меня предостерегаете?

— Разумеется, от той особы, которая говорит, что она ненавидит мужчин...

— От Людмилы Нильской?..

Смущение пилигримки при этом вопросе мог чувствовать только ее кавалер, который держал в это время ее руку; он должен был даже напомнить ей, что пора начинать фигуру.

Лида едва могла сойти с места.

— Вы успели выпытать тайну мою; впрочем, я не решусь никогда открыть ее только той, которую люблю... без надежды... Согласитесь же теперь, что ваше предостережение было излишнее: Нильская, может быть, и не подозревает, что есть человек, который будет вечно таить чувства свои от нее...

Пилигримка ничего не отвечала; казалось, что она постепенно лишалась своих чувств. К счастию, кадриль скоро кончилась.

— Предскажите же, Кассандра, участь мою! — сказал пилигрим, раскланявшись с Лидой, но провожая ее до места, где сидела ее мать.

— За откровенность вашу,— с трудом проговорила она,— и я буду откровенна: я шутила... мне хотелось только знать, кого вы любите...

Лида подошла к матери; они прошли несколько раз по зале и вдруг скрылись.

— Ай, девочка! — шептал про себя пилигрим.— Про ко-

го бы это она говорила? Верно, не про себя?.. Просто влюблена в Лиманского и хотела испытать, занят ли он кем-нибудь или нет... Теперь она в полной уверенности, что Лиманский тайно ее обожает... Чудная шутка!.. Пусть ее страдает!

XIII

Можно себе представить положение Лиды: трех слов достаточно, чтоб перепутать все мысли девушки. Ни к одной вольной, пугливой птице не подкрадывался охотник под щитком зелени так близко, как любовь подкралась к сердцу Лиды. Избранная для нее стрела была выточена из ядовитого дерева; кровь закипела, вспыхнула, и Лида, как безумная, безотчетно повторяла только: «Он любит меня! он меня любит!» — и как будто по инстинкту жаждала утолить все чувства противуядием; но оно заключалось на устах Юрия.

Вскоре после рокового для Лиды вторника Бржмитржицкий наслаждался, как демон, успехом своей мистификации. Сердце Лиды для него было уже разгадано, и он видел, как она, таясь от всех, впивалась очами в Лиманского и, в безмолвии то чему-то радуясь, то о чем-то грустя, изменялась в лице, преследовала его в толпе; смущалась, когда он проходил мимо, и обращалась в купу пламени, когда он стоял подле.

— Вот это любовь! это завидная любовь! — думал Бржмитржицкий, злобно улыбаясь.— Хм! мне нет счастья! не только такого глупого, слепого и расточительного, как Лиманскому; но даже рассудительного, умеренного, без излишних претензий!.. Ха! Тысёнц-тысёнцы дьяблов! Эта merry Mary* так насмеялась над моим простодушием, что я готов выместить ее презрение на всех *неземных* существах! Мне нужны только перья этих райских птиц,— одна поплатится за другую!

— Что ты так весело задумался? — спросил Лиманский, подходя к Бржмитржицкому,— верно, выиграл?

— Нет, князь, совсем не весело: думаю отправиться из Москвы. Нет счастья ни в невестах, ни в картах!

Кстати, должно сказать, что Лиманский случайно познакомился с Бржмитржицким в Бердичеве; знал его ремесло, но считал добрым малым; он в самом деле был добр для

* крошка Мери (*англ.*).

всех, с кем ни садился играть в карты: был уступчив, снисходителен, даже честен, потому что карточный долг для него был важное дело: он готов был отдать на уплату его не только все движимое и недвижимое именье, но даже *носильное платье,* которое и по законам не идет в уплату. Поговаривали, что он *нечисто* играет; однако ж никто не поймал его в *шулерстве*; притом же, садясь *метать*, он всегда, шутя или не шутя, сам говорил: «Господа, прошу смотреть в оба, а не то передерну; кто меня поймает, тому отвечаю всем, что есть на столе».

— Ты бы передернул, если нет счастья,— сказал ему Лиманский, смеясь.

— А что ты думаешь, князь,— это славно! Последую твоему совету: попробую, нельзя ли передернуть чью-нибудь *даму* в этой живой колоде.

— Попробуй! Однако ж ты мне не сказал еще ни слова о прошедшем маскараде; ты был?

— Был.

— Ну что?

— Что? разумеется, надула какая-то плутовка... ходил-ходил, искал-искал в толпе розовой пилигримки — нет! Я с досады отужинал, да и уехал домой.

— Я сам полагал, что это шутка.

— Очень натурально.

Бржмитржицкий не отходил почти во весь вечер от Лиманского; разговаривая с ним, он не сводил глаз с Лиды и очень часто заставлял ее потуплять взоры, невольно обращавшиеся на Лиманского.

— Как тебе нравится, князь, эта девушка?

— Очень мила.

— А еще милее тем, что она ненавидит мужчин и дала клятву никого не любить.

— Тем скорей изменит ей.

— Я сам думаю, что это все равно, что дать клятву никогда не умирать; и потому-то я даю клятву, братец, *подсидеть* ее сердце; как ты думаешь, ведь это возможнее?

Лиманский засмеялся.

— Право, так! и для покорения сердца есть фортели. Черт знает! я чувствую, что уеду из Москвы сам-друг!

— Честь имею заблаговременно поздравить! — сказал Лиманский, отходя от Бржмитржицкого.

— Во вторник, князь, будешь в собрании? — спросил еще Бржмитржицкий.

— Нет, я еду в отпуск.

— Тем лучше,— сказал про себя шулер.

Бал кончился около четырех часов за полночь; но многим из бальных существ, не знающих усталости и потребности в отдыхе, хотелось бы, чтоб бал был вечен, а французская кадриль, в которой участвует и сердце, состояла бы из бесконечного числа фигур. К числу грустивших в этот раз, что бал скоро кончился, принадлежала в первый раз в жизни и Лида, несмотря на то, что для нее не существовало блаженства в танцах. В продолжение всего вечера она беспокойно выжидала: вот-вот взглянет на нее Юрий и, встретив ее взор, может быть, заметит в нем взаимность... но не дождалась она этого желанного взора, оставила бал с грустною мыслию, что Лиманский затаил в сердце своем безнадежную к ней любовь навеки.

Лиманскому, однако же, пришло в голову испытать, кто из его знакомых дам был Сивиллой. «Это, верно, шалунья Зарская»,— думал он и во время прощального визита завел с ней разговор о маскараде.

— Вы завтра в маскараде? — спросил он ее.

— Думаю.

— Не в костюме ли Кассандры?

— Кассандры?.. нет, я наряжусь так, что меня никто не узнает!.. А вы будете?

— Пилигримом... на пути к Киеву,— хотел сказать Лиманский, но слова его были прерваны приездом усатого штаб-офицера.

— О боже! — произнесла тихо Мери.

«Нет, не она!» — подумал князь Лиманский, прощаясь со всеми до будущей весны.

— Вы едете, князь! — вскрикнула Мери с выражением, от которого вздрогнули эполеты на штаб-офицере.

— В отпуск,— отвечал Лиманский.

«Я еще его увижу в собрании»,— думала Мери, провожая печальным взором удаляющегося князя.

XIV

Влюбленная женщина, посреди женской участи,— узница: затворившись в самой себе с больным сердцем, ей ни на шаг нельзя отойти от него; оно в жару мается, мечется; ему чудятся страшные грезы: то чудовище душит его, то зевает под ним пропасть; а няня его плачет над ним неутешно. «Дайте ему,— говорит, умоляет она,— дайте то,

что ему хочется!» А ей отвечают: «Нет, мой друг, это вредно для него, это прибавляет жару».

Есть на все у природы целебное средство, которое *снимет рукой* болезнь,— да умные люди его не дают.

Лида в каком-то онемении. Сядет ли она за работу, задумается, работа выпадет из рук, и она, повеся голову, не выходит из забывчивости до тех пор, пока кто-нибудь не обратит внимания на ее положение и не назовет ее по имени; сядет ли она за стол,— ей напоминают, что она ничего не ест, ничего *не кушает;* приедут ли гости, подруги,— ей бы быть приветливой, а она жалуется на головную боль — не на сердце же жаловаться.

Но если б кто слышал, как Лида обвиняла сама себя, и малодушие, и неопытность свою! Часто посреди ночи, припав лицом к подушке и задушив голос, как будто для того, чтоб никто не слыхал ее, она, обливаясь слезами, роптала:

— Что я буду делать? я погубила и себя, и его!.. Он любит меня безнадежно, потому только, что слышал о моем безумии!.. Клятва — не любить мужчин!.. О боже!.. безрассудность! Я должна была дать клятву ненавидеть женщин... ненавидеть! не по чужому опыту, но по собственному!.. Я ненавижу их, ненавижу и сама себя!.. Но была ли бы я преступницею, если б дала обет ненавидеть добро, не понимая его, и полюбила бы добро, узнав его?.. Я дала клятву ненавидеть зло, ненавидеть обман любви... а он в женщинах... я сама испытала... я их ненавижу... следовательно, я исполняю клятву... любящих меня я должна любить... он любит меня, мы созданы друг для друга!..

Природная логика оправдывала Лиду и снимала с нее клятву ненависти к мужчинам; только одно самолюбие: «Что скажут люди? они будут смеяться надо мной!» — было против всех убеждений логических; без него Лида готова была бы торжественно отречься от слов своих, лично сказать Лиманскому: «Не грустите, не печальтесь, я люблю вас, я ваша!»

Благоразумие или, если угодно, самолюбие взяло верх над сердцем Лиды: она решилась *не видеть* Лиманского; но едва настал вторник — новая возможность *видеть*... Лида задумалась: ехать или не ехать в собрание? — и не в силах была сама разрешить этого вопроса; всех, кого только можно было, она готова была спросить: ехать ей в собрание или нет?

— Как же не ехать в собрание, сударыня,— отвечала

ей горничная, расчесывая поутру ее длинную русую косу
Как вы думаете, маминька, ехать или нет в собрание? — спросила она поутру у матери.

Что ж мешает, поедем,— отвечала мать.

— Нет, не поеду; мне что-то опять нездоровится.

Настал вечер; раздумье Лиды увеличивается более и более.

— Как вы думаете, маминька, ехать нам в собрание или нет?

— Ведь ты чувствуешь себя нездоровой; что ж за охота ехать, мой друг?

— Я не буду одеваться, я надену опять розовую пилигримку.

— Пилигримку твою я отдала.

— Отдали! — вскричала Лида.

— Присылала Маша Зарская просить у тебя ее, перед обедом, когда ты с сестрой ездила на бульвар, я и отдала, зная, что ты не поедешь.

— О, боже мой! зачем вы отдали! — вскричала опять Лида,— зачем вы отдали! — повторила она, и слезы копились у нее на глазах.

— Что же за беда? это странно! тебе не нужно самой — отчего ж не дать?

— Я сама хотела надеть ее,— сказала Лида, уходя из комнаты и стараясь скрыть внутреннее беспокойство от матери.

Кто бы не подумал, что сердце женщины соткано из безотчетных противоречий! Поступок Лиды можно было почесть за детский, бессмысленный каприз, за причуды, от которых не может быть ни тепло, ни холодно сердцу; а между тем этими-то причудами и разрешались втайне узлы обстоятельств женской жизни.

Боязнь Лиды, что Лиманский примет Мери за нее, и вся тайна сердца ее откроется ненавистной сопернице, то обдавала ее холодом, то пробегала по ней содроганием.

Весь вечер провела Лида в каком-то онемении, пугая себя всеми ужасами последствий, которых причиною может быть розовая пилигримка; но едва настало время маскарада, она как будто очнулась, бросилась к матери и стала уговаривать ее ехать в собрание.

Разве только для того поеду, чтоб посмотреть жениха Зарской — отвечала мать

— Какого жениха?

— Приехал из армии.

— Приехал из армии?

— Да, сказывал человек, который приходил за пилигримкой.

— Поедемте, поедемте скорей! — вскричала Лида,— я маскируюсь и надену шаль.

И Лида торопливо нарядилась, заторопила и мать свою. Они поехали.

Пугающие мысли преследовали Лиду. С боязнью вступила она в залу собрания; взоры ее бегло ищут Лиманского в адъютантском мундире, Лиманского в маске пилигрима и Мери в розовой пилигримке — нет их. Но вот в галерее, за колоннами, появился кто-то в коричневом хитоне — сердце Лиды облилось кровью. Вот сходит со ступеней в залу и розовая пилигримка.

— Ты, Лида, точно как полуумная! — говорит ей мать,— то бегом бежишь, то стоишь, как пень!

Лида ничего не слышит; она только видит соперницу свою и пилигрима, который ходит уже за ней следом.

— Пойдемте к Зарским,— говорит она матери,— нам будет веселее, мне одной скучно, я не отойду от Мери.

Лида подходит к Мери.

— И ты здесь, Лида? Как я рада!

— Я одна, с maman... Будем ходить вместе... Кто этот штаб-офицер с вами?.. Пойдем отсюда...— говорила Лида, увлекая за собой Мери от толпы, в которой стоял пилигрим.

— Что ты сказала, Лида? — спросила Мери рассеянно, заметив пилигрима, который смотрел на нее.

— Я спросила: кто этот штаб-офицер, который здесь с вами?

— Ах, не говори, пожалоста! дядюшка называет его моим женихом; несмотря на это, он никогда не будет моим мужем! Ах, Лида, если б ты знала мое несчастье!

— Какое несчастье? — спросила торопливо Лида.

— Юрий едет в отпуск и не прежде воротится, как в мае; а между тем бог знает что будет!

Мери и Лида, разговаривая, отдалились от своих; но их преследовали штаб-офицер и пилигрим.

— Ах, боже мой, этот верзила не отстает от меня! — проговорила Мери.— Пойдем скорее! — И она торопливо пошла в ту сторону, где пробирался пилигрим.

— Ах, нет, пойдем сюда! — сказала Лида, удерживая Мери.

В это время заиграла музыка, и пилигрим подскочил к Мери.

— Кассандра, верно, не откажется танцовать со мною кадриль? — сказал он ей.

Мери взглянула на маску и — подала руку пилигрим, а Лида, как окаменевшая, осталась на месте; глаза неподвижно были устремлены на розовую пилигримку и на ее кавалера.

В этом положении отыскала ее мать и, взяв под руку повела к лавке. В том же бесчувственном состоянии она села подле матери, и — никто не видел, как струились из-под маски ее слезы.

Розовая пилигримка и пилигрим, не умолкая, разговаривали; но под масками непонятен был смысл их разговор.

По окончании кадрили Мери подбежала к Лиде, схватила ее под руку.

— Мы сей час придем... на минутку в уборную...— сказала она ее матери и почти насильно влекла за собой Лиду. Они скрылись в одном из отделений уборной, за занавесью.

— Друг мой, Лида,— сказала она ей,— все кончено и решено!... Юрий признался мне в любви и открыл мне, что отец и мать хотят его женить на девушке, которую он не любит; а я сказала, что меня насильно хотят выдать замуж. и мы решились обвенчаться тайно...

Торопливо перевертывая свой капюшон на левую сторону перед зеркалом, Мери не заметила, как Лида припала на стул; в отзывающихся звуках музыки утаилось ее глухое восклицание под маской.

— Прощай, друг мой! — шепнула ей Мери и быстро выбежала из уборной в малую залу; там встретил ее пилигрим, в дверях, перед передней, человек накинул на нее манто — но мужское, и они исчезли.

Мать Лиды с трудом нашла дочь свою в уборной.

— Что с тобой?— вскричала она,— тебе дурно?

Но Лида молчала. Безответную, она увезла ее домой

— Где моя Маша? — спрашивала у штаб-офицера тетка Мери, хватившись ее,— поищите ее, пожалоста, не на хоры ли ушла с Нильской?

Штаб-офицер обегал залу, столовую, исходил галерею и хоры и возвратился с ответом: ее нет нигде!

— А Нильская здесь?

— И их нет.

— Ах, какая шалость! она, верно, с ними уехала.

И убедившись в этой мысли, тетка Мери отправилась домой.

Дома нет, у Нильских нет! пропала Мери!

На другой день приехал было нареченный Мери *покончить* дело; но дядя ему отвечал:

— Извините, я не располагаю уже рукой племянницы: она сама распорядилась своим сердцем.

— Как же это!.. Вы обнадежили... я издержался...

— Что ж делать! проторы и убытки взыскивайте с виноватого.

— По крайней мере, позвольте мне адресоваться к самой Марье Михайловне.

— Извольте! везде, где только встретите ее!

XV

Любовь есть неизбежная эпидемия, как корь и оспа; она разделяется также на benigna и maligna*, и ее также опасно застудить. Лечение этой язвы сердца не определительно. Вначале могущественно действует перемена климата; в сильном же градусе лучшим средством служит магнетическое усыпление больного, и то лекарство, которое он потребует на вопрос: «Скажите, чем можно помочь вам? Подумайте, где скрывается лекарство против ваших страданий?» Исполнить волю больного, значит, мгновенно излечить его.

Лида провела ночь в жару горячки; но наутро, когда она очнулась от беспамятства, болезнь сердца развернулась в ней нервическими припадками, сердце сжалось, кровь отхлынула от него, она заметалась, как обвитая удавом, из груди ее вылетали звуки, как у кликуши: чо-чочо! чо-чочо!

Двоюродная сестра Варинька оттирала похолодевшие ее руки; но вдруг Лида умолкла, оцепенела, глаза и уста открылись, дыхание пресеклось.

— Лида! — вскричала испуганная Варинька, обхватив ее и осыпая поцелуями. Но едва прикоснулась она устами к устам, вдруг стесненное дыхание Лиды разрешилось и пахнуло на Вариньку жгучим пылом... Как будто кипяток пробежал по всем ее членам, сердце девушки забилось с какой-то болью, в глазах свет помутился.

Варинька была девушка с томными глазками, с горячим румянчиком в щеках, с вечной приятной улыбкой на устах, без мысли во взоре, без думы на челе. В подобных

* безвредная и вредная (искаж. *ит.*).

здоровых от природы существах всякая эпидемия обращается в benigna.

Очнувшись от припадка, Лида залилась страдальческими слезами; а Вариньке стало грустно, ужасно грустно. Она приложила руку к сердцу — никогда сердце еще не стучало так сильно в груди ее. Она заторопилась домой; в доме как будто все переменилось — ужасно скучно,— заторопилась в гости, из гостей в театр; потом стало мучить ее нетерпеливое ожидание бала, потом другого и третьего.

На балах стало беспокоить ее присутствие мужчин; она не знала, на котором остановить свои взоры; странная мысль, что надо непременно которого-нибудь из них любить, преследовала ее от первой кадрили до последней. Ей казалось, что все они очень милы, хороши и готовы любить ее. Кого же выбрать? Кого любить? Кто из них ни посмотрит на нее внимательно, и она взглянет на него пламенно и подумает: если ты меня любишь, то и я люблю тебя! Кто ни попросит ее танцовать, сердце ее вспрыгнет от радости, и она заговорит с своим кавалером о бале, об освещении залы, о погоде, заговорит с восторгом, с удивлением, с восклицаниями; только во время шассе она вздыхает, смотря сбоку на своего кавалера и восхищаясь то его глазами, то усами, то хохлом, то талией, то ловкостью и уменнем танцовать; то надеждой, что скажет ей: я вас люблю!

Но она ему верна только до другой кадрили; новую кадриль начинает она мыслью: ах, этот лучше! — сердце ее, как пуховое, носится по ветру, и нет ему приюту.

Но когда сердце ее перебрало всех московских кавалеров и не остановилось ни на одном,— она вдруг охолодела ко всем, задумалась и однажды, целуя одну из подруг своих, Фанни, как будто ей передала глубоким вздохом труд искать *его*. Перелетело волшебное чувство из уст в уста: новая обитель его была с китайскими глазками и с китайской ножкой; сердце Фанни было неповоротливо: оно туда только повертывалось, куда его повернут.

— Фанни,— скажет ей подруга,— ты влюблена в А...?

— Ах, полно, отчего это ты так думаешь?

— Вот прекрасно, отчего! оттого, что он нравится тебе: это заметно.

— Я до сих пор и не замечала его.

— О, какая хитрая!

И этого довольно было, чтоб Фанни обратила особен-

ное внимание на А... и начала думать о нем, вздыхать по нем, смотреть ему в глаза, тосковать в промежутках двух балов. Она даже страстно его уже любит и готова предаться его взаимности.

Но вдруг другая подруга, по обычаю, спросит ее:

— Фанни, отчего ты задумчива? Ты, верно, влюблена?

— Нисколько!

— Признайся; мне кажется, что Б... овладел твоим сердцем?

— Это с чего ты взяла?

— С чего взяла! я заметила его внимание к тебе.

— Вот прекрасно!

— Уверяю тебя!

Этого достаточно было, чтоб Фанни забыла А... и предалась Б.., отыскивая в его взорах взаимности.

Таким образом, Фанни, полагаясь на верный глаз подруг своих, носилась с своим сердцем от буквы к букве.

Нет возможности жить в ней волшебной любви, тоска и скука сердцу — оно так и рвется вон из ее груди.

XVI

Настало 1-е мая; но в этот год нельзя было сказать ни одной прекрасной девушке: «Вы прекрасны, как май»,— потому что это значило бы: «Вы непостоянны, вы ветрены, вы холодны».

Несмотря, однако же, ни на какую погоду, 1-го мая вся Москва должна ехать на гулянье в Сокольники, сквозь огнь и воду. Москва не откладывает до другого дня своих заветных удовольствий — избави боже! *«Хотя бы небеса гром, молнию бросали»* — что за беда? — кареты не промокнут, у колясок есть верх; у *семейных дрожек* есть фартуки; у их милости, отправляющихся четами на извозчиках, есть ситцовые балахоны и платочные чехлы на шляпы; а у простого народа есть широкий подол и здоровье, не боящееся простуды... Следовательно, всем бог дал от непогоды защиту, которою можно воспользоваться во всякий час, не только что в день господский, праздничный, в день 1-го мая.

Издавна Москва славилась людской простотой и толстотой да золотыми маковками; теперь не то стало, как проведали, что *простота хуже воровства,* а толстота не по доходам, а золотые маковки не по чину. Теперь Москву нельзя назвать и старушкой — обидится: помолодела она

или только молодится, под белилами и румянами — не узнаешь; мужички ее перестали бражничать, стали важничать да барничать, вместо горячего сбитню чаи распивают.

Правду сказать, что в старину не красна была Москва углами, а красна пирогами; ни ворота, ни сердце не были на заперти; но по латинской пословице «что время, то нравы» теперь и *покорно просим* утстарело, и *покорно благодарю* не в моде; только *мое почтение* разъезжает в праздники по улицам само или рассылает на извозчике свое имя, отчество и фамилию: его угощают теперь стулом да красным словом. Была велика Москва, теперь стала широка; бывало, в Москве в свои козыри играли, было много на руках и козырей, и масть хороша; а теперь Москва вистовать пошла. В старину было житье, теперь другое. Старички хвалятся житьем, а мы бытьем; но что было, тому вынем часть за упокой, а что есть — за здравие.

Несмотря на пасмурную и спрыскивающую погоду, народ шел саранчой на гулянье с утра; а экипажи загремели после обеда, и все тянулось в Сокольники, встречать 1-е мая.

Фанни также с папинькой, с маминькой и с сестрицами ехала в Сокольники пить чай в сосновой роще. Фанни была пасмурна, как погода: ей купили не по вкусу шляпку, шляпка тяготела над ее головою, как свинцовая. Перед самой заставой перегнал их *аэрьен,* полный прекрасных шляпок Особенно на одной девушке, разряженной в *папирус,* шляпка была открытая батистовая с сиренью — такой формы, с такими лентами — белыми, с узенькой лиловой полоской,— так хороша, что сердце Фанни запрыгало, заговорило: «Ах, что за ангел в этой шляпке! ах, как бы я желала быть на ее месте!»

Стоило только пожелать: для волшебного сердца на сорочьих крылышках нет ничего невозможного: оно перепорхнуло в аэрьен, перелилось в папирус и батистовую шляпку.

Корсет немножко туго натянут, башмаки жмут немножко — да это ничего: талия тоньше, ножка красивее; только одна уже мысль тревожит сердце, торопит на гулянье: скоро ли! скоро ли!

Вот аэрьен уже в ряду экипажей, посреди рощи.

— Вот и я!— говорит чувство девушки в батистовой шляпке. Все сидящие с ней в аэрьене величают ее Любовью Аполлоновной. Верно, она знатна, богата, прекрасна собой, что ни тетушки, ни сестрицы, ни подруги не обмолвятся, не назовут попросту: Любовью, сестрицей и другом. Голова

ее, величаво откинувшись назад, жеманно изгибается на все стороны.

— Даша, поправь мне на плечах манто! — говорит она повелительно сидящей подле нее миленькой девушке.

И Даша послушно накидывает опавшее с плеч манто.

— Maman,— говорит она сидящей вправо почтенной даме,— вы совсем загородили меня своей огромной шляпой!

И maman жмется к краю, перестает выглядывать в ряды экипажей.

— Ах, как скучно! Rosine! подвинься! — говорит она девушке, сидящей напротив.

И Rosine отклоняется в сторону, дает место для направленного лорнета Любови Аполлоновны.

Никто не проедет мимо, чтоб не обратить особенного внимания на аэрьен и на девицу Далай-ламу, и все шепчет соседу свое удивление. У Любови Аполлоновны так и стучит, колотит сердце от самодовольствия; она нехотя отвечает на вопросы окружающих ее. У нее, должно быть, очень много знакомых: со всех сторон поклоны; но она редко отвечает на них; когда ей нужно показать невнимание или позволить налюбоваться на себя, она очень ловко осматривает свой наряд и как будто поверяет глазами: тут ли ее пышные груди, окаймленные блондами и кружевами? Тут ли бриллиантовый фермуар? ловко ли лежат нити бурмицкого жемчугу?— Как должна быть хороша она! Весь ряд экипажей, проезжающих по другую сторону, не сводит с нее глаз. Как хорошо сердцу жить в таком теле: счастье и всеобщая любовь, кажется, преследуют его! Как легко ей дышать, как легко быть умной, добродушной! Как удобно выбирать из теснящейся вокруг толпы и друга, и подруг! быть властительным существом посреди безграничного царства, встречать в пяти частях света, на суше и море, подданность, угодливость, внимание, предупредительность, услужливость и все общественные добродетели!.. Но кто же так могущественен? красота или богатство?.. Хорошо соединить в себе красоту — наследие небесное, с богатством — наследием земным!

— Аглаэ, ты не слыхала ничего еще про Мери?

— Это верно, что она сбежала с этим... гадким Бржми... и вышла за него замуж; говорят, что теперь он ведет с дядей ее процесс насчет именья...

— Аглаэ, кто это проехал верхом?

— Где?

— Я не понимаю, где у тебя глаза! на что ты смотришь!

— Я, право, не заметила.

— Это глупо, моя милая!

— Кажется, это проехал князь Лиманский.

— Кажется!.. Можно бы было поклониться, по крайней мере, проезжая мимо знакомых!

Объехав круг гулянья, аэрьен подъехал к палатке, обставленной цветами, где приготовлено было уже все, что так худо в слове *освежающее* и так хорошо в слове refraichissant*; так грубо в слове *лакомство* и так утонченно, звучно, сладко в слове bonbon**.

Любовь Аполлоновна была что-то сердита; она бросилась в кресла внутри палатки и глубоко вздохнула с восклицанием совершенно ненужным: «Ах, как я устала!»

Все сопутницы ее сели на террасе палатки смотреть на гуляющих, искать пищи для пересудов; только *Аглаэ*, в роде компаньонки, оставалась подле Любови Аполлоновны.

— Ступай, Аглаэ, я хочу *немного быть одна*,— сказала ей Любовь Аполлоновна голосом истомленным.

Аглаэ вышла, задумчивость Любови была прервана пискливым восклицанием:

— Ah! M-r le Prince!***

Любовь вздохнула, прислушалась: чей голос?— и вдруг приняла пленительное положение: выставила наружу ножку, обутую в шелковый башмачок, припала на руку, закрыла глаза. «Волшебница!» — сказал бы каждый, видя ее в очаровательном положении.

— Стул-стул! — раздалось вне палатки, но гость сам влетел в палатку за складным стулом.

Это был Лиманский.

— Ah! — произнесла Любовь Аполлоновна, как будто вдруг очнувшись от задумчивости.— Вы также на гулянье?.. мы вас не встретили... вы, верно, с Свирскими?

— Нет, я один.

— Не правда ли, что *она* похорошела с тех пор, как вышла замуж? бледность к лицу ей?.. Но я никак не отвыкну называть ее просто Лели: она совсем не похожа на замужнюю; она живет здесь, а муж бог знает где; они, верно,

---

* освежающее *(фр.)*.
** конфета *(фр.)*.
*** Ах, господин князь! *(фр.)*.

разойдутся... Как вам нравится ее красота? не правда ли, она, можно сказать, лучше всех?

— Я с вами не согласен; может быть, потому, что красота есть вещь условная.

— Какого же рода женщина вам может нравиться?.. какие условия необходимы для вашего идеала?

— Я вам сказать этого не могу; идеал красоты один для всех: совершенство внутренней и наружной природы, образованное по совершенству понятий современных.

— Но вкусы различны... Я бы желала знать ваш вкус... Мужчины так таинственны, скрытны... их наружность всегда противоречит сердцу...

— Напротив, это, кажется, составляет более свойство женщин.

— Как вы злы!... и между тем ошибаетесь! Женщина слабое существо, она не умеет таить чувств, разумеется, только от того, кого любит...

— От того, кого любишь, нет средств скрыть чувства.

— Ах, нет, мужчины скрытны: они всегда хотят испытать прежде, любят ли их, хотят даже, чтоб явно оказали им предпочтение... а, скажите сами, возможно ли это?

— Кто любит истинно и имеет столько ума, чтоб беспристрастно ценить собственное достоинство, тому не нужно таиться.

— Вы так думаете? — и Любовь Аполлоновна вздохнула, пламенно посмотрела в глаза Лиманскому, который без сочувствия готов был рассуждать о любви и не подозревал в речах ее таинственного смысла.

— Женщины хотят, чтоб мы прежде прошли сквозь ад мучений и потом уже...— начал он; но разговор прервался толпой нахлынувших гостей, молодежи, на которую Любовь не обращала внимания и отвечала на вопросы всех сухо, с досадой.

Между тем Лиманский скрылся.

Солнце также скрылось скоро за рощу, холодный ветерок стал навевать туман, экипажи исчезали в тучах пыли; аэрьен катился домой. Любовь Аполлоновна во время дороги сердилась на всех, кто заводил с ней разговор. Возвратясь домой, она вбежала в свою комнату, бросилась на диван.

— Он меня любит! — произнесла она вполголоса.

Сердце ее радостно забилось при этой мысли.

— «Я *вам* сказать этого *не могу*»,— сказал он, смутясь, и... он меня любит!

Позвонив в колокольчик, она, как утомленная блаженством, встала с дивана, вздохнула нежась, подошла к трюмо.

— Дуняша, не правда ли, что я сегодня особенно интересна?

— Как же, сударыня, чрезвычайно интересны; особенно шляпка с вуалем...

— Дура!.. Зажги канделябры у трюмо.

Канделябры зажжены с обеих сторон.

Счастливица подходит любоваться своею красотою в ясном зеркале.

— Ух, какое чудовище! — раздалось вдруг подле нее.

— Что это такое? — спросила, побледнев, Любовь.

— Не знаю, сударыня, как будто кто-то в окошко крикнул.

— А ты не опустила стор! а?

— Ай! — вскричала, отскочив, горничная.— Ведьма, ведьма!..

— Чтооо? Ведьма?.. Я ведьма?..

— Нет, нет, сударыня, ей-богу, сорока, сорока!..

— Я сорока?..— загремела Любовь Аполлоновна, выходя из себя и обращаясь в истинное чудовище. Огромное лицо ее разгорелось от злости, серые глаза засветились, пена выступила из уст, она вцепилась в горничную.

А между тем, в самом деле, что-то порхало, порхало по комнате и вдруг кинулось в приотворенную форточку, понеслось во мраке.

А в доме долго еще раздавались хлопанье и крик.

Конец второй части

ЧАСТЬ III



I

Между тем как Сердце, выпущенное на волю, металось в большом свете из дома в дом, из угла в угол, из недра в недро и не находило нигде надежного приюта,— в заднепровском городке происходили своего рода важные события. Счастие, казалось, преследовало Стряпчего. Со всех сторон дружба, со всех сторон услуги, предупреждения. Дом его полнится и совесть чиста: все наживается честным образом, без клюки; неподдельное благополучие гостит у него. Сядет ли он сыграть с Городничим в *тинтере,* Анна Тихоновна дает ему поцеловать руку на счастье, шутя, скажет: «Смотри же, душа моя, выиграй мне на платок бур-де-суа!» — а он в самом деле выиграет. Заведет ли спор с Полковником, Полковник побьется с ним «сто против одного», и всегда Полковник проиграет, а полковые мастеровые на проигрыш строят что-нибудь для супруга Анны Тихоновны. Судье необыкновенно как часто необходимы советы его, его стряпанье по разным тяжебным делам. Маиор, уступив ему свою венскую бричку, почел за необходимое уступить и пару вятских лошадей. В день именин и рожденья все явилось с поздравлениями, с подарками. Стряпчий высится, начинает ценить себя, принимает тон, соответственный тому уважению, которое питают к нему все *великие града сего.*

Самолюбие его удовлетворялось сверх меры; однако же он не чувствовал никакого поползновения к славе, величию и высшим предназначениям. Но однажды, читая какую-то статью о внутреннем призвании гениальных людей к значительной деятельности в обществе, к обязанностям высоким,— он задумался, положил книгу и сказал своей жене:

— Знаешь что, Аша? Я хочу искать места в столице.

— Это что за новость?

— Да, что за охота глохнуть в дрянном городишке! я чувствую в себе призвание к чему-то большему, нежели должность стряпчего.

— Скажи пожалоста!

— Да, на службе в столице я могу идти далеко.

— Ты! — произнесла Анна Тихоновна с презрением.

— Что ж ты думаешь обо мне?

— Ровно ничего.

— Это оттого, что ты женщина, да еще и жена; а для жены муж всегда ничего. Я сам, лично, могу служить явным примером: заслужив всеобщее уважение в городе от всех значительных лиц без исключения, стал ли я достойнее уважения в глазах жены? а?

— Да.

— Видишь ли ты!

— Вижу, что ты глуп.

Началась ссора, во время которой у Стряпчего совершенно исчезло внутреннее призванье к почестям; а между тем в городе мирно, нет соперничества за Зою Романовну; семь женихов-искателей как будто охладели к ней; только прогулка по большой улице вошла в моду; но это, может быть, потому, что Городничий усадил ту часть улицы, в которой был дом Романа Матвеевича, липами, сделал по сторонам род бульвара.

Женихи посещали, однако же, и дом Романа Матвеевича, и, что странно, эти посещения как будто распределены были по дням: Полковник посещал в понедельник, Городничий во вторник, Маиор в среду, Судья в четверг, Поручик в пятницу, Прапорщик в день субботний, а Поэт в воскресенье. Каждый являлся в дом с какой-то уверенностию, что ему рады, каждый был любезен по-своему, каждый целовал ручку у Натальи Ильинишны, не противоречил ни в чем Роману Матвеевичу, посматривал нежно на Зою Романовну и тяжко вздыхал; но в каком-то сладостном ожидании был счастлив, был доволен и собой, и судьбой. Подобное довольствие есть источник мира, согласия и порядка. Служебные дела пошли как нельзя лучше: откуда взялась деятельность, правота, честность, снисхождение.

Кто ж завел и устроил этот чудный порядок, основанный на довольствии сердец? Неужели Нелегкий? Но шестерых взяла в свое распоряжение Анна Тихоновна, седьмой

не любил ничьих распоряжений,— следовательно, Нелегкому негде было приложить ни ума, ни разума.

Всему этому источником была Анна Тихоновна, которую стоило назвать *вещей:* она природным умом постигла великую тайну, что обещать блаженство лучше, чем дать его, что постоянная надежда доставляет гораздо более наслаждений, нежели исполненное желание, что у мечты вечен ясный день, а у существенности то ночь, то непогода.

Она-то, Анна Тихоновна, поселила во всех терпеливое ожидание решения своей участи, ожидание, обнадеженное верным успехом.

Когда Городничий явился к ней через несколько дней после первого совещания со страхом и трепетом, с боязнью и опасением неудачи в сватовстве:

— Поздравляю вас! — сказала она ему.

— Нет,— вскричал Городничий,— неужели? она моя?

— Ваша.

— Ах, Анна Тихоновна, сударыня! Я пойду сейчас же отслужу молебен!

— Позвольте-позвольте, не торопитесь! не вдруг, сперва выслушайте...

Но Городничий и знать ничего не хотел более, он перервал слова Анны Тихоновны рассказом прорицательного сна, который он видел в прошедшую ночь.

— Представляете себе,— говорил он,— ей-богу, я не верил снам, а теперь верю; представьте себе, сегодня в ночь я вижу, что будто вы сплели цепь из розанов и этой цепью опутали меня и Зою Романовну.

— Вот видите ли! Однако ж сон ваш не вдруг исполнится.

— Отчего же? Я свадьбой не буду медлить!

— Извольте умерить восторг! эти дела так скоро не делаются. Во-первых, выслушайте: я говорила только еще с Натальей Ильинишной; она приняла предложение ласково и сказала, что очень рада, очень рада иметь такого зятя, человека с такими достоинствами... Вы можете вообразить, как я вас описала.

— Ну, ну, Анна Тихоновна! — вскричал Городничий.

— Наталья Ильинишна будет говорить об этом с мужем и дочерью... на днях.

— Так это еще дело не решенное?

— Когда Наталья Ильинишна сказала: *да,* так уж это все равно, что вас обручили; она сказала сама, что только одно может на время быть препятствием — лета Зои Ро-

мановны: ей только пятнадцать лет, а Роман Матвеевич не желает отдать дочери замуж прежде 20-ти лет.

— Ах, боже мой!

— Но Наталья Ильинишна уверена, что успеет уговорить его.

— Когда ж это решится?

— Нельзя вдруг; вы знаете, что надо выбрать удобное время, веселый час — вашу братью не скоро уломаешь: мужья народ несговорчивый; настаивать — хуже.

— О, боже мой, боже мой! так это еще не верно.

— Я говорю вам, что это дело слаженное.

— Да мне хотелось бы поскорей.

— Терпение.

— Нечего делать!

— Вы посещайте дом, хоть один раз в неделю; там будут вам рады; да посещайте постоянно в один день, чтоб знали, что вы бываете, например, в понедельник: они распорядятся, чтоб в этот день не было посторонних.

— Избави бог! в понедельник? в тяжелый день!

— Ну, во вторник.

— Это дело другое.

Едва Городничий отправился, явился Полковник.

— Поздравляю вас! — сказала Анна Тихоновна, встречая его.

— С чем?

— Вот хорош вопрос!

— Вы шутите!

— Дело почти слажено.

— Неужели?

Анна Тихоновна повторила ту же историю и Полковнику, назначив ему посещать дом Романа Матвеевича в понедельник.

— И бесподобно,— сказал он,— я по праздникам терпеть не могу бывать в гостях: вечно толпа, порядочного слова не скажешь!

После Полковника явился Судья. Его Анна Тихоновна немножко поприжала и напугала словами, что Наталья Ильинишна слышала об его скупости и поэтому... еще подумает.

— Если и водится за вами этот порок,— продолжала она,— то вам легко его победить: вы получите в приданое триста душ да тысяч сто с лишком наличных, кроме бриллиантов и жемчугу, которых гибель у Натальи Ильинишны.

— Неужели?

— Да, когда я заговорила с ней об вас, она тотчас же показала мне шкатулку с вещами; вот, сказала она, мы за приданым не стоим, только дайте нам хорошего жениха

Судья, обнадеженный Анной Тихоновной, задыхался от удовольствия.

После Судьи явился Маиор, после Маиора Прапорщик, потом Поручик на rendez-vous. Всем, по принадлежности было объявлено о первоначальных успехах; каждому дано было право считать себя женихом Зои Романовны.

Через несколько времени все они явились снова для получений сведений о дальнейших успехах. В этот раз Анна Тихоновна поздравила каждого с расположением к нему Зои Романовны; потом порадовала Полковника, Городничего, Маиора, Судью и Поручика вестию, что и Роман Матвеевич согласен на союз своей дочери *с таким прекрасным и достойным человеком;* но что Зое Романовне не исполнилось еще узаконенных лет и потому нужно обождать.

Только Прапорщику объявила Анна Тихоновна замечание Романа Матвеевича насчет прапорщичьего чина, в котором, по положению, можно только исправлять должности, а по этой причине, при всем желании, он не может *утвердить* за ним своей дочери, по крайней мере, до подпоручичьего чина; ибо чин прапорщика не полагается способным даже для адъютантства, не только что для женитьбы.

Прапорщик рассердился было, но когда Анна Тихоновна сказала ему, что Зоя Романовна готова ждать хоть десять лет до производства его по линии в следующий чин,— он поклялся, что употребит все силы, чтоб его произвели за отличие.

Отложив таким образом свадьбу в долгий ящик, Анна Тихоновна в неделю или в две один раз шептала каждому из искателей:

— Зоя Романовна кланяется вам.

Эта минута была верхом блаженства; даже Городничий час от часу молодел от тайных поклонов Зои Романовны.

— О, как бы я поцеловал у ней ручку! — говорил он, целуя руку Анны Тихоновны.

II

Все предвкушали уже будущее свое блаженство, только Поэт задумчиво бродил мимо окон дома, где заключался предмет его стихотворений. Он никак не думал, чтоб счас-

тием людей иногда управляло что-нибудь вроде Анны Тихоновны, чтоб Анне Тихоновне судьба могла поручить исправление своей должности, предоставляя в пользу ее и все поклонения, и все приношения. Поэту в голову не приходило, что на белом свете собственно своей особой и собственным своим языком можно сделать много для других и мало для себя.

Несмотря на это, какой-то добрый дух покровительствовал и нашему Поэту. Хотя здания мечты, основанные на надеждах, внушенных собственною мыслию, и не так прочны, как заложенные на постороннем внушении надежд; хоть это карточные домики, однако же и карточный домик может очень долго простоять, если не дуть на него.

Наш Поэт, Порфирий, был уверен, что женщины могут истинно любить только поэтов. Обнадеженный этой мыслию, он был спокоен, терпеливо ждал времени, которое проложит ему путь к сердцу очаровательной Зои, и не боялся соперничества; ибо знал, что он есть единый и единственный поэт в городе.

Любя во всем светлую сторону, он из семи дней недели выбрал самый светлейший для посещения того храма, где кумир его сидел иногда под окном, пригорюнясь.

Почти всегда приходил он к чаю. Посидит подле круглого стола, выпьет две чашки китайского нектара, разливаемого Зоей, выслушает внимательно какую-нибудь реляцию Романа Матвеевича о военных происшествиях под Модлиным, выслушает и вносный период Натальи Ильинишны о той погоде, которая стояла в *это время* в первый год ее замужества, посмотрит на головку Зои Романовны, потом на ручки и на ножки, повздыхает про себя... Чай уберут, Зоя Романовна уйдет в свою комнату, а Порфирий раскланяется и уйдет домой. Подобное препровождение времени имеет свои приятности и легкие крылья, лишь бы не было безнадежности; а надежда готова кружиться, бегать на одном месте, как белка в колесе.

Прошло уже много воскресных дней, но разговор вокруг чайного столика всегда был не по части Порфирия, ни разу не коснулся до того предмета, в котором Поэт мог бы блеснуть своими сведениями и честью принадлежать, кроме медицинского сословия, к сословию российских поэтов и литтераторов. Сам же он иногда и начинал было заговаривать о прекрасных книгах и литтературе; но ни Роман Матвеевич, ни Наталья Ильинишна, ни Зоя Романовна не считали городового Лекаря способным судить о таких важных пред-

метах; они даже не знали, что он пишет стихи, и думали, что его называют Поэтом только потому, что он рассеян и любит задумчивость.

Таким образом, гениальный талант мог бы легко погибнуть в глуши и посреди всех производств дел, в соображение которых не входит мир невещественный; но счастливый случай вывел нашего Поэта из безвестности.

Однажды, также во время чаю, Роман Матвеевич разрезал вновь полученную книгу — журнал и начал декламировать вслух какие-то стихи.

Поэт слушал, слушал с беспокойством и вдруг вскричал:

— Не так-с! это ошибка!

— Что не так? — спросил Роман Матвеевич.

— Эти стихи не так напечатаны.

— Ну, полноте,— сказал Роман Матвеевич,— не нам с вами поправлять то, что здесь напечатано.

— Ей-богу, не так-с, право, не так, а вот как...

И — Поэт начал читать стихи наизусть.

Роман Матвеевич, Наталья Ильинишна и Зоя Романовна удивились.

— Да почему же вы знаете? — спросил Роман Матвеевич.

— Это мои стихи, я послал их для напечатания... тут, вероятно, в конце мое имя выставлено.

— Тут ничего не выставлено.

— Позвольте... Ай, ай, ай! стихи совсем переделаны! Вместо:

И на ланитах огнь пылает,—

напечатано:

И на щеках огонь пылает.

— Что ж такое? не все ли равно? — сказал Роман Матвеевич.

— Помилуйте, все равно! После этого вместо стиха:

Уста ее запечатлел горячим поцелуем,—

надо сказать:

И рот ее запечатал горячим поцелуем.

Поэт пришел в отчаяние, огонь бросился ему в лицо; приложив руку ко лбу, он грозил подать жалобу.

— Полноте сердиться за такую малость; ну что стихи? важная вещь! не все ли равно, вы сочинили или другой... Пустяк, сударь, от этого вас ни прибудет, ни убудет!

— Помилуйте! — вскричал гордо Порфирий,— неужели я дюжинный поставщик русского рукоделия, на котором выставляется иноземный штемпель!

Роман Матвеевич забавлялся над Поэтом; но Зоя Романовна сжалилась над ним.

— Я и не знала, что вы занимаетесь литературой,— сказала она ему ласково.

— К несчастию, занимаюсь этим неблагодарным ремеслом; только не имею еще вывески!.. занимаюсь под чужою фирмою!.. поставляю работу вчерне!.. Мастер ее отделывает набело!..

С этого времени с Поэтом стали говорить как с человеком, который печатает стихи. Откуда взялся у Порфирия язык! Зоя Романовна предложила ему написать ей стихи в альбом. Поэт был счастлив, и рифмы: альбом — пером, воспоминанье — упованье, прежде — надежде, любовь — вновь,— пошли в дело.

III

Судя по нашему Поэту, можно было бы подумать, что каждому Поэту ничего более не нужно для счастия, кроме пера, чернильницы да предмета, который бы можно было назвать: неземной, воздушной Пери, ангелом, божеством... и чтоб эта неземная питалась только его стихами, имела бы томные очи и иногда вздыхала, чтоб Поэт был в вечном сомнении, необходимом для стихов; чтоб можно было каждый день писать что-нибудь под заглавием: *разочарование, безнадежность, слеза любви*, что-нибудь вроде:

Скажи, скажи скорей мне, дева неземная,
О чем грустишь, о чем вздыхаешь ты?
Скажи! готов на все: пусть правда роковая
Убьет мои неверные мечты!
Боюсь отогревать в душе змею-надежду,
И призраком себя обманывать боюсь...

Тут Поэт задумался; он не хотел употребить в рифму ни *невежду*, ни *одежду*; а *между* не годилась в конце стиха. Долго думал он, думал почти целый месяц, и, наконец, выдумал:

О, как давно, мой друг, я счастия к себе — жду,
Как гостя милого, да, верно, не дождусь!

Написав эти стихи, Поэт стал придумывать, каким бы образом *вручить* их Зое Романовне и дать понять ей, что *дева неземная* именно она; но в течение этой долговременной думы вдруг получает Поэт письмо: неожиданные домашние обстоятельства зовут его в Петербург.

— О боже!— вскричал он,— я ни за что не поеду! Ни за что не поеду,— повторял он шесть дней; но на седь-

мой решился ехать: мысль, что в Петербурге можно будет издать 1-й том мелких своих стихотворений, соблазнила его; притом же он решился только съездить в Петербург, а *не переходить* туда совсем, вопреки желанию своего опекуна.

У поэтов все делается скоро. В субботу же взял он подорожную, в воскресенье отправился он проститься с Неземной и просил позволения посвятить ей 1-й том своих сочинений; а в понедельник, несмотря на всю тяжесть этого дня, Поэт отправился в дорогу.

Дорога имеет особенное свойство вспенивать воображение; во время дороги Поэт сочинил 2-й том мелких стихотворений.

По приезде в Петербург за первую обязанность почел он познакомиться с литтераторами. Тем легче ему было в этом успеть, что большая часть из них были так же, как и он, люди деловые, служащие в одно и то же время у Фемиды на жалованье, а у Аполлона на славе; у Фемиды в 14-м классе, а у Аполлона в 3-м; в одно и то же время стремящиеся и в чины, и в гении. С одним из подобных юных мужей, стремящихся по многотрудному зигзагическому пути, соприкасающемуся вершинами углов своих двум путям, ведущим к разным целям, познакомился Порфирий очень коротко, на всех условиях дружбы. Этот друг в штате одного журнала служил по части *смеси* и в то же время *сыщиком;* обязанность его состояла в том, чтоб поспешно обегать страницы новых книг для отыскания в них грамматических ошибок, логических промахов, краденных выражений, бессмыслицы и излишнего смысла. Несмотря на эту полную забот должность, ему вверялось иногда и исправление должности литтературного судьи. Эта должность очень трудна в сущности; но подведенная под форму следственного допроса ничего не значит, всякий неуч может ее исправлять; ему стоит только допросить: как твое заглавие, откуда ты родом, как прозываешься по отечеству, в какой типографии печатан, на какой бумаге?

При этом случае, по знакомству, осмотр может быть поверхностный, без подъиску, с верой на слово.

С такой-то сильной рукой в литтературе подружился Поэт и однажды в час вдохновения, в минуту восторга, удивил его блеском своих суждений.

— Да ты, братец, поэт! — сказал ему друг его.

— Как тебе нравятся следующие стихи? — сказал ободренный Порфирий и начал читать:

— Скажи, скажи скорей мне, дева неземная...

— Чьи это? Пушкина?

— Нет! отгадай!

— Право, не знаю; были уже напечатаны?

— Нет еще.

— Чьи же?.. Можно напечатать? Отдай мне, я напечатаю... Какая рифма!

— Пожалуй, напечатай; да, впрочем, эти не так хороши; вот, можно выбрать получше из «*Моих вдохновений*».

Порфирий вынул из шкатулки золотообрезную книгу.

— Браво! — вскричал друг его, литтератор,— это твои? Печатай, братец, скорей, сделай одолжение! Ты доставишь русской бедной литтературе дорогой подарок... Некоторые из этих стихотворений мы напечатаем в журнале... Бесподобно! бесподобно!

— Вот, я прочту тебе... что-нибудь...

— Ай, ай, ай, уж четыре часа!

— «Земное блаженство». Поэма, в шести песнях, в стихах...— начал было Поэт; но друг его, как испуганный, вскочил с места и схватился за шапку.

— Куда?

— Помилуй! четыре часа,— обедать.

— Обедаем вместе.

— Хорошо.

Друзья отправились. Юный литтератор пил за здоровье нового Поэта и его поэмы.

На другой же день «Мои вдохновения» отданы в печать, вскоре вышли из печати; а друг писал беспристрастный, подробный разбор, с выпиской избранных стихотворений. Разбор начинался поздравлением публики с новым самобытным поэтом; потом, по обычаю, следовал взгляд на современную литтературу; потом, о различии слов: литтература и словесность, поэзия и стихотворство; потом о значении слова *оригинальность* и о признаках *неподдельного чувства;* потом о *метре;* потом о рифме богатой и бедной,— причем критик изобрел название рифмы *нищей* и привел следующий пример:

А батюшка Трифон
С кабинета вышел.

Наконец, обратился к рифмам вдохновенным, подобным рифме: *надежду — к себе — жду.*

«Одной этой блестящей рифмы достаточно,— писал он,— чтоб нашего нового Поэта причесть к разряду подающих величайшую надежду на самобытность: свобода изложения,

ловкость, гибкость и шлифовка стиха, полнота и глубина мысли, неподдельное чувство, лоск отделки — все, все изобличает талант, который со временем будет яркой звездой в нашей литтературе».

Первый шаг на поприще славы, и такой успех — это просто подложенный огонь под вспыльчивое самолюбие.

Наш Поэт рос в собственном своем мнении не по дням, а по часам.

Он гордо прохаживался по Невскому проспекту. Можно бы было подумать, что он шел и мыслил: «Вот вам, смотрите, вот сочинитель «Моих вдохновений». Напротив, он не то думал: он обдумывал, что ему отвечать на всеобщие похвалы и поздравления? что ему говорить, если все Академии и ученые общества предложат ему звание члена?

— Скромное молчание самый лучший ответ, во всяком случае,— мыслил Поэт,— но, как члену общества, мне должно будет сказать какую-нибудь речь...

И — он обдумывал речь.

«Мм. Гг., удостоивая меня лестным званием члена, вы раздуваете незаметную искру той способности, которою одарила меня природа. Я не осмеливаюсь считать себя достойным вашего внимания за первый мой опыт на поприще отечественной литтературы...»

На этом слове Поэт приостановился.

— Не будет ли правильнее сказать: на поприще отечественной словесности? — подумал он.— Черт знает! никак не пойму разницы между этими двумя словами!.. Я все думал, что литтература, если не совсем то же, то почти то же, что по-русски словесность?

Не постигая еще ухищрений законодательных в словах: литтература, изящная литтература, словесность, изящная словесность, Litterature — belles lettres, беллетристика и т. д.,— Поэт шел задумавшись и смотря в землю, вдоль Невского проспекта. Тело его — как конь, неуправляемый дремлющим седоком, сворачивает произвольно в знакомые ворота — своротило в сторону, поднялось по лестнице, вошло в книжную лавку, взяло в руки сырой печатный листок... Глаза пробегают уже по строчкам; но мысли заняты еще исследованием различия между литтературой и словесностью.

— А, здравствуйте! — сказал кто-то, входя в лавку: вероятно, это был также литтератор высшего разряда.— Что, читали? Ну, как вас отделали!

— Что такое?

— Разбор ваших стихотворений...

— Читал... но мне кажется, это уже слишком...

Поэт хотел сказать: лестно для меня; но литтератор перервал его речь.

— Да-да, именно слишком: вы этого не стоите.

Порфирий вспыхнул от подобного замечания, сказанного ему в глаза.

— Да, многие из ваших стихотворений я прочел с большим удовольствием; вы владеете стихом.

— Покорно вас благодарю!

— Уверяю вас. Я советовал бы вам заняться особенно идиллией. Этот род стихотворений совершенно забыт. В вас заметна особенная способность к нему. Его стоит возродить в современном вкусе.

— Да-с,— отвечал тронутый до глубины сердца Поэт,— теперь возникло овцеводство и сельское хозяйство, должна возникнуть и идиллия... Непременно последую вашему совету и буду посылать свои идиллии в журнал овцеводства!

Он отошел в другую часть лавки, сел, стал пересматривать газету... И вдруг, остановив внимание свое на отделении «Критика», с жадностию читает он:

«*Мои вдохновения*, часть 1. Соч. Порфирия такого-то. С. Петербург».

И с ужасом читает он:

«Так как это произведение принадлежит к числу дюжинных, то, собрав полную дюжину подобных произведений, мы оценим в следующих номерах, чего она может стоить? какой употреблен на выделку стихов материал? от руки они деланы или посредством вновь изобретенного машинального способа? годны они к чему-нибудь или не годны?..»

Молча положил Поэт злой листок газеты на стол; лицо его горело; как будто пристыженный и осмеянный, он встал и торопился вон из книжной лавки. Боязливо оглядывался он в стороны; не приподнимая взоров, обходил всех встречных, чтоб не столкнуться с кем-нибудь из знакомых и не выказать на посмешище зарезанное свое самолюбие.

IV

В то самое время, как наш Поэт ходил в отчаянии по улицам Петербурга и проклинал литтературного демона, который соблазнил его славой и заставил забыть не только намерение возвратиться к стопам Зои, но даже любовь к

Зое,— в заднепровском городке совершались с прочими искателями руки Зои события не менее горестные.

Однажды поутру вбежал к Анне Тихоновне с потерянным лицом Полковник.

— Анна Тихоновна! — вскричал он,— что это значит?..

— Что такое? — спросила испуганная Анна Тихоновна, вообразив, что ее хитрость открылась.

— Как что!.. У Зои Романовны есть жених!

— Это откуда?.. какой?.. кто?.. что это вы говорите?.. вы, господин Полковник.

— Как кто?.. Кажется, вам бы должно было прежде меня знать! — сказал Полковник с сердцем, садясь на стул и оттирая пот с лица.

— Или вы шутите, или над вами кто-нибудь подшутил, г. Полковник,— сказала и Анна Тихоновна с сердцем,— я делала для вас, что могла с своей стороны... А если вы думаете, то есть сомневаетесь или полагаете, что я вас обманываю, то извольте свататься сами!

— Помилуйте, Анна Тихоновна, какое сватовство, когда адъютантик, сын князя Лиманского, почти уже просватан и говорят, что на днях свадьба.

У Анны Тихоновны отошло сердце: Лиманский не был из числа женихов, которых она сватала.

— Не может быть! — сказала она,— откуда ж он взялся?

— Черт знает, откуда свалился! Приехал, говорят, в отпуск... Тяп да ляп — и корабль!.. А мы... здешние... как дураки: по усам текло, а в рот не попало!

— Это ни на что не похоже! я сегодня же еду к Наталье Ильинишне... Я ее допрошу... Шутить таким образом!.. над кем же? добро бы я сватала какую-нибудь шушеру!.. Я ее допрошу! будьте уверены, что допрошу!

— Съездите, пожалоста, узнайте; я также шутить не буду: я просто отправлюсь к Роману Матвеевичу и скажу ему в глаза, что он подлец! а Лиманского на дуэль вызову!..

Анна Тихоновна испугалась угроз Полковника. «Ну,— думала она,— попала я в петлю!»

— Нет, господин Полковник, если вы это сделаете, то я откажусь от всего!.. Тут Роман Матвеевич нисколько не виноват; виновата Наталья Ильинишна: я с ней имела дело, я и разделаюсь с ней сама; а вы в стороне... Вот, дело другое, если б дело было решено и вы бы лично объявили свое намерение... тогда бы в вашей воле...

— Да как же это можно! — вскричал Полковник.

— А вот так, что если не сбудется, то вам ни на ком другом, а на мне взыскивать!

— Хм! он женится, а мне на вас взыскивать! да что я на вас взыщу?

— Ах, боже мой, да назовите меня хоть дурой в глаза!

— Что ж мне из этого будет?

— Что будет! Да вы опорочите меня: на что я тогда буду годиться? Позвольте вас спросить, допущу ли еще я себя до такого позора?.. Что вы это, г. Полковник, я не какая-нибудь!

— Ну, уж я на вас полагаюсь, Анна Тихоновна, вы знаете лучше меня эти дела,— сказал Полковник, усмирев перед грозой слов Анны Тихоновны.

Не теряя еще надежды, он пошел рассеять себя в полковой экзерцирхауз.

Вскоре явились по очереди и прочие женихи, в отчаянии и с новостью, что Зоя Романовна выходит замуж за адъютанта Лиманского,— и все пошли назад с тем же, с чем и Полковник.

V

Лиманский действительно приехал в отпуск из Москвы, с неизменной любовью к Зое, но с любовью, полной безнадежности. Он боялся ее видеть и не хотел видеть; не поехал бы в дом, если б не принудили его отец и мать, увлекаемые желанием союза своего Юрия с Зоей.

Юрий поехал и был принят так радостно, даже Зоей, что в нем ожили первые впечатления; искра, таившаяся под пеплом, возгорелась и обдала сердце его пламенем юношеской любви.

В Зое заметил он какую-то степенность и поздравил себя с этой переменой: ему нравилась в женщинах стройность в словах и обращении. Он не замечал уже в Зое детских своенравных порывов и пылкости чувств; но видел постоянное желание утопать с ним в разговорах и суждениях.

«Это доказательство любви вернее пламенных взглядов и глубоких вздохов»,— думал он и часто, восхищаясь красотой Зои и тишиной ее души, он повторял про себя: «И я решался проклинать детские капризы этого ангела!»

Зоя, в самом деле, казалось, вполне уже предавалась князю Юрию; но он боялся сам напомнить о любви своей, боялся показаться ей с самой невыгодной стороны для мужчин: и кто не покажется глупым в минуту объяснения

любви, особенно перед девушкой, которая хотя и любит, но не ослеплена страстию? пред девушкой, которая не потупит взоров в эту роковую минуту, не забудется, а станет ожидать от вас признания умного, красноречивого, без вздохов, без восклицаний, без страха, без трепета и даже без мольбы? которая убеждена, что сохранение собственного достоинства необходимо мужчине во всяком случае?

Горя нетерпением назвать Зою своею, Юрий открыл сердце свое отцу и матери и объявил им желание получить руку Зои.

— Мы только этого и желали,— отвечали ему отец и мать.

— Сегодня же я еду переговорить об этом с Натальей Ильинишной,— сказала княгиня.

И вот начались тайные переговоры между княгиней и Натальей Ильинишной.

Но, верно, они приступили к ним не благословясь, не по старому русскому обычаю.

Нелегкий подставил ухо, выслушал тайну и в ту же ночь, встретясь с Ведьмой *на бережку у ставка, на дощечке у млинка,* пересказал ей все, что слышал.

— Прощайся с своим нещечком!

От этой новости Ведьму согнуло в три дуги.

— Помоги! — вскричала она.

Нелегкий, испуганный ее ужасным положением, стал ее разгибать.

— Не то! — вскричала она.

— Что ж еще?

— Помоги! надо расстроить дело! еще три дни, и все пропало! Все мои труды и подвиги пойдут под ноги!.. Я нарочно разрознила Сердце и Думку, чтоб *она* не ужилась ни с одним добрым человеком; а в ночь на Иванов день Сердце воротится к *ней*, и тогда прощай! ничем не разорвешь! поцелуем он снимет с нее проклятие, душой и телом полюбит она честного Юрия, выдет замуж и будет честной женой и доброй матерью!.. Уу-уу-уу!

— Что с тобой?

— Как что! Я уже похвалилась Буре великой Грозе громоносной на шабаше, что поставлю ему новую ведьму! Не исполню слова, посадит он меня в тиски на веки вешные! Уу-уу-уу!

— Э, старая баба! есть о чем вопить! — сказал Нелегкий.— Ступай себе, я дело обработаю; свести трудно, а развести наше дело: как на бобах разведу!

— Смотри же, не промахнись.

— Ээ! постой-постой! мне нужно сегодня в полночь пробраться в спальню... как бишь ее? к Романовне...

— К кому? чтоб я тебя допустила в девичью спальню!

— Дрянь! Баба! труфель гнилой! что ж ты обо мне думаешь!

— Ну-ну-ну, изволь-изволь!

— Изволь! какое одолженье! Слушай: в запертые крещеные двери мне не ход, а в трубу я лазить не умею; ты должна меня снести туда на себе.

— Вот те раз! Возить на себе такого черта!

— Да еще сама шею подставишь, потому что я не хочу навязываться тебе на шею.

— Быть так.

— Проваливай.

Между тем на переговоры позван был и Роман Матвеевич. Он с радостью согласился на союз Зои с князем Юрием; на другой же день положено было объявить об этом Зое.

Во время этих совещаний Нелегкий подтолкнул горничную Зои подслушать в щелочку, о чем говорят господа.

— Знаете ли, барышня, что? — сказала она, раздевая Зою.

— Что такое?

— Ведь вас просватали.

— Просватали! — сказала удивленная Зоя.

— Да-с: княгиня-то недаром приезжала.

— Ты почему знаешь?

— Да я проходила мимо спальни барыниной; не знавши, хотела войти; а двери заперты. Кто там? — думаю; а барин такой громкогласной, слышу, говорит, что-то о приданом... Вот я и не утерпела, подслушала: я на это согласен, говорит, на сто тысяч деньгами, да вещами за Зоей, то есть за вами, барышня, будет тысяч на двадцать; а княгиня говорит: дело слажено! я уверена, что сами не поскупитесь для своей дочери. После этого они стали разговаривать тихонько, и я уж ничего не слыхала. Честь имею поздравить вас, барышня!.. уж это дело ведь решенное: папинька и маминька согласились.

— Очень рада! ступай! — сказала сухо Зоя.

— Как же не порадоваться, барышня, такому прекрасному жениху, да еще князю! — проговорила горничная, выходя из спальни.

В это самое время Нелегкий прибыл сквозь трубу верхом на Ведьме, припал к изголовью Зои и начал что-то шушукать.

«Прекрасно! — произнесла Зоя, рассуждая сама с собой.— Все в доме до последней девки знают, что меня выдают замуж, только я не знаю!.. Впрочем, смешно было бы и спрашивать меня: хочу я быть княгиней или нет?.. Какая девушка будет так глупа, чтоб отказаться от такого счастия!.. Князь, хорош собою, умен, ловок, человек отличных свойств и прочее и прочее... только что не ангел!.. Такому жениху нужно ли спрашивать согласия у той, которую он удостоивает выбора?..

С вершины своего величия он указал на меня — и довольно! я должна быть его женой, рабой, по старине снять сапог с его ноги, подать на себя плетку: зато на меня возложится титул сиятельства. За эту честь отец и мать, верно, не поскупятся, заплатят, что угодно, только чтоб иметь зятем князя!.. Какое блаженство! какое поприще для радостей!.. Я могу жить в столице, ездить на балы, в театр, подписываться: «Княгиня Зоя». Надо родиться под особенно счастливой звездой, чтоб из этого темного угла попасть в большой свет! Надо много иметь достоинств, чтоб быть избранной сидеть на княжеских креслах! О, я горжусь сама собою! я забудусь от спеси, я с презрением буду смотреть на все, что ниже княжеской сферы,— это необходимо, этого требует этикет, этого требует даже самое достоинство, звание: чем же отличиться от тех, которым предоставлено только право карабкаться на вершину счастия и цепляться за случаи?..

Избранная в супруги князя! Сколько щедрости, милостей, благодеяния, великодушия сыплется на меня из этого слова! Сколько даров вдруг, неожиданно, без просьбы, без спросу! О, пусть только прикажут мне отец, мать и князь принять эти дары, я буду уметь быть благодарной: я не скажу просто: мой друг! я буду почтительно говорить: мой благодетель! Вздумает ли князь осыпать меня своими нежностями — я, униженно, с благоговением прикоснусь устами к его руке и скажу: мой покровитель!.. Без его воли я не ступлю ни шагу, у меня не будет собственных желаний, я стану всегда спрашивать: что вам угодно, князь? — О, я покажу, каким образом должно быть благодарной за ниспосылаемые милости, как должно уважать и почитать щедроты такого великодушного сердца!..»

С этой решимостью Зоя стала забываться, заснула; а

Нелегкий сел снова на Ведьму верхом и, вылетая из трубы, говорил:

— Чудо что за девушка! да мне почти не нужно было подсказывать: все сама знает! Что за ум! что за женская тонкая политика! ну, признаюсь, ты знаешь толк в апельсинах! Не понимаю, чего ты боишься ее замужества с князем? пусть он будет хоть расчестнейший...

— Но, но, но! — вскрикнула Ведьма,— не хочу рисковать! Есть же пословица, что *женится переменится:* не хочу! чего доброго, выйдет замуж и переменится.

— Ну, это только антифраза, а больше ничего; я докажу тебе это математически: минус на плюс дает минус, и плюс на минус дает минус; следовательно, положив, что плюс мужчина, а минус женщина, выйдет, что мужчина изменяется всегда, а женщина никогда.

— Не понимаю я этого, черт знает что!

— Как! математика черт знает что? то-то и беда, что вашу братью не учат математике: сколько теорем обратили бы вы без доказательств в аксиомы!

— Рассказывай! а я все-таки Зои не выдам замуж; поставлю ее во всей девственной красоте!

— Конечно, очень необходимо! ну, проваливай.

— Проваливай.

Нелегкий и Ведьма расстались.

VI

На другой день Наталья Ильинишна позвала Зою в свою комнату.

— Мой друг,— начала она,— обязанность родителей заботиться о счастии своих детей; мы, кажется, все исполнили в отношении тебя до сих пор...

— Я это чувствую и всегда буду чувствовать,— сказала Зоя.

— Дело не о том; я в твоем сердце уверена... Мы обязаны довершить наши заботы... Тебе уже на днях исполнится совершеннолетие... Общий удел женщин есть замужество...

— Как общий? стало быть, тетушка на восьмидесятом году должна выйти замуж? — спросила Зоя тоном неопытности.

— Нет, моя милая, это исключение.

— Всякий может попасть в исключение.

— Конечно; но гораздо лучше исполнить предназначение природы; каждая женщина создана для того, чтоб быть

сперва доброй дочерью, потом доброй женой, а наконец, доброй матерью: потому-то мы и желаем выдать тебя замуж.

— Покорнейше вас благодарю! — произнесла почтительно Зоя.

— Разумеется, что мы выбираем мужа по твоему сердцу... Ты, верно догадаешься?

— Я не догадываюсь...

— Человека с званием, достойного во всех отношениях... словом, князя Юрия... Во-первых, по добрым отношениям наших семейств, а во-вторых, мы знаем, что вы привыкли друг к другу смолоду; и сверх того, заметили вашу взаимную привязанность.

— Я вполне полагаюсь на ваше замечание; что же касается до меня, то я не знаю его чувств в отношении меня.

— Будто он никогда не показывал тебе любви и ничего не говорил о своем намерении?

— Совершенно ничего.

— Тем и лучше: он желал получить сперва согласие родителей и потом уже открыться в любви дочери... это так следует... Сегодня он приедет к нам нарочно для этого; и потому ты приготовься, мой друг, принять от него предложение.

— Каким же образом мне приготовиться? я не знаю.

— Оденься понаряднее, будь развязнее, милее... Ты слишком сурова, Зоя.

— Зачем же мне казаться иначе, нежели какова я в самом деле?

— Это так водится, моя милая.

— А я думала, что это притворство... Я исполню ваше приказание.

— Смотри же, он будет к обеду... Да, мы решили, чтоб вы, объяснившись между собою, пришли к нам, а мы своим чередом и благословим вас.

Зоя потупила глаза в знак согласия на волю матери. Она пошла в свою комнату.

— Сегодня я невеста напоказ! — говорила Зоя сама себе, садясь перед туалетом.— Сегодня я должна быть лучше, нежели что я есть,— умнее, милее, наряднее, румянее!.. Сегодня я должна пленять!..

И — Зоя рядится с необыкновенным вниманием. Ее уведомляют о приезде Юрия; ей докладывают, что кушанье уже на столе.

И вот она выходит, разодетая, как на бал, против обыкно-

вения румянец пылает на ее щеках, взоры светятся, заманчивые взгляды на князя одушевлены разговорчивостию, любезностью, живостью; она весела против обыкновения, всему смеется.

— Эге, как обрадовалась Зоя замужеству! — говорит Роман Матвеевич жене на ухо.

— Не люблю я этой излишней радости! — говорит сердце матери.

А Юрий, читая во всей Зое явное согласие на союз с ним, предвкушает блаженство и нетерпеливо ожидает минуты окончательного объяснения.

Едва встали из-за стола, Зоя, как будто предупреждая желание князя, предложила ему идти в сад.

Быстро сбежала она с крыльца на террасу, с террасы в цветник и начала кружить по дорожкам и извилинам, набирая букет цветов.

Юрий едва успевает за ней следовать; он также сорвал несколько цветов.

— Не угодно ли вам? — сказал он ей, подавая цветы.

— Благодарю вас, оставьте для себя, у меня уже есть,— отвечала она с простодушною учтивостию, которая, однако же, никогда не нравится усердному предложению.

Князь Юрий поднес отверженные цветы к вспыхнувшему лицу своему.

— Как вы скоро ходите! — сказал он ей, отстав немного.

— А вы уж устали? — спросила Зоя, прибавляя шагу.

— О, нет,— отвечал Юрий, догоняя ее.

Едва он стал приближаться к ней, она почти бегом пустилась по тропинке, под гору, поднялась на другую, потом опять с горы, снова на гору.

Лиманский не успевал за ней идти, ему надо было почти бежать.

— Вы устанете!.. это вредно после обеда!..— говорил Юрий, приближаясь к Зое, когда она приостанавливалась.

— О, нет, я привыкла, я люблю скоро ходить,— отвечала Зоя, спускаясь под гору.

Зоя выбегала весь сад, перелетала с места на место, как мотылек; а Юрий догонял ее, как ребенок, только не смел ловить ее. Задыхаясь от усталости, он шел уже, отирая пот с лица.

Наконец, Зоя как будто сжалилась над ним, села.

— Вы очень устали, вы не привыкли скоро ходить... отдохните! — сказала она ему.

Юрий также присел подле нее; но лицо его горело от усталости, он едва переводил дух.

Зоя молча перебирала цветы.

— Зоя Романовна...— начал Юрий, отдохнув несколько.

— Что? — спросила она отрывисто и вдруг, взглянув на него, захохотала и произнесла ядовито:— Ах, боже мой, как вы жалки!

Юрий вспыхнул.

— Что ж вы находите во мне жалкого? — спросил он голосом обиженного.

— Я не умею вам дать отчет об этом,— отвечала Зоя сухо,— просто ваша физиономия показалась мне очень жалкой.

Не ожидая ответа, она встала и пошла к дому. Лиманский, как прикованный, остался на месте.

Зоя вбежала весело на крыльцо; ее встретила мать.

— Где ж князь?

— Не знаю; мы ходили вместе, я села отдохнуть, и он также; я встала, пошла домой, а он остался на месте... Не приглашать же его идти за собой.

— Что ж, говорил он тебе что-нибудь?

— Он почти совсем ничего не говорил: он, кажется, не в духе.

— Ни слова о своем намерении?

— Ни слова ни о каком намерении.

— Ты шутишь, Зоя!

— Приятно ли мне шутить тем, что так близко касается до меня!

— Странно! Но о чем же он разговаривал с тобой?

— Говорил о цветах да об усталости, и только.

— Странно! Не показалась ли ты ему слишком развязна против обыкновенного?.. Ты так пестро, безвкусно нарядилась!.. Ты уж чересчур обрадовалась!.. это нейдет!..

— Чему ж мне особенно радоваться?.. Я исполняла вашу волю. Может быть, ко мне не пристал ни наряд, ни любезность.. Я сей час переоденусь... Сброшу с себя и заказную любезность...— прибавила Зоя про себя, входя в комнату. В это время показался Юрий из большой аллеи; он шел задумчиво, медленно.

— Что с вами, князь? — спросила его Наталья Ильинишна.

— Мне что-то нездоровится! — отвечал он.— Так... что-то... не понимаю сам...

— Примите гофманских капель; может быть, вы что-

нибудь жирное скушали за столом... Я сей час же принесу...

— Ах, сделайте одолжение, не трудитесь!.. Это пройдет... Позвольте мне домой... Завтра я надеюсь...

— Куда, куда! я вас не пущу! Нет, вы должны меня слушать: я вас люблю, как сына!.. Сядьте... я сей час принесу...

— Простите меня, я не привык ни к каким лекарственным средствам... Просто пройдет... Я надеюсь завтра же, если позволите, быть у вас.

Юрий поцеловал руку Натальи Ильинишны за участие ее и — уехал.

— Где ж князь? — спросил Роман Матвеевич, проснувшись после обычного отдыха после обеда.

— Он уехал! — отвечала Наталья Ильинишна, вздыхая.

— Что за причина?

— Бог знает отчего ему сделалось дурно, кружение головы.

— Он говорил что-нибудь с Зоей?

— Ни слова о деле.

— Понимаю я теперь эту болезнь! Это значит, что он еще не собрался с духом; то-то трус нынче военный народ! языка не достанет, чтоб сказать: «Я вас, сударыня, люблю и прошу вашего сердца и руки!» Как можно! теперь надо год думать, с чего начать, два года собираться, что сказать, а на третий заикнуться на первом слове и — встать в пень.

— Полно, пожалоста, храбриться! — сказала Наталья Ильинишна,— после сражения все храбры!

— Скажешь ты, что и я был трусом, когда шел на штурм? А?

— Ну-ну-ну! оставь свои старые военные ухватки! — прибавила Наталья Ильинишна сердито.

На другой день, после обеда, князь действительно приехал. На обычный вопрос: как ваше здоровье? — отвечал: слава богу; но по лицу заметно было, что причина болезни его таится еще в нем.

Зоя вышла разливать чай в простеньком белом платьице; наружность ее была спокойна и так же молчалива, как и уста; вчерашнего дня как будто никогда не бывало.

После чаю она села за работу; Юрий подошел к ней, и вскоре, незаметным образом, они очутились одни.

— Вы на меня сердитесь? — сказал Юрий тихим, неспокойным голосом.

— Я? и не думала!— отвечала Зоя.

— Однако же я уверен в этом... хотя и не знаю, что это значит.

— Странная уверенность!

— Если вы скрываете ваше сердце, то ваш голос изменяет вам.

— Как вы смешны!

— Не знаю, почему я кажусь вам то жалок, то смешон!

— И я также не знаю.

Юрий вскочил с места, прошел несколько раз по комнате, сел в отдалении от Зои в другом углу, вскочил снова и подошел к ней решительно.

— Скажите мне, чем заслужил я ваше негодование? За что вы на меня сердитесь?

— Вы, кажется, приехали с намерением сердить меня!

— О, нет, я приехал совсем с другим намерением...

— А если нет, то прошу вас оставить разговор о сердце!

— Боже великий!.. оставить!.. Точно, я должен оставить! я исполню приказание ваше!.. Я буду говорить о чем-нибудь другом!.. об этом чулке, например... Вы давно вяжете этот чулок?

— Очень давно!

— Нитки прекрасные!

— Очень хороши!

— Только суровы!

— Может быть!

Князь Юрий предался неспокойному молчанию. Жестокость Зои убивала его; но он старался скрывать обиженные свои чувства.

Вошла Наталья Ильинишна, посмотрела на Зою и Юрия — ничего особенного: Зоя преспокойно сидит за работой, Юрий сидит подле рабочего столика и внимательно рассматривает начатое вязанье чулка.

Вслед за Натальей Ильинишной вошел и Роман Матвеевич; взглянул на Зою, на Юрия и на жену свою — ничего нет особенного, все в прежних отношениях.

Но Юрий не в силах был долго принуждать себя казаться спокойным и улыбаться солнцем сквозь громовую тучу; едва смерклось, он распростился, уехал.

— Опять ничего? — спросила Наталья Ильинишна.

— Напротив, очень много.

— Ну!

— Он был очень мил со мною: он испытывал меня.

— Ну!

— Чтоб испытать мое сердце, он начал с вопроса: за что

я сержусь на него. «Кажется, я не подала никакой причины думать, что я сержусь на вас»,— отвечала я, а он, как будто насмех, еще более стал уверять меня, что я на него сержусь. «Оставьте этот разговор»,— сказала я наконец. «Давно вы вяжете этот чулок?» — спросил он, взяв в руки толстый чулок, над которым учится вязать Варька. Я едва в состоянии была вынести эти шутки и ушла бы, если б вы не пришли.

— Мой друг,— сказала смущенная Наталья Ильинишна мужу,— я замечаю, что князя Юрия сватают отец и мать на Зое против желания. Он просто хочет отделаться от Зои и вместо объяснений забавляется над ней.

— Я поговорю об этом с отцом его!

— Я объяснюсь с княгиней!

Но «поговорю и объяснюсь» были предупреждены полученным на другой день письмом княгини; она писала коротко и ясно:

«Очень сожалею, что Зое Романовне не по сердцу мой сын; впрочем, слава богу, невест на белом свете довольно».

— Эге! молодец! какие штуки! как искусно свалил свою вину на Зою! — вскричал Роман Матвеевич и немедленно же пустился в путь для объяснений с князем и княгиней.

— Позвольте же мне заступиться за дочь свою,— сказал он, входя к ним,— не угодно ли призвать князя Юрия на очную ставку со мной?

— Он уж уехал,— отвечала княгиня,— для него слишком тяжело было выслушивать явные намеки Зои Романовны, что он ей не нравится.

— Помилуйте! — вскричал Роман Матвеевич,— да он ей ровно ничего не говорил о своих чувствах! Неужели он ждал, чтоб она открылась ему в любви?.. Позвольте вам сказать, князь и княгиня, что сын ваш всех нас провел: у него, верно, оставлено сердце в Москве; и потому очень натурально, что ваше желание женить его на моей Зое ему не по душе.

— Можно было бы этому поверить,— сказала, усмехаясь, княгиня,— если б не сам он объявил нам свое желание искать сердца и руки Зои Романовны... Можно было бы поверить, если б он не плакал, уезжая отсюда!..

— Полноте заступаться за сына!

— Полноте заступаться за дочь!

— Впрочем, если не пришлись друг другу по сердцу, кто ж виноват? Жаль!

Этим словом кончились дружеские отношения двух семейств.

Жаль!

VII

Оставляя на время Днепровские берега, нам должно возвратиться к другому узлу происшествий.

Читатели припомнят 1-е мая и событие в комнате Любови Аполлоновны, по возвращении из Сокольников.

Ее горничная недаром кричала: сорока, сорока! В самом деле, на рассвете следующего дня белохвостая сорока быстро порхала над Москвой. Казалось, что она не знала, куда направить полет свой: то в одну сторону понесется, то в другую. Ей ужасно как хотелось вон из Москвы; но куда ни взглянет — нет конца городу. Вдруг приподнялась с ночлега на башнях кремлевских черная туча ворон и галок; с страшным криком понеслась она прямо на бедную сороку. Крррр-крррр-кррр — осыпало ее со всех сторон.

— Пропала я! — прощебетала бедная сорока и прослезилась; она ожидала уже, что ее растерзают хищные птицы на части и не удастся ей принести костей своих домой. Но, к удивлению ее, стая только вилась-извивалась около нее; пролетающие мимо вороны посматривали на нее с недоумением, что-то каркали по-своему и проносились, провожая ее за город.

Пролетая мимо заставы, она услышала, что на вопрос часового: откуда? — проезжающий обоз отвечал: из Киева.

— Туда-то мне и нужно! — подумала она и запорхала вдоль столбовой дороги.

Солнце уже взошло, когда она проносилась мимо одного селения и решилась отдохнуть где-нибудь под стрехой. Подлетев к слуховому окну постоялого двора, сорока присела на жердочке и стала клевать сушеную рябину. Наклевавшись рябины и отдохнув, она собиралась уже в дорогу, перепрыгнула на перилы выходца перед открытым окном верхнего жилья и — вдруг услышала всхлипыванье и стоны. Оглянулась... Подле окошка сидит женщина в розовом платье с длинным воротником и заливается горькими слезами; а по комнате ходит в длиннополом сертуке мужчина, заложив руки в боковые карманы.

— Ах, бедная! ах, несчастная! — прощебетала сорока с жалостью, взмахнув крыльями.

— Полноте плакать, сударыня! — сказал мужчина, подходя к женщине и взяв ее за руку.

— Оставьте, сударь, меня! — вскричала она, вырывая руку.

— Я готов вас оставить, да согласитесь ли вы оставаться посреди дороги?.. Впрочем, за что ж на меня сердиться? Если б я вас обманом увез — дело другое; но я, собственно, вас и не думал увозить. Вольно вам наряжаться в чужой костюм. Судьба нас обоих обманула; вам подставила она вместо Лиманского меня; а мне вместо Лиды Нильской вас... и — черт знает, это какое-то предопределение! Второй уже раз она бросает нас в объятия друг к другу, против воли... Виноват! в первый раз я еще страстно вас любил; но когда вы разочаровались, увидя меня в лицо, и отскочили, как от чудовища, разумеется, что и я разочаровался и предался вполне Лиде Нильской... Она не была так жестока, как вы...

— Она вас любила! и вы смеете думать, чтоб кто-нибудь решился вас любить!.. Вас любить? Вас? без маски? не принимая ни за кого другого? К подобному безумию никто не способен!.. Но счастье спасло Лиду, а я погибла! О, боже мой, что я теперь буду делать!..

— Что делать? разумеется, то, чему учит благодетельный рассудок. Я думаю, что одно средство остается: подтвердить нечаянность законным браком и таить от света ошибку.

— О, это ужасно! — простонала женщина.

— Злодей! — прочочокала сорока.

— Впрочем, выдумывайте сами что-нибудь лучше... Я на все согласен. По пословице: «Ошибка в фальшь не ставится»— возвратитесь к родителям... Только... если...

— Отвезите меня в какой-нибудь монастырь!..

— Пожалуй... Только... во всяком случае...— он продолжал шепотом.

— О боже, боже! что я буду с собой делать!

— Во всяком случае, мне кажется, лучше всего согласитесь быть моей женою. В Киеве наденем венцы и будем обвинять судьбу, что так жестоко подшутила над нами... Но лошади уже запряжены, не угодно ли ехать?

Женщина, закрыв лицо платком, ничего не отвечала.

— Решайтесь на что-нибудь!

Она невольно повиновалась; не отнимая платка от лица, она встала.

— Утро довольно холодно,— сказал ее спутник,— не угодно ли опять надеть мою шинель?

— Не надо! — отвечала она.

— По крайней мере, не худо скрыть ваш маскарадный наряд другим, более приличным.

Не отвечая ни слова, женщина шла к крыльцу, подле которого стояла готовая уже коляска.

Бедная сорока молчала; от ужаса на ней встал хохолок дыбом, хвост распахнулся веером, все перья взъерошились.

Тут, расставаясь с бедной Мери, она вздохнула и полетела вниз по Днепру. Вдруг, откуда ни возьмись, стая сорок окружила ее, зачочокала по-своему: стой!

Наша сорока от них было — куда! — захлопали ее крыльями, заколотили, сбили с пути.

— Держи, бабы, держи! это какая-то не *нашенская*! Эге! и хвост цел-целехонек! Да она еще не тронутая: на шабаше не была!

— Откуда ты, голубушка?

Бедная сорока молчала; от ужаса на ней вставал хохолок дыбом, хвост распахнулся веером, все перья взъерошились.

— Гони ее, бабы, в дупло! Не полетит — заклюем, изобьем в прах! На шабаше представим ее в судейскую,— за это нам по хохлу дадут... Гони ее!

Наша бедная сорока хочет от них вырваться, а сбоку, с другого — хлоп ее крылом. Она кинется к земле, а ей поддадут снизу; хочет приподняться повыше, а ее клюнут в голову. Повели ее к лесу. Пропала из глаз.

VIII

Вот настала ночь, страшная ночь,— в которую нечистая сила, по обычаю, сбирается на контракты и на праздник на Лысую гору,— ночь на Иванов день.

Когда все улеглось в доме Романа Матвеевича, Зоя, надев ночной шлафор и ночной чепчик, выслала вон горничную, открыла окно, села подле и стала всматриваться в луну. Луна незаметно спускалась с вершин небесных все ниже и ниже и, наконец, уставилась из-за лесу, как раскаленная лысая голова великана... Вдруг показалось Зое, что эта голова начала моргать, водить глазами... Зоя вздрогнула, закрыла лицо.

И в то же время что-то просвистело в трубе, шорох раздался подле Зои, она стиснула от ужаса глаза.

А перед ней стояла уже старуха в чепчике с крыльями и широкой бахромой.

— Ну, девушка!— пробормотала она,— чуть-чуть проклятые сороки не отбили у меня твоего сердечка!..

Старуха подошла к Зое.

— Не бось, голубушка! — продолжала она и начала водить около нее руками разные вавилоны, точно таким образом, как магнетизируют, для произведения пяти степеней таинственного сна.

— Хорошо ль, голубушка? по душе ль, сударыня?

По жилкам Зои стало переливаться какое-то наслаждение, голова ее скатилась на спинку кресел, она протянулась как замирающая.

— Нравится ли, милочка? по сердцу ли, лапонька?

Лети, сердце-пташечка,
В родимое гнездышко:
Выводи, пернатая,
Не серых воробышков,
Не рябых кукушечек,
Не орлов, не соколов,
А Сову Савельевну!..

В это время скок на окно сорока; затрещала, запрыгала; а старуха хвать ее за хвост...

Раз, два!— свернула ее в клубок... Раз, два!— в руках ничего, а в груди Зои вдруг что-то забилось сильно-сильно.

— Нравится ли, девушка? по душе ли, красная?

Вывела ли пташечка
Слепого дитенышка?
Вывела пернатая:
Шш! Сова Савельевна!

Старуха провела руками вавилоны над головой Зои, и — в руках ее очутилась сова.

Тш! Сова Савельевна!
Лети-лети по́ миру,
Налетайся по́ свету,
Будь тебе, зловещая,
Во полудень темна ночь,
Во полуночь ясный день.
Где не место Совушке,
Будь там невидимкою...
Шш! Сова Савельевна!

Совушка похлопала глазами и порхнула из рук старухи на окно, с окна понеслась по густому мраку.

— Спи, моя сударыня! спи, моя сердечная!

Сердечушко в гнездышко,
А думка на волюшку;
Пусть себе потешится,
Вдоволь нагуляется,
На людей насмотрится!

Распелась старуха шепотом, подбоченилась, прошла ходуном по комнате да как хлопнет каблучком об пол... глядь... свернулась в клубок, в дымок, да в трубу.

IX

Еще во сне Зоя почувствовала какое-то беспокойство в груди; пробудившись, она с испугом приложила руки к сердцу — оно ужасно билось. «Что это значит?» — спросила она сама себя. Повернулась на бок — бьется; повернулась на другой — также бьется; привстала — все продолжает биться.

«Что это значит?» — повторила она и, накинув на себя утренний капот, торопливо сошла в комнату матери.

— Что это значит, маминька?

— Что такое? — спросила удивленная ранним ее приходом Наталья Ильинишна.

— Неужели это сердце бьется? попробуйте...— сказала Зоя, взяв руку матери и приложив к своему сердцу.

— Да, сердце, мой друг.

— Что ж это значит?

— Ничего особенного.

— Как ничего? у меня оно никогда так не билось!

— Ну... это значит... что ты уже невеста... Выйдешь замуж, этого не будет...

— Когда же свадьба?.. Если б скорей! вы не поверите, какое неприятное чувство.

— Какая же свадьба, когда еще жениха нет.

— А князь?

— Князь?.. Князь уехал, мой друг.

— Как уехал! — вскричала Зоя.

— Да: ему показалось, что ты не любишь его.

— Как не люблю!

— Да: ты, верно, холодна была к нему; ты сама виновата.

— Я холодна? я виновата? — и Зоя не могла удержать

слез.— Чем же я виновата? — продолжала она,— скажите, чем же я виновата, если у меня не билось еще сердце?.. Вольно ему свататься за меня, когда я еще не была невестой!..

— Полно, полно плакать, Зоя! поцелуй меня... Бедная! неопытность ее наделала беды!.. Полно, Зоя, успокойся! не один жених на свете князь.

— О, боже мой, боже мой! — повторяла Зоя, рыдая,— что я буду теперь делать?

— Полно, друг мой, мы найдем другого жениха почище князя!

— Другого? Бог знает, будет ли у меня биться сердце для другого! О, боже мой, боже мой!

— Ты сама не знаешь, что говоришь! Стоит только полюбить мужчину — сердце будет биться для каждого.

— Ах, нет, нет! я буду любить только его одного: у меня верное сердце.

— Это глупость с твоей стороны, Зоя! Где его теперь искать? мы не станем унижаться, упрашивать, чтоб женился... Да он и сам не так привязан к тебе: уехал без объяснения!.. Не кланяться ему, чтоб любил!.. Велика беда!

— Я не изменю ему!

— Измена только при взаимной любви бывает; а если он тебя не любит — ты свободна отдать свое сердце кому захочешь.

— Кому ж я его отдам? Оно меня измучает, оно изобьет мне всю грудь — ах!.. ой!.. ой!.. ой!..

— Полно, голубчик мой!

— Кому я отдам его?

— Успокойся, душенька!.. Кто понравится тебе, тому и отдай... мы противиться не будем...

— Ой! — вскрикнула еще раз Зоя, уходя вся в слезах в свою комнату.

— Послушай, друг мой,— сказала Наталья Ильинишна мужу,— Зою надо скорее выдать замуж!

— Что так *приспичило*? — спросил Роман Матвеевич.

— Она совсем одурела; сердце у ней так и хочет выпрыгнуть, так и заливается слезами; а это уж явный признак.

— Да это такой признак, который целый век у женщин продолжается!

— У тебя всё шутки!

— А если не шутить, так лечить от биения сердца.

— Лечить! ты вздумаешь лечить жажду лекарствами; а это та же жажда, только жажда любви.

Роман Матвеевич стал в тупик от этого счастливого сравнения.

— Однако ж,— сказал он, подумав немного,— я читал в газетах, что Московские воды помогают от биения сердца; следовательно, они утоляют и жажду любви.

Наталья Ильинишна, в свою очередь, задумалась; но потом решительно сказала, что она этому не верит, что надо быть малодушным, чтоб этому верить, что для девушки в 18 лет одно только лекарство — муж и что огня любви не заливают пожарной трубой.

Роман Матвеевич не знал, что сказать против этого, и сказал только:

— Где ж мы возьмем мужа для Зои?

— Какое отчаяние! — отвечала Наталья Ильинишна,— объяви только, что у Зои сто тысяч приданого; выставь тарелку с медом, мухи налетят.

— Скажи пожалоста! *мужчины на свете как мухи к вам льнут!* А знаешь ли ты на это ответ: *врете вы, шлюхи, мужчины не мухи!*

Наталья Ильинишна плюнула и ушла.

— Ага! — сказал Роман Матвеевич торжественно.

X

В тот же день Полковник явился к Анне Тихоновне.

— Что нового, Анна Тихоновна? — спросил он, входя и поправляя на шее орден.

— Браво, господин Полковник! это, кажется, у вас новость? Честь имею поздравить!

— Да-с, вчера только получил.

— Поздравляю! Вот теперь жених в форме; всякая невеста прельстится.

— Года через два следует мне и генеральский чин.

— Браво!

— Да это все не радует меня, без...

— Без Зои Романовны?

— Конечно; с Лиманским дела идут на лад; я слышал, что они уже обручены.

— Неужели?

— Да, я понадеялся на вас, Анна Тихоновна.

— И потеряли надежду?

— Разумеется: какая же еще надежда!

— Какие верные слухи до вас доходят! А если я скажу вам совсем иное? если князю отказано?

— Что вы говорите! неужели? Каким это образом?

— Про то я знаю.

— Неужели вы...

— Да кому же больше?..

— И просто отказали, без всяких церемоний?..

— Просто отказали, и он с отчаяния уехал.

— Уехал?.. Я был уверен, что есть какая-нибудь разница между полковым командиром и адъютантом.

— Не слишком воображайте! Без меня бы вы с своим командирством ничего не сделали!..

— Я совсем не то, Анна Тихоновна...

Полковник бросился целовать у ней руки, умолял, чтоб она сейчас же ехала просить позволения лично ему явиться в дом с предложением.

— Я отсюда не выйду, покуда вы не поедете! — повторил он.

Анна Тихоновна согласилась, наконец, и Полковник сам посадил ее в бричку на рессорах.

— С уговором, Полковник: ваша сваха в последний раз едет в бричке... Слышите ли?

— Я вам выпишу из Москвы маленькую колясочку, такую, как у меня.

— Нет-нет, выписывайте для себя; к свадьбе вам необходим новый экипаж; а старую свою променяйте мне на что-нибудь.

— Как только все уладится...

— Я не люблю журавлей в небе... и не сердите меня! я не люблю противоречий!

— Все будет по-вашему,— сказал Полковник, провожая ее.

Анна Тихоновна приехала с визитом к Наталье Ильинишне.

Между тем как они разговаривали, сперва о погоде, потом о варенье, потом о здоровье Зои, которая не являлась, потом о полковом ученье с музыкой и стрельбой, потом о Полковнике... Зоя сидела подле окна; но она уже сидела подле окна, выходящего не в сад, а на большую улицу. Зое было грустно: ей хотелось смотреть на проходящих людей.

— Какие все уроды ходят! ни одного порядочного человека! — сказала она с досадой, вставая с места. Вдруг кто-то, проходя мимо окна, поклонился ей.

— Кто такой? — подумала она, приотворив окно.

— Ах, это Поручик! — сказала она, преследуя его глазами.

Зою пришли звать в гостиную: приехала гостья, Анна Тихоновна, желает ее видеть.

— Ах, поди прочь! — отвечала она горничной.

Пройдя довольное расстояние от окна, Поручик оглянулся, увидел Зою — еще раз оглянулся.

Зоя смотрела в ту сторону, куда он шел.

Пройдя улицу, Поручик повернул назад, пошел по другой стороне, посматривая сбоку на окно... Опять поклонился... потом снова оглянулся и еще раз оглянулся.

Зоя смотрела уже в эту сторону.

Поручик снова встретился, но в этот раз он был уже смелее: не доходя до окна, он свернул в ворота. Пятница — был его день.

— Одеваться! — вскричала Зоя и торопливо бросилась к туалету, развила косу, расчесывает ее сама, крутит на пальцах локоны, приказывает подать голубенькое кисейное с цветами — нет! новое гродерьен — или нет! шитое буф-муслиновое.

— К чему ж вы одеваетесь, барышня: гостья уж уехала.

— Очень рада! подай мне бирюзовые серьги! — отвечала Зоя.

Она как будто переродилась; все в ней забушевало, заходило волной.

В гостиной Поручик беседовал с Натальей Ильинишной. Романа Матвеевича не было дома.

Поручик, смущенный появлением кумира любви, как он мысленно называл Зою, не в состоянии был продолжать рассказы о фрунтовой службе и о войне. Приветливый поклон Зои и быстрый взгляд, кинутый на него, лишил его памяти. Он поклонился ей, присел на краешек стула, устремил глаза на кивер и замолк.

— Так вы в каких же местах на войне были? — спросила Наталья Ильинишна.

Покуда Поручик высчитывал свои походы, Зоя внимательно его рассматривала.

В первый раз заметила она, что у него очень хорошенькие усики, и глаза очень хороши: черные, с длинными ресницами, густые брови дугой.

— Неужели вы были на войне? — спросила она его с удивлением.

— И в турецкую, и в польскую, — отвечал Поручик.

— И эти кресты вы получали за сражение? — продолжала Зоя, смотря на медали, украшавшие грудь Поручика.

— А скажите, пожалоста, — перервала Наталья Ильи-

нишна,— где это крепость Шумла? Двое из моих крестьян были там при полку маркитантами,— рассказывают и бог знает сколько чудес.

— Эта крепость находится в Булгарии,— отвечал Поручик.

— Хм! а они, дураки, сказали мне, что в Турции!

— Да это все равно-с.

— Как все равно? Турция и Булгария — все равно? Поручик плохо знал историю; но слыхал, что турки не называют себя турками, а Турцию — Турцией.

— Все равно,— отвечал он, смешавшись,— потому что собственно Турции нет: это выдуманное название.

— Как выдуманное? да что ж там вместо Турции?

— Там-с... Булгария, да Греция, да еще Молдавия, да еще... ей-богу, позабыл...

— Так, стало быть, булгар да греков называют турками?

— Да-с, нет-с... Турками называются те, которые веруют в Магомета.

— Так, стало быть, если и русский примет Магометову веру, также будет турком?

— Так точно.

— Вот этого я не знала. А скажите, пожалоста, что ж это такое называется турецкой границей? у меня там племянник служил.

— Турецкой границей называется река Прут... Мы там стояли... содержали пикеты.

— А велика эта граница?

— Очень большая: верст до восьми сот.

— Восемь сот верст! это ужас! и все это тянется султанская земля?

— Точно так-с.

— Какая необъятность!

Истощив все любопытные вопросы, Наталья Ильинишна задумалась.

Зоя не принимала участия в этом разговоре: она посматривала на Поручика и перебирала колоду карт, лежавшую на столе. Ей наскучили расспросы матери.

— Вы умеете играть в карты? — спросила она Поручика.

— Довольно плохо,— отвечал он.

— Садитесь со мной играть.

Поручик повиновался, пододвинул стул к круглому столу перед диваном, вынул из кивера платок и, казалось, хотел стереть с лица выступивший огонь.

— Какие ваши козыри?

— Пики,— отвечал он, откашливаясь.

— А мои — черви.

Зоя сдала; началась игра, молча. Зоя *ходила*, смело вглядываясь в Поручика; Поручик *ходил*, робко всматриваясь в Зою.

В первый раз показался ему тесен мундир; он совершенно задыхался.

Долго продолжалась игра, продолжалось и ненарушимое молчание, покуда Наталья Ильинишна сидела подле; но она, наконец, вышла.

— Это скучно,— сказала Зоя,— давайте играть в *пять карт*, только, смотрите, чур, не плутовать! слышите ли?

И она сдала Поручику пять карт и себе пять карт, вскрыла козыря и положила на него колоду.

— Ходите!

Поручик пошел с пары и положил на придачу козыря.

— О, какие вы щедрые!.. приняла. Ходите!

Поручик еще раз пошел с пар и, дополняя игру, взял ошибкой лишнюю карту. Глаза Зои были настороже.

— А! вы плутуете! — вскричала она, удержав руку Поручика.

— Ей-богу, я ошибся,— сказал он.

После нескольких ходов Зоя приподняла карты в колоде, чтобы подсмотреть козыря.

— Ах, Зоя Романовна, как можно подсматривать! — осмелился заметить и Поручик с своей стороны.

Поручику показались очень приятны нежные удары по руке. Пример был подан Зоей, он стал последовать ему: сдав лишние карты, подсматривать козырей, ходить не с пар.

Плутовство началось с обеих сторон; то Зоя ловит контрабандные карты и Поручик останавливает ее; то он покроет пики бубнами или старшую младшей и Зоя поймает его. Очень весело! Но приезд Романа Матвеевича восстановил честность в игре, игра стала ужасно скучна.

— Вы непременно будете у нас в воскресенье? — сказала Зоя Поручику, когда он собирался домой.

В воскресенье то же плутовство, воровство, и полицейская исправность ловит преступные руки.

Зое ужасно как понравилось играть в карты; но только с Поручиком. Когда Поручика нет, Зоя не выходит из своей комнаты. Все прочие соперники, являясь в обычные дни в дом Романа Матвеевича, почти совсем не видят ее.

Но даром играть скучно. Начинается игра коммерческая:

на конфекты, на удары по рукам, на поцелуи руки. Поручику оставалось предложить играть на чистые поцелуи; но он по глупости или по простоте души вздумал предложить играть на локон в знак памяти.

Выиграл локон и — все пропало! Поручик, верно, не знал, что брать локон в знак памяти — недобрый знак, верная разлука. Это испытали все, любившие без теоретических познаний, в первый раз. Сколько погибло через это *первой любви*, самой лучшей любви, любви без сомнений, без подозрений и ревности, любви доверчивой — *каймака* сердца!

Едва Поручик получил выигранный локон и поцеловал трикратно руку Зои,— не вытерпел, чтоб не поторопиться к Анне Тихоновне, которую он совершенно забыл во время игры в *пять карт* и во время антрактов.

— Анна Тихоновна!.. Показать вам штучку? — сказал он ей, сгорая от восторга.

— Что это такое? Портфель, который я вам подарила?

— А в нем-то что? отгадайте!

— Не понимаю.

— Ну, что это значит? — и с этим словом Поручик вынул из портфеля что-то завернутое в ленту и начал целовать.

— Что это такое?.. Какая нежность!

— Отгадайте, чей? — и Поручик показал ей локон прекрасных блестящих русых волос, локон, перевязанный розовой лентой.

— Локон?.. Не знаю чей!..

— Чьему же быть, кроме... той, которую я обожаю!

— Не Зои ли Романовны?

— Так-с — ничего! Выиграл в карты! — сказал Поручик. Облобызав еще сто раз локон, он завернул его осторожно в ленту, положил в портфель и — в боковой мундирный карман, который можно назвать сердечным карманом.

Это *известие* поразило Анну Тихоновну. Сватовство Полковника шло на лад: Наталья Ильинишна и Роман Матвеевич не прочь от него; оставалось только объявить Зое — вдруг является страшная помеха: локон волос!

— Анна Тихоновна,— сказал Поручик,— теперь прошу вас приступить к делу решительно... Сделайте одолжение, объявите желание мое родителям Зои Романовны, потому что я сам не в состоянии сделать предложения; затруднений, кажется, уже не может быть... А в согласии Зои Романовны я уверен.

— Вот как!

— Да; а если будут откладывать, я, право, увезу ее!

Анна Тихоновна испугалась этой решительной угрозы.

— Какие же еще могут быть затруднения? — сказала она.— Теперь вы можете быть уверены... Я сегодня же поеду... Это должно скоро решиться...

— Уж я надеюсь на вас! — вскричал Поручик радостно. Он расцеловал руки Анны Тихоновны и ушел мечтать наедине о блаженстве любви, о женитьбе, об отставке, о роскоши, о своре гончих собак и, наконец, о детях.

XI

Самолюбие и расчет есть два предмета, с которых начинаются почти все главы жизни человеческой. По самолюбию и расчету Анне Тихоновне казалось гораздо и приличнее, и выгоднее быть свахою будущего генерала, нежели будущего штабс-капитана. У ней вскипела кровь от досады, когда Поручик показал ей трофей свой. Во-первых, Анна Тихоновна подумала, что она подарила Поручику портфель своей работы не для того, чтобы он клал в него чужие локоны; а во-вторых, она уже просватала Полковника: отец и мать изъявили согласие, оставалось сказать об этом только Зое, а будущему зятю припасть к стопам ее и просить осчастливить его рукою и сердцем.

Анна Тихоновна, зная, что Поручик с Зоей Романовной могут в короткое время так далеко уйти, что не воротишь, немедленно же послала звать Полковника к себе и объявила ему, что против Поручика он должен принять строгие меры.

— Это что значит?— спросил Полковник, вспыхнув уже начальничьим гневом на Поручика.

— Да так, он поигрывает в карты...

— Неужели? в банк?

— Нет — в дураки.

Полковник захохотал.

— Пожалуй! пусть хоть в носки играет! это не запрещенная игра.

— Запрещенная не запрещенная, а проиграться и обыграть можно до нитки.

— Что за беда! пусть себе играет с кем хочет и проигрывается, лишь бы не в азартную игру.

— По-моему, это азартная игра... Я боюсь за Зою Романовну...

— Как! что! — вскричал Полковник,— с Зоей Романовной?..

— Да.

— Что вы говорите!.. О, да я ему найду место!— грозно произнес он, заходив по комнате.

Когда Анна Тихоновна объяснила ему, в чем дело, он обратился весь в грозу и понесся черной тучей, чтоб разразиться над головой бедного Поручика.

Через полчаса Поручик мчится уже по самонужнейшей казенной надобности, по дороге в Бердичев, для принятия ремонта и ремонтной команды от заболевшего ремонтера. Он не успел проститься с Зоей; едет и все проклинает.

Доехав до первой станции, он бросился на койку смотрителя и предался грустному размышлению.

— Не могу ехать! ей-богу, не могу! — повторял он мысленно, в отчаянии.

Вынул из кармана портфель, из портфеля бумажку, из бумажки локон, он целовал его тысячу раз.

Но лошади готовы — надо ехать!

Во время дороги денщик его что-то бормотал про себя с сердцем, бранился на кого-то...

— Что ты бормочешь? — спросил его Поручик.

— Да как же, ваше благородие, сапоги позабыл на полочке!.. Приспичило! верно, за четверкой вороных к свадьбе!

— К какой свадьбе?

— К какой? вестимо, что к Полковничьей.

— К Полковничьей?

— Чай, вам лучше знать, говорят, женится...

— На ком?

— Да вот на дочке помещичьей.

— На какой помещичьей дочке?

— Да вот, что хорошая такая барышня собою, на большой улице, против квартирной комиссии.

— Кто тебе говорил! — вскричал Поручик так, что денщик испугался и замолчал.

— Говори же!

— Да я, ваше благородие, не знаю, правда то или нет; Полковничьи люди говорили, что барин новый мундир заказывает да дом хочет переделывать, для свадьбы.

— Стой! — вскричал Поручик.

Ямщик остановил лошадей.

— Ворочай назад!.. Ступай назад!.. Я забыл бумаги...

— Слава богу! — пробормотал денщик,— кстати; захвачу свои сапожнишки.

Через четыре часа Поручик въезжал уже обратно в город. Он остановился в первом дворе; оделся, нафабрил усы, велел денщику ожидать себя, никуда не уходить.

— Да я только на квартеру... сапожнишки...

— Ни шагу!

Уж вечерело. Поручик прокрался переулком к дому Романа Матвеевича, прошел несколько раз мимо; Зоя заметила его из окна. И вот он со двора, а она из своей комнаты очутились почти в одно время в гостиной.

Роман Матвеевич был в Киеве, Наталья Ильинишна почивала еще, Зоя встретила гостя.

— А, верно с долгом пришли.

— Нет, Зоя Романовна... Я несчастлив!..

— Что с вами сделалось? садитесь.

Поручик сел подле Зои.

— Вы что-то очень расстроены,— сказала Зоя с участием.

— Совершенно расстроен... Я еду...

— Куда?

— Полковник посылает меня бог знает куда, бог знает надолго ли...

— Как он может посылать!.. Не поезжайте!

— Никак невозможно; это почтут за ослушание, и тогда — беда.

— Какая же беда?

— Выключат из службы.

— Ах, какая беда! Выключат из службы, определитесь в другую.

— Не велят ни в какую принимать.

— Так что ж такое? Вот папинька ни в какой службе не служит.

Поручик не успел еще отвечать на это замечание Зои, как вдруг в передней раздалось громкое:

— Дома?

— Ах, боже мой! — вскричал Поручик вполголоса, побледнев и вскочив с места.

— Чего вы испугались?

— Полковник...

— И очень кстати: я скажу ему, чтоб он вас не посылал.

Полковник расшаркался по зале, вошел в гостиную, взглянул — его бросило в огонь.

— А! Господин Полковник! — вскричала Зоя,— как я рада, что вы пришли!

— Мое почтение! — произнес он к Зое, смотря искоса на Поручика.

— Вы еще здесь? — сказал он, обратясь к нему.

Поручик стоял, как вкопанный.

— Садитесь, Полковник, садитесь, господин Поручик! — сказала Зоя, усаживая обоих.— Господин Полковник,— продолжала она,— я вас прошу не отправлять господина Поручика: ему не хочется ехать, да и меня вы лишите партии...

— Партии-с?.. Никак не могу... Они должны были быть уже в дороге... Дела службы не терпят отлагательства... Они едут-с по самонужнейшей казенной надобности.

— Пустяки, пустяки! — вскричала Зоя.

— Ей-богу, не могу, Зоя Романовна! Для вас бы... я все, что вам угодно... но... Господин Поручик!..

И — он дал знак головой. Поручик понял — двинулся с места и, не говоря ни слова, забыв о Зое, вышел из гостиной.

В зале Полковник сказал что-то ему на ухо. Поручик исчез.

— Это что такое значит, господин Полковник? — сказала Зоя, вспыхнув.— Вы здесь не у себя в учебном сарае распоряжаетесь! Мы принимаем не по чинам, сударь!.. Здесь не площадь, где вы можете командовать вашим подчиненным «направо» и «налево»!

Полковник стоял еще как окаменелый, а Зои уже не было в комнате; она вышла, стукнула за собой дверью и исчезла.

— На кого ты кричала? — спросила Наталья Ильинишна, пробудившись от сна, когда Зоя проходила через ее комнату.

— На человека! — отвечала Зоя.

— Что он сделал?

— Дурак! приходит, когда его не зовут!.. делает все по-своему!

— Верно, пьяница Кузьма? — спросила Наталья Ильинишна; но Зоя ушла уже.

Между тем Полковник очувствовался; он посмотрел вокруг себя — никого нет. Тихонько он вышел из гостиной в залу, из залы пробрался в переднюю, из передней на крыльцо, на улицу, домой. Никогда выговор начальника не действовал так сильно на подчиненного; никогда слова: «Я вас, сударь, арестую; я вас, государь мой, представлю к исключению из службы; я тебя отдам под суд, посажу на хлеб, на воду!» — не пугали так виноватого и не виноватого,

как гнев девушки, как голос, высказывающий презрение, как звуки, заменяющие слова: «Не хлопочи, я не тебя люблю: я люблю его!» Это такие звуки, от которых весь внутренний стройный мир человека обращается в хаос.

— Позвать ко мне Поручика! — сказал, наконец, Полковник, задыхаясь от волнения и стуча зубами от трепета сердца.

При штабной учебной команде Поручик был только один; и потому не нужно было спрашивать: какого поручика?

— Поручик уехал, ваше высокоблагородие,— отвечал денщик,— еще давича уехал.

— Врешь! здесь!

— Ей-богу, уехал, часу в первом.

— Здесь, говорю! на гаубвахте.

Вестовой побежал на гаубвахту; но скоро воротился и донес, что Поручика нет ни на гаубвахте, ни дома.

— Оooo! — вскричал с отчаянным ожесточением Полковник, схватив себя за голову.— Он не уйдет от меня! Я ему дам Зою Романовну!..

Денщик и вестовой стояли руки по швам и молчали во все время этой грозы.

XII

Зоя также в отчаянии; когда гнев ее утих, она залилась слезами, проплакала всю ночь, не выходила из своей комнаты, не говорила ни с кем. Тщетно Наталья Ильинишна допрашивала: что с ней сделалось, что у ней болит, чего ей хочется? — Ничего! — отвечала она.

Прошло несколько дней. Полковник не является, не видать и Маиора, не видать и Прапорщика.

Наталья Ильинишна, зная, сколь необходимо замужество для ее дочери, посылает звать к себе Анну Тихоновну.

— Что это значит,— говорит она ей,— Полковник вот уже с неделю как не был у нас?

— Сама я не могу понять! — отвечает ей Анна Тихоновна, сделав удивительный знак плечами и головой.— Сама я его с тех пор не вижу; с ним, верно, что-нибудь сделалось по полку; я слышала, что он едет в отпуск. Бог знает, что это такое! Я за ним и посылала, просить к себе — все дома нет!

— Стало быть, он раздумал? Странно! искать руки девушки, объявить о желании своем отцу и матери и вдруг раздумать! Это доказывает, что он бесчестный человек! что

у него нет в голове царя! Ему не навязывался никто на шею!

— И конечно, и конечно,— возразила Анна Тихоновна,— женихов и без него вдоволь найдется для Зои Романовны. Я вам откровенно могу сказать, что от меня не отстают: Городничий, Судья наш и Маиор — сватай да сватай! Не всех же сватать!

— Мне кажется, Маиор прекрасный человек? Такой смирной и большой хозяин должен быть.

— Очень хороший человек! Имеет, кажется, небольшое именьице... Судья, правда, богаче их всех и расчетливее, ну, а Городничий немножно старенек для Зои Романовны,— зато у него брат большая рука в Петербурге.

— Мне Маиор очень нравится, я бы и не задумалась отдать за него Зою... А Полковник, признаюсь, мне не по душе: он что-то смотрит не по-человечьи.

— Я намекну Маиору об этом,— сказала Анна Тихоновна,— авось дело и пойдет на лад.

— Благословляю вас! — отвечала Наталья Ильинишна.— Откровенно сказать, мне не хочется, чтоб Зоя засиделась в девках: я повезла бы ее в столицу, да вы, думаю, сами слыхали, что там за женихи...

— Мотыги, продувные! Конечно, уж если выдавать, так в своем городе,— сказала Анна Тихоновна, сбираясь домой.

— Анна Тихоновна, я вам, моя милая, все сбираюсь прислать своих припасов деревенских; похвалюсь вам хозяйством...

— К чему ж это, Наталья Ильинишна.

— И, матушка, бог велел делиться с добрыми людьми.

Заключив прощанье благодарностию за обещаемую присылку хозяйственных припасов, Анна Тихоновна отправилась; а Наталья Ильинишна пошла распоряжаться в чулан — уделять доброму человеку, Анне Тихоновне, от излишества своего, мучки, крупки, зеленого горошку, выписных вологодских груздиков и рыжичков.

Вслед за Анной Тихоновной явился и посланный с возом, наполненным кульками, мешками и кадушками. Приняв все сполна, Анна Тихоновна немедленно же послала за Маиором. Он явился.

— Ну, я уж приступила к делу,— сказала она ему.

— Что такое, Анна Тихоновна?

— Как что? завтра прошу пожаловать к Роману Матвеевичу; я также приеду и — будем говорить, о чем следует.

— Нет уж, Анна Тихоновна, извините...

— В чем извинить?..

— Не могу...

— Это что значит?.. или вы подшутить хотели надо мной!..

— Ах, нет, как можно шутить.

— Вы меня просто в дуру поставили! По вашей же просьбе сватаю вас, получаю согласие; а вы на попятный двор!.. Это, государь мой, не водится!.. Вы теперь уж не можете отказываться!..

— Анна Тихоновна... обстоятельства такого рода... Я бы рад... да... если вам известно...

— Что такое?

— Я имею верное сведение, что Полковник намерен жениться на Зое Романовне.

— Это кто сказал вам?

— Я это наверно знаю.

— Это совершенно ложь! Помилуйте, я сегодня была у Натальи Ильинишны; неужели она бы стала сватать дочь свою за двух в одно время?

— Этого уже я не знаю; знаю только, что Полковник имеет намерение и едет по этому случаю в отпуск.

— Да пусть он имеет намерение; а за вас отдадут Зою Романовну.

— Нет-с, право, не могу!

— Нуууу! — произнесла Анна Тихоновна протяжно.

Анна Тихоновна замолчала после *нууу,* стала смотреть по сторонам; Маиору нечего было говорить. Он встал.

— Извините, Анна Тихоновна...

— Прощайте! — сказала она сухо.

И Маиор неловким шагом отретировался из комнаты.

— Ай да Маиор! нуууу! — проговорила Анна Тихоновна вслед за ним.

XIII

На третий день после этих неприятных событий для расчетов Анны Тихоновны полк получил повеление выступить в поход в 24 часа. Город как будто обмелел внезапно.

Жители необыкновенно как привыкают к военным гостям. После выхода их в маленьком городке наступает какая-то мертвая тишина, опустение; на улицах никто не пошумит; никто, кроме петуха, не повестит зари; не слышно ни раз! ни два! ни музыки, ни барабана; экзерцирхауз стал простым сараем; на солнце не видать набеленных портупей; вооружение стен тесаками и лямками исчезло; фанты и пляски кон-

чились; красные девушки не сидят уже под косящетым окошечком... Все не то, что было!

— И к счастью!— сказала Наталья Ильинишна Анне Тихоновне,— тут бы сосватали, а тут и поход; жди да поджидай, покуда воротится с войны; а может быть, и убьют, чего доброго!

Настал черед, настала честь Судье.

Наталья Ильинишна за ним ухаживает, Анна Тихоновна его умасливает. Дело вперед не идет, а катится: остается только, как выражаются русские сваты и свахи, *уломать* Зою Романовну.

— Зоя, мой друг,— говорит ей опять Наталья Ильинишна,— ты знаешь, как я тебя люблю; тебе известно, как я желаю, чтоб ты была счастлива...

При этих словах Наталья Ильинишна целует ее в чело и продолжает с слезами:

— Мне одно желание остается, чтоб бог привел полелеить на своих руках внучков... С этой радостью я бы и в гроб пошла... Отец твой и я давно думаем о человеке, который бы составил твое счастие... Сердце, мой друг,— змея: не на него должно полагаться детям, во всяком случае, не на свой неопытный разум, а на выбор отца и матери; потому что их лучшее благо есть счастье детей... Ты, верно, столько рассудительна, что не будешь противоречить отцу и матери... Скажи, мой друг, правду ли я говорю?

Зоя внимательно слушала слова матери, опустив глаза в землю и дергая шелковинки из ленты.

— Что ж вам угодно от меня? — спросила она вместо ответа.

— Мы желали бы выдать тебя замуж.

— За кого?

— Для замужества, мой друг, не нужно страсти; нужно только уважение к человеку: привычка всегда обращается в любовь.

— Для меня все равно,— отвечала Зоя равнодушно,— за кого хотите, за того и выдавайте меня замуж.

— Я знала твое благоразумие и выбрала человека умного, хозяина, который не расточит твоего приданого, не пустит ни себя, ни жены по миру... Человек возмужалый, имеет значительное звание, назначен теперь председателем палаты в Киеве, и можно быть уверенной, что женится не на приданом, а по любви...

— Кто ж такой?

— Ты знаешь его... Семен Кузьмич...

Зоя вскочила с места.

— Семен Кузьмич! — вскричала она,— такой толстой!..

— Что ж такое, мой друг, отец твой был толще, когда я выходила за него замуж.

— Так вы хотите отдать меня за Семена Кузьмича?

— Да; это составляет наше желание.

— Что ж, отдавайте! — произнесла Зоя еще равнодушнее, чем прежде.

Наталья Ильинишна никак не воображала, чтоб так легко можно было уговорить Зою; она думала, что нужно будет употребить для этого и материнские ласки, и отцовскую строгость, и просьбы, и слезы, и приказания, и соблазны, и обещания.

Роман Матвеевич не противился желанию Натальи Ильинишны выдать скорее Зою замуж; но также сделал замечание, что Судья слишком толст для Зои.

— Спадет жир, как женится,— сказала Наталья Ильинишна и немедленно же сообщила радостное известие Анне Тихоновне; Анна Тихоновна Судье; Судья запыхтел от полноты своего счастия.

Он заторопил решительное объяснение и свадьбу по причине скорого отъезда своего в Киев, где он в самом деле получил место председателя и куда должен был отправиться по сдаче должности.

В первое же воскресенье назначен был день свидания жениха и невесты.

XIV

В самую полуночь на воскресенье Нелегкий сидел над Днепром в ущелье и насвистывал со скуки арию из «Волшебного стрелка». Ему ужасно как не нравилась эта опера. «Черт знает,— думал он,— это досадно, что люди осмеливаются представлять нас на сцене, и еще в карикатуре, с рогами и с когтями, с свиной мордой и с коровьим хвостом! Откуда взяли они, что наш брат хуже их? откуда они взяли, что мы пугалы гороховые? тогда как мы стараемся подделываться всегда под самое лучшее человеческое лицо, под самую добродетельную наружность, под самую сладчайшую физиогномию! Вот только «Роберт» имеет маленькое сходство; но музыка в «Волшебном стрелке» лучше! Свист очень натурален... фт-тю-тю-тю! фт-тю-тю-тю! чудо!»

— Насилу нашла! — прошипело вдруг над ущельем.

— Пьфу! как ты испугала меня!

— Помоги!

— Опять? что такое?

— Чего — девка-то замуж идет! Дала слово! Думки дома нет, а Сердце глупо; мать сказала: ступай замуж, а она бух: пожалуй!

— Велика беда!

— Не хочу, не хочу свища!

— Глупая баба!

— Не хочу!

— Что ж теперь делать?

— Слетай, голубчик, вихрем за Думкой!

— Что ж из этого будет?

— Как что? Пусть только придет в голову, посмотри, какой содом подымет с Сердцем: дело разведет.

— Да где ж теперь искать Думку?

— Да вот она полетела прямо-прямехонько по этой черте на полночь — не пролетишь мимо.

— А как она занята? Ты сама знаешь, что ее не сдвинешь с места, ничем не уговоришь, покуда сама не захочет.

— Ах ты роскошь! Что ж я буду делать?

— Глупая баба! о чем задумалась! И без Думки можно управиться.

— А каким же способом? скажи!

— Подумаю.

— Помилуй! когда думать! Завтра свиданье, а может быть, и сговор: благословят — все пропало!

— Завтра мы и обработаем статью. Видишь — есть у меня тут проезжий, старый знакомый; я употреблю его в дело. Он торопится в Одессу, да я разбережу старую его рану, он отобьет хоть от кого Зою.

— А как сам женится?

— Вот этого-то и не бойся.

— Да отчего же?

— Да оттого же.

— Поклянись.

— Ну будь я негоден на помело, на котором ведьмы ездят; чтоб мне век кувыркаться на одном месте; чтоб мне подавиться первым камнем, который попадет под ногу!.. Довольно ли? Пожалуй, еще поклянусь...

— Поклянись еще немножко.

— Будь я куриной насестью; чтоб мне век за коровой хвост носить; будь я...

— Ну будет, будет.

— Ах ты, карга вяленая! еще ей клятвы давай! простому слову не верит!

— Не сердись же, не сердись! ведь это так водится.

— И видно, что в людях жила!

XV

В воскресенье, около шести часов вечера, Судья сидел уже перед зеркалом. Его помадили и завивали. Когда кончилась прическа, он стал одеваться — оделся, устал, вспотел; надо было отдохнуть и успокоить волнение чувств.

Несмотря на то, что дом Романа Матвеевича был напротив его дома и стоило только перейти через улицу, он велел заложить дрожки, поехал — приехал.

Поднявшись на ступеньки крыльца, он отер еще раз градины, скатывающиеся с чела, и продолжал путь, не спрашивая, дома ли Роман Матвеевич.

Судья был жданый гость; двери перед ним растворились, хозяин встречает, хозяйка усаживает; Анна Тихоновна заседает уже на большом месте на диване.

Разговор в ожидании выхода невесты начинается с обычного: Все ли в добром здоровье? — Слава богу! — Сегодня, кажется, холодновато на дворе? — Нельзя сказать — и т. д.

— Так вот,— сказала Анна Тихоновна, прерывая гостиные разговоры,— теперь я могу вас, Семен Кузьмич, при Романе Матвеевиче и при Наталье Ильинишне поздравить с исполнением ваших желаний!

— Так точно,— сказал Роман Матвеевич,— мы сердечно радуемся...

— Мы сердечно радуемся...— прервала его Наталья Ильинишна.

Еще речь была не кончена,— Судья приподнялся уже со стула, поклонился Наталье Ильинишне, потом Роману Матвеевичу, хотел говорить — как вдруг вошла в комнату разряженная Зоя.

— Вот кстати и дочь моя,— сказал Роман Матвеевич.

— Зоя,— сказала Наталья Ильинишна,— рекомендуем тебе...

Вдруг послышались чьи-то шаги в зале, и кто-то шаркнул в дверях и заговорил:

— Проезжая мимо, я не мог преминуть засвидетельствовать мое почтение, Роман Матвеевич, Наталья Ильинишна, Зоя Романовна!.. Я поставил долгом быть у вас... Я не мог забыть ваших ласк...

— Ах, Порфирий Петрович! — вскричала Зоя.

— Неужели Порфирий Петрович! — сказала довольно сухо Наталья Ильинишна.

— Я бы вас никак не узнал,— сказал и Роман Матвеевич,— усы, бакенбарды, испанская бородка...

— Проклятый! черт его принес! — шепнул Судья Анне Тихоновне.

— Ах, он... кто ему сказал? — подумал Нелегкий, который тут же был инкогнито.

Роман Матвеевич и Наталья Ильинишна не обращали внимания на Поэта и, чтоб показать, что он лишний, отвернулись от него, заговорили с Судьей и Анной Тихоновной.

Но Поэт мало заботился об этом; он сел подле Зои в противном уголу комнаты и, подавая ей книгу, сказал тихо:

— Зоя Романовна, я нарочно приехал, чтоб вручить экземпляр моих сочинений, посвященных вам; надеюсь, что вы примете мое приношение.

— Как я вам благодарна,— отвечала Зоя,— а еще более благодарна за то, что вы вспомнили нас. Вы не поверите, как здесь скучно было в это время... Я умираю со скуки!

— Видеть вас и не желать видеть всегда — это невозможно, по крайней мере, для меня.

— Вы научились в столице льстить,— сказала Зоя, потупив глаза и нежно подняв их снова на Поэта.

— О, нет, это не лесть... Скажите, сделайте одолжение, кто этот толстый господин?

— Это здешний Судья. Как будто вы не узнали его?

— Что вы говорите! — сказал Поэт, прищуря и приставив к глазам лорнет.— Я не верю! неужели он из пустой простой бочки стал пустой сорокаведерной?.. А эта дама в чепце все та же Анна Тихоновна?

— Какая у вас память!

— Как она похожа на сваху!.. Берегитесь, Зоя Романовна: она просватает вас за какого-нибудь толстого Судью.

Зоя вспыхнула.

Между тем как она вполне предалась беседе с Поэтом, разговор между Натальей Ильинишной, Анной Тихоновной и Судьей утихал; все они сидели как на иголках и дулись. Роман Матвеевич прохаживался по комнатам, то заложив руку назад, то пощелкивая пальцами. Наталья Ильинишна утомилась развлекать внимание жениха, с которого пот лил градом; он пыхтел с досады, посматривая на Поэта,

беседующего с Зоей. Хитрая Зоя, чтоб задержать долее Поэта и отделаться от жениха, просила Порфирия прочитать что-нибудь из его стихотворений.

Читать свои произведения по просьбе есть одно из высочайших наслаждений почти для всех поэтов без исключения. Порфирий прочел одно стихотворение на выбор.

— Ах, как мило! — сказала Зоя,— прочитайте еще что-нибудь!.. Не правда ли, что очень мило? — повторила Зоя, обращаясь к матери и Анне Тихоновне.

— Очень! — произнесла Анна Тихоновна.

А между тем Поэт выбрал уже другую пиэсу: *отрывок из неоконченной поэмы.* Начинает читать. Отрывок очень длинен.

Зоя восхищается.

Роман Матвеевич тоже некогда был любителем стихов; он прислушивается и иногда произносит: «Славно, славно! очень удачно!» И на Наталью Ильинишну подействовали стопы, рифмы и цезура.

Анна Тихоновна тоже не хочет показать, что она не понимает стихов, и она слушает. Только Судья дуется и мысленно не хочет слушать; но слушает поневоле. Всякое чтение, даже чтение дел в суде, на него действовало усыпительно, а стихи — стихи есть совершенный опиум: небольшой прием оживляет чувства, а прием усиленный наводит страшную дремоту. У Судьи стали липнуть глаза; тщетно он силился действовать своею волею на веки очей своих... В дополнение к этому несчастию ему пришел на память магнетизер.

Поэт разгорячился, зачитал бы всех; но в самое то время, как он начал читать сладостным голосом о надеждах любви, сравнивая их с вольными пугливыми пернатыми,— вдруг Судья так всхрапнул, что все вздрогнули. Поэт умолк... Все оглянулись. Судья, раскинувшись на креслах, был погружен в глубокий сон.

Анна Тихоновна хотела дернуть его за руку, но он так свистнул носом и снова так всхрапнул, что Анна Тихоновна отшатнулась.

— Пойдемте в другую комнату,— сказал Роман Матвеевич, пожав плечами,— пойдемте, чтоб не разбудить господина Судью; он, кажется, расположился здесь на ночлег!

Анна Тихоновна сгорела от стыда.

— Что это за невежество! — прошептала вслух Наталья Ильинишна.

— Пойдемте в другую комнату,— повторила и Зоя, обращаясь к Поэту.

Все вышли, кроме Анны Тихоновны. Она дернула Судью за руку:

— Семен Кузьмич!

Семен Кузьмич храпит, как убитый.

Она схватила его за воротник, затрясла изо всей силы:

— Семен Кузьмич!

— А? Хрррр! Трррр!..

Анна Тихоновна отскочила от него.

— Тяни! — пробормотал Судья сквозь сон, приподнимая ногу.

Анна Тихоновна бросилась вон, скрылась.

— Эй! — вскричал Роман Матвеевич к людям,— когда проснется господин Судья, скажите, что экипаж его подан!

Двое слуг стали караульными подле сонного Судьи и хохотали в горсть в ожидании его пробуждения.

Вдруг он повернулся; на креслах, верно, неловко было лежать.

— Кузька!.. дай руку!..— пробормотал он опять сквозь сон.— Веди!.. в спальню!..

Двое слуг приподняли его с кресел, повели вон, третий надел ему на голову шляпу. Выпроводили на крыльцо, дотащили до дрожек, усадили кое-как и — велели кучеру ехать домой.

— Ну, угостили! — сказал кучер.

Судья, воображая себя на постеле, развалился на дрожках и захрапел во всю улицу.

В целом доме Романа Матвеевича поднялся хохот.

XVI

— Я тебе говорил, Наташа, что Судья слишком толст и слишком прост,— говорил на другой день Роман Матвеевич Наталье Ильинишне.

— Ужа́с сколько страму наделал! и при постороннем человеке! Что, если б это случилось в день свадьбы! Нет, я слагаю с себя заботу выбирать жениха Зое: мой выбор несчастлив; пусть сама ищет по сердцу; мое дело будет не противиться. Будет счастлива — хорошо; а нет — вини сама себя.

— И гораздо лучше.

К вечеру явился Поэт с пуком новых стихотворений своих. Началось новое чтение. Однако ж отец и мать предоставили одной Зое слушать их. Наталья Ильинишна не любила стихов; а Роман Матвеевич, хотя и любил смолоду,

да ему казалось, что новейшие поэты — не поэты, а так, ни то ни се: где им поэмы писать!

Несколько дней продолжалось чтение одной драмы в 6-ти картинах, в 5 действиях и, сверх того, еще в нескольких отделениях, с хорами и балетами.

Наталья Ильинишна по пословице «чем бы дитя ни играло, лишь бы не плакало» предоставила Зое и занимать гостя, и заниматься гостем: слушать его драмы и играть с ним в *петербуржскую*.

Но Ведьма стережет Зою, как глаз свой. Материнским оком посматривает она на игру сквозь вьюшку. День ото дня ей становится не легче. Однажды, от ужаса, она так свистнула в трубе, что Поэт отскочил от Зои, которая платила ему проигрыш.

— Что это? — спросил он шепотом.

— Это ветер в трубе дует,— отвечала Зоя. Между тем Ведьма успела уже привезти на помеле Нелегкого.

— Ах ты, непршиемный!— говорила она ему,— да ты подшутил надо мной! навязал на шею такого... такого...

— Какого?

— Какого! какого-то книжного: зачитал мою девицу так, что теперь ничем не отчитаешь.

— Пустяки! только стоит взять ей тетрадь его в руки да перелистовать — как раз отчитается... Смотри!

Нелегкий увился около Зои; она взяла тетрадь Поэта, развернула, и глаза ее пробежали по следующему заглавию стихов:

«Моей Юлии в день нашей свадьбы».
Октября.— Года.

Быстро перевернула она листок, вся вспыхнула. В это время Поэт хотел взять ее руку.

— Что это за кольцо у вас на руке? — сказала Зоя, отдернув свою руку.

— Это... это...— отвечал Поэт, несколько смутившись.

— Покажите!

— Это...— проговорил Поэт, снимая кольцо.

Зоя схватила кольцо и взглянула на надпись внутри.

— Это обручальное! — сказала она, перервав слова Поэта.— Вашу жену зовут Юлией? Прекрасное имя! Она также, верно, едет с вами в Одессу? Какие прекрасные стихи написали вы ей в день свадьбы!

Зоя откинула листок тетради, начала читать стихи «Моей Юлии в день нашей свадьбы».

Смущенный Поэт, казалось, что-то говорил, но язык его был безгласен.

— Прекрасные стихи! — повторила Зоя.— Однако ж, кажется, пора пить чай!.. Вы, пожалоста, не уходите до чаю... напейтесь у нас чаю.

И не дав времени собраться Поэту с духом, она вскочила с места и вышла из комнаты.

— У меня голова болит,— сказала она матери,— я пойду в свою комнату; гость остался один в гостиной.

— Один? я пойду посижу с ним,— сказала Наталья Ильинишна.

Она вышла в гостиную, завела с Поэтом разговор о Петербурге; но он, однако ж, не дождался чаю,— его торопило какое-то дело.

Прошел день, другой, третий...

— Что это значит, что не показывается к нам Порфирий Петрович? — спросила Наталья Ильинишна Зою.

— Он, я думаю, уехал в Одессу,— отвечала Зоя сухо.

— Как же это — не простившись?

— К чему ж нам его прощанья? что за родной такой?..

— Вероятно, на короткое время?..

— Хоть бы навсегда: мне он надоел своими стихами.

Наталья Ильинишна вздохнула.

XVII

Сердце Зои, казалось, ожесточилось против всех мужчин без исключения. Она не садилась уже подле окошка. По большой улице никто не проходил и не проезжал, кроме Городничего в квартирную комиссию.

Сердце может только любить и сердиться; Зоя никого не любила, оставалось сердиться на всех вообще.

Городничий, еще во время приезда князя Лиманского, узнав, что он женится на Зое, отложил попечения своего сердца; но продолжал в неделю раз посещать Романа Матвеевича, играть с ним в карты и посматривать иногда на Зою Романовну.

Потом прослышал он, что на Зое женится Полковник, это опять охладило его надежды; но когда уверился он, что все слухи насчет свадеб ложны и в городе остался только он холостой да подполковник Эбергард Виллибальдович,— сердце его возгорелось снова, и он стал посещать Романа Матвеевича чаще, смотреть на Зою пристальнее и даже заговаривать с ней о погоде.

В это самое время поселился в городе какой-то помещик. В городе заговорили про красоту его дочери; эти слухи дошли до Зои, и — в первый раз забилось ее сердце от ревности самолюбия. Зоя не желала знакомиться с ней, однако же желала ее видеть. Нарочно поехала в церковь, чтоб стать на очную ставку и затмить собою новое солнце,— но на Зою уже насмотрелись, а в Эвелину только еще начинали всматриваться. Зоя была прекрасна, а Эвелина мила; взор Зои сыпал горячие искры, был горд, властителен, не поникал ни перед кем; взгляд Эвелины был томен, полон чувства нежного, пленяющего. Сердце Зои во всяком случае должно было принимать с унижением собственного сердца, как великодушный дар; а сердце Эвелины можно было только выменять на свое.

Все засмотрелось на Эвелину; только Городничий, верный и постоянный по чувствам, не изменил удивлению своему к красоте Зои. Он подошел к ней и, по обычаю, почтительно поклонился.

— Это-то прославленная красавица? — спросила она его.

Тон, которым говорят подобные слова, понятен для каждого, кто ищет что-нибудь в вопрошающей и желает угодить ее самолюбию.

— Не знаю как для других,— отвечал он,— а мне она совсем не нравится: в лице нет никакого выражения.

Ответ был по душе Зое, она жаждала наговориться насчет Эвелины; Зое нужен был уже человек, который бы успокоил ее самолюбие, говорил бы ей: Эвелина нехороша, дурна, даже безобразна; в сравнении с вашей красотой, уподобляющейся светилу небесному, красота Эвелины блудящий огонь, без света, без лучей.

— Вы редко бываете у нас,— сказала Зоя Городничему,— приезжайте сегодня на вечер.

Он приехал с восторгом в душе; Зоя сама завела с ним разговор, ласковый, очаровывающий, свела на Эвелину, и — Городничий, увлеченный сравнениями, высказал ей, что нет другой Зои Романовны в целом свете, во всей поднебесной, подлунной и подсолнечной.

— Анна Тихоновна! — вскричал он, прибежав от Романа Матвеевича к жене Стряпчего,— я намерен решительно приступить к делу!..

— К какому?

— Как к какому? неужели вы забыли?

— Не Зоя ли Романовна? Старая песня!

— Теперь я не вижу никаких препятствий; притом же, я заметил...

— Полноте воображать! придумывать глупости! Вам ли справиться с таким золотом? Сколько за нее сваталось — и все бежали; да и сама я, как пораскусила ее... охохо! признаюсь, охота прошла сватать за доброго человека... Да что ж вы думаете? Если б я только хотела, давно бы она была вашей женой. Отец и мать радехоньки сбыть с рук такое нещечко; но я и думать перестала... Говорят про богатство — да что ж в нем? при жизни ничего не дают за ней, кроме нужного, да еще с условием, чтоб зять жил в доме их на всем на готовом... Весело закабалить себя... А вы еще и ровесники Роман Матвеевичу — дожидайтесь наследства!

— Оно правда...— сказал Городничий, задумавшись.

— Если вам уж так хочется жениться, то мы найдем невесту: недалеко приезжая... получше Зои Романовны!

— Нет, нет! Анна Тихоновна, я против сердца не женюсь, ни за что не женюсь.

— Подумайте-ко.

Городничий задумался; но разговор был прерван приездом Стряпчего.

Конец третьей части

ЧАСТЬ IV



I

Между тем... посмотрим, что делается с Думкой — Совой Савельевной, которую выпустила Ведьма погулять на белом свете: себя показать и людей посмотреть.

Перелетела она за Днепр, села на вершине высокой ели, уставила глаза в тьму, посмотрела на окрестности и потом стала думать, куда ей лететь? — Лететь не трудно,— рассуждала она,— но куда же прилетишь? Полететь на полуночь, прилетишь к полуночи; полететь на восток — к востоку; на полдень — к полудню; на запад — к западу... Это так; да где лучше?.. там или там?..

Сова Савельевна заворочалась во все стороны; думала, думала... как тут быть? Хотела было лететь куда глаза глядят — вспорхнула... да нет, постой, лучше спросить у кого-нибудь, где путь-дорога; а спросить не у кого: порхает только малюсенький ветерок-баловень — что ж он знает!

Истомила нерешительность Думку: хоть домой воротиться.

Вдруг — шум вдали, все ближе да ближе; зашелестели листья, закачались вершины, Днепр покрылся чешуей, покатил волны клубом... Летит-гудит Северный ветер, куда-то торопится.

— Ах, вот спрошу,— подумала Сова Савельевна.— Дружок, а дружок!

— Я не дружок!

— Милостивый государь...

— Ш-ш-ш-ш-то?

— Куда торопишься? постой — спросить.

— Некогда!.. Воевать иду... Ю-ж-ж-ж-ный... Самум того и гляди ворвется в границы, сожжет, опалит весь Север... Идет уже по Средиземному...

— Скажи только, откуда ты?

— С Ледовитого.

— Скажи, не знаешь ли, где дорога в большой свет?

— Уж где быть большому свету, как не в Северной столице? Там тьма фонарей.

— Хорошо там?

— И сказать нельзя, как хорошо! Бесподобно как холодно! Холодный ум, холодное рассуждение, холодная красота, холодное сердце, чувство, душа; холодный расчет и холодные приемы... Бесподобно!

— Ах, как я рада! Здесь такая духота, что ужас! По крайней мере, простужусь немного,— подумала Сова Савельевна.— Каким бы образом мне туда попасть и не сбиться с дороги?

— Уставь на меня глаза, я намагничу твой нос — и ступай по направлению носа, все прямо да прямо: намагниченный нос будет воротить к северу — никак не собьешься с пути; а большой свет узнаешь по фонарям.

— Благодарю за наставление! — сказала Думка Сова Савельевна, уставив глаза прямо против ветра.— Желаю тебе победы над Южным!

— Да, хочется мне присоединить к моим владениям Африку и завалить ее снегом... Уж я подберусь к ней!.. Что, чувствуешь что-нибудь на кончике носа?

— Да: точно как будто кто-нибудь тянет за нос.

— Держись крепче, до тех пор, покуда стянет с места: надо больше намагнитить, потому что путь далек; надо, чтоб магнит не истощился во время дороги.

Не успел еще Ветер кончить речи, как вдруг Сову Савельевну как будто что-то ухватило за нос щипцами и потянуло вперед да вперед, на север. Она едва успевает крыльями перепархивать. Летит по черте под 48° восточной долготы. И летела она долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, только когда в глазах ее стало смеркаться, а на дворе рассветать, она уже подлетала к какому-то городу, который лежал как раз на пути.

— Надо отдохнуть,— подумала она,— день застанет — беда: глаз выколешь.

И вот опустилась она в город. Видит открытое окошечко на чердаке — парх в него, села и — испугалась.

Перед окошком сидел бледный еврей; нос его был оседлан

очками, в руке его был сальный огарок, которым он освещал от правой руки к левой строке книги, лежавшей перед ним.

Он читал песнь *Хадаакам,* о великой щуке Левиафане, глотающей ежедневно карася в три мили величиной, и о великом быке, съедающем ежедневно по нескольку тысяч гор, которые на пиршестве, во время пришествия мессии, подастся на блюде, за столом, где будет сидеть весь еврейский народ; и, наконец, о птице, которая однажды на лету выронила яйцо, яйцо упало на землю, сломало кедровый лес, разбилось и затопило желтком и белком целую область.

В минуту углубления ученого еврея в сказания Талмуда Сова Савельевна хлопнулась с полету на книгу... Еврей вздрогнул... Созерцая в думах величину яйца, с испугом вообразил он, что это упало яйцо: но, всматриваясь вытаращенными глазами в Сову Савельевну, он более и более удостоверялся, что это не яйцо, а сама птица. Волосы у него стали дыбом.

Сова Савельевна уставила очи на него, а он на нее, и — глядят... И видит ученый еврей, как сидящая перед ним птица растет-растет-растет, больше и больше...

А Сова Савельевна видит: растут у него глаза, больше и больше.

И испугались они друг друга.

Гукнула Сова Савельевна, порхнула в окно.

— Вай-мир! — вскричал ученый еврей и опрокинулся назад на пол.

II

Передневав кое-как на первом попавшемся дереве, Сова Савельевна пустилась в путь, далее на север. На третью ночь открылся вдали ужасный блеск, точно купа звезд посреди темной пучины.

— Вот где большой свет! — подумала Сова Савельевна.— Фу, сколько черных лучей! Не понимаю, что за глаза у людей: не могут переносить ночного мрака? Очень нужно темнить его огнем! Какая стукотня! какая езда! Вот и видно, где умные люди живут: не спят по ночам — дело делают... Где бы мне пристать, хоть на время?

— Куда едешь? — раздался голос подле.

— В большой свет, братец! — отвечал кто-то, сходя с крыльца и садясь на дрожки.

— Ах, какой счастливый случай! Он меня довезет до большого света! — подумала Совушка, моргнула глазами,

хлопнула крыльями, перекинулась в Думку-невидимку и присела на широком челе, под хохлом ехавшего на дрожках.

Он, верно, почувствовал ее на челе своем и произнес:

Иссякла суета сердечных лет,
И дума на моем челе гнездится!
. . . .
Что было (вздох) — того уж нет!
Что есть (другой) — то не годится!

— Браво! это Поэт! и какой проницательный: узнал, что я села на челе!

— Нет, нет! — продолжал господин, ехавший на дрожках с Думой на челе,— не буду писать стихов!

Он их не стоит, этот век!
Да! сердце плачет, сердце ноет;
Но истину Поэт изрек:
Не стоит он стихов, не стоит!

— Не стоит, просто не стоит! не буду писать и не буду!.. Теперь мода на пошлые статейки, буду писать статейки... К завтрему же напишу статейку под заглавием «Санктпетербуржская ночь»!.. Сей час же обдумаю; а возвратясь домой, напишу...

«О, как прекрасна ночь Севера, посреди волшебного града на берегах Невы! Над головою, по темному бархату неба, рассыпаны миллионы блестящих миров, с миллионами существ печальных и радостных... Переносясь мыслию через неизмеримые пространства неба, воображение отдыхает на какой-нибудь едва заметной для взора звезде и видит неизмеримые ее горы и моря; освежает себя прохладным благоуханием садов Эрмидиных; тешится журчанием потоков, очаровательной песнью пернатых... О! там оне поют согласно, голоса их сливаются в гармонию, от которой тает сердце, замирает душа!.. Что это? весь заоблачный мир населен девами? Неужели это тот эдем, который Магомет обещал правоверным?.. Неужели для них заготовлены эти пленительные вечно юные существа? о, Аллах! за какое преступление ты наказываешь этих очаровательных дев?.. За что обречена эта воздушная Гурия, облеченная в красоту неземную,— за что обречена она тешить какой-нибудь скелет Дервиша, обросший волосами и струпьями? Что она сделала?..»

— Начало очень удачно вылилось! потом:

«Стоя на мосту, опоясывающем величественную Неву, все чувства невольно текут вслед за волнами... или мчатся на корабле в океан... Берега Европы, Азии, Африки и Амери-

ки бегут; только созерцающий неподвижен посреди шумного моря и бурного неба».

— Славно! Тут следует поместить описание роскошной Индии, пламенеющей Африки, священной Азии и просвещенной Европы... Это можно выписать хоть из путешествий с детьми вокруг света... Потом:

«Обнимая взором озаренные тысячами огней громадные здания, кажется, видишь себя посреди древних Фив, во времена Сезостриса, возвратившегося с побед в Азию и торжествующего...»

— Какие внушения! Где сильнее могут развернуться подобные мысли, как не в великолепном граде Севера?

«Остановясь подле Египетской пристани и вглядываясь в сфинксов, кажется, видишь всю сфинксовую Лукзорскую аллею...»

— *Прpp!— приехали,— сказал извозчик, отряхаясь.*

— Ах, досада! Если б не обещал Юлии привезти сегодня свои сочинения — воротился бы домой... Надо бы записать скорей все впечатления; а то забудешь.

— Приехали, барин,— повторил извозчик.

Господин с Думой на челе соскочил с дрожек, вбежал на крыльцо, в переднюю, выхватил из кармана гребеночку, начал взбивать хохол, поправлять, приглаживать волоса и — согнал Думку-невидимку с чела. Она с испугом бросилась в отворенные двери и очутилась, как говорится не по-русски, посреди салона, где было много гостей. Не зная куда приютиться, ибо все было занято шумным, не требующим размышления разговором, она присела было под огромный блондовый чепчик, между двух шелковых локонов, на тесное чело одной почтенной дамы, у которой недоставало ни соседа, ни беседы; но не могла усидеть: копошилась-копошилась, вертелась-вертелась — духота смертная! «Ай-ай-ай! да это не чело, а верх глупости!» — подумала наша Невидимка и стала вглядываться во всех окружающих: где бы поместиться? И увидела она одну девушку, которая внимательно вслушивалась в слова квадратного господина, утверждавшего, что в каждом человеке таятся семена всех болезней, что все они стремятся к развитию и что человек болен чем-нибудь каждую минуту. Например,— говорил он,— девушка танцовала, раскалилась от танцев, выпила стакан холодной воды — кончено! этим стаканом воды полила она семя чахотки.

Не успел еще квадратный господин кончить этих слов,

Думка перенеслась на прекрасное, открытое чело девушки... Вдруг девушка побледнела, вскочила с места, вышла из комнаты.

— Что с тобой, Юленька?— спросила ее другая, которая, заметив ее дурноту, вышла вслед за ней.

— Ничего... так!

— Что это значит: ты плачешь?.. отвечай же?

— Ничего!

— Как ничего, Жюли?

— У меня болит бок,— произнесла, наконец, сквозь слезы хозяйка Думки-невидимки.

— Это, верно, от корсета... Постой, я тебе распущу.

— Нет-нет-нет! все равно!.. У всех от корсета!..

— Ну, это просто так...

— Нет не *так*!.. я чувствую, что это недаром!

— Какая ты мнительная! у меня очень часто болит бок, да я об этом и не думаю.

— Болит, да не так.

— Давно ли у тебя болит?

— Уж давно... Верно, с тех пор, как я напилась после танцев холодной воды.

— Ты говорила *вашему* доктору?

— Говорила... Этот чудак все говорит: ничего, ничего! это от корсета!.. От корсета! отчего же от корсета болит только один бок, а не оба?.. Как будто я не чувствую, жмет мне корсет или нет... Смешно! взобрали в голову: от корсета! и маминька верит этому; а на мне корсет, как мешок... попробуй!

— Ну, нет, довольно туго.

— Ах, пожалоста, Александринё, не уверяй меня!.. Это смешно! всю руку можно подсунуть.

— Теперь тебе лучше?.. Пойдем в залу.

— Не пойду... Скучно!

— Неловко, Жюли, у вас гости, а тебя нет... пойдем!.. Скажи, пожалоста, что это за новое *лицо*: приехал после всех, с хохлом, в очках?

— Это какой-то сочинитель; брат познакомил его с нами на днях.

— Что он сочиняет?

— Не знаю, какую-то книжку; он мне хотел подарить свои сочинения.

— Ты дашь мне почитать?

— Пожалуй.

Юлия и Александрина вышли в залу.

Там еще продолжался разговор о разных методах лечения.

Господин сочинитель, приехавший на дрожках, играл значительную роль и удивлял всех глубокими сведениями в медицине. Заметив Юлию в другой комнате только вдвоем с подругой, он отклонил от себя разговор, подошел к ней и представил маленький томик своих сочинений.

— *Мои мечты*,— сказал он ей.

Юлия поблагодарила его и завела разговор о литтературе.

Александрине стало скучно слушать этот разговор, она увернулась, отошла.

— Какие прекрасные стихи! — сказала Юлия, развернув книгу и пробежав несколько строчек.— Я удивляюсь, каким образом Поэт может иметь такие сведения в медицине, какие вы имеете, сколько могу заключить из слышанного разговора?

— Не удивляйтесь этому,— отвечал Поэт,— медицина была первою моею страстью; я проходил курс в университете по медицинскому отделению.

— Для чего же вы оставили медицину?

— Я бы посвятил себя этому благодетельному искусству, которое изучил глубоко; но сознаюсь вам, я рожден для общества, а будучи медиком, почти совершенно некогда быть участником в удовольствиях общества; притом же меня обольстили первые мои опыты в поэзии. Человек заключает в себе все способности; какую разовьет он более, та и приносит общую пользу.

Юлия вздрогнула от этих слов, напомнивших ей подобное же положение квадратного господина о болезнях в человеке.

— Правда,— отвечала она,— однако ж согласитесь, что может быть пленительнее мысли: быть спасителем жизни человеческой?.. Я ставлю медицину выше всех познаний, и звание медика в моих глазах достойнее всех званий.

— Если б я слышал от вас эти слова за год назад, я был бы непременно медиком!

— Однако ж вы, верно, не оставили совершенно медицины?!

— Почти; но я иногда даю советы коротким моим друзьям; я даже имею право прописывать рецепты, знаю клинику, рецептуру и составление лекарств.

— И вы все это хотите оставить, забыть?

— О, нет, забыть трудно то, что хорошо знаешь.

— Скажите, вы согласны с мнением, что в человеке заключаются семена всех болезней?

— Это новейшее мнение, и я не могу противоречить ему: тело человека есть корабль, и искусный кормчий должен всегда иметь целию здоровье и отклонять его от всех опасностей.

Разговор был прерван сборами танцовать.

— Вы танцуете? — спросила Юлия Поэта.

— Если позволите вас ангажировать.

— С особенным удовольствием! — отвечала Юлия и во время кадрили совершенно обворожила восторженную душу его.

— О, Юлия, Юлия! как ты очаровательна! — повторял он, отправляясь домой на запоздавшем извозчике, которого судьба послала ему на половине пути от дому.— Сколько ума и милого простодушия в тебе!..

О, Зо... ох!.. о, Юлия!.. Есть, есть симпатия между сердцами! есть что-то в нас, говорящее двум существам, встречающимся в первый раз: «Вы давно уже знакомы, вы созданы друг для друга»... Как чистосердечны, безбоязненно-откровенны были со мной ее взоры! С первого мгновения душа ее не таилась от меня! «Вы будете у нас во вторник?» — повторила она несколько раз, таким голосом... таким голосом!.. голосом любящего сердца!..

По приезде домой Поэт поставил против себя кругленькое зеркальце на столбике — и стал всматриваться в него.

III

Когда настал вторник и в известный час вечера явился Поэт, глаза Юлии заблистали, лицо одушевилось, вспыхнул легонький румянец; казалось, что она в первый еще раз полюбила, и полюбила любовью страстной, удовлетворяющей и душу, и сердце.

Опять завела она с ним разговор о литтературе, склонила на литтературу медицинскую и советовала ему соединить обе свои способности.

— Неужели,— говорила она ему,— природа без всякой цели одарила вас двумя талантами? отчего бы не сочинять вам повести и романы медицинские?

— Ах, какая мысль,— вскричал Поэт.— В самом деле: описать различие любви здорового человека и больного; влияние лекарств на расположение духа и, следовательно, на обстоятельства; или, например, случаи, в которых любовь

препятствует действию лекарств... или развитию болезней...

— И развитию болезней?

— О, разумеется.

— Как бы благодетельно было, если б в легких приятных рассказах вы изложили главные и начальные признаки болезней, средства к предохранению себя от развития их... Как это необходимо знать каждому; а между тем, возможно ли читать ученые медицинские книги? в них ничего не поймешь.

— Это... конечно; но вот видите ли: по признакам самому в себе можно ошибаться, и руководство медика необходимо.

— Ах, боже мой, теперь так много медиков не по призванию и таланту, а только по ремеслу, для которых я больная гораздо интереснее здоровой... Нет! я поверила бы себя только тому, кто дорожил бы здоровьем моим...

После этих слов Юлия вздохнула; разговор был прерван; но она успела повторить приглашение на вторник и на субботу. От вторника до субботы и от субботы до вторника Юлия не только грустна, Юлия больна: лицо ее бледно, глаза впалы; у ней то головная боль, то кружение головы, то биение сердца, то озноб, то жар, то бок болит: в промежутках субботы и вторника непременно развертывается в ней семя какой-нибудь болезни. Настанет вторник или суббота — Юлия оживает, просит брата своего, чтоб он съездил к другу своему, попросил для нее книг, привез его на вечер...

Он приедет, и — Юлия вдруг здорова, весела, румянец загорается, глаза заблестят.

Взаимное искательство быстро сближает; разговоры неистощимы, особенно медицина — страсть Юлии: она расспрашивает его о различных признаках разных болезней, рассказывает, что сама иногда чувствует. Она видела страшный сон — отчего это? У нее болело под *ложечкой* —что это значит? Ей теснило грудь — не опасно ли это? Но когда приходило время расставанья и приличие требовало взять уже в руки шляпу,— «Погодите, куда вы торопитесь?» — говорила Юлия умоляющим голосом и начинала расспрашивать милого Поэта-медика о его сочинениях, задевала за слабую его струну, и эта струна отзывалась долгою речью о вдохновениях поэтических или тирадой наизусть.

Вскоре Поэт делается неразлучным другом брата Юлии: брат Юлии также пописывает стишки. Комната брата ста-

новится rendez-vous невинной, симпатической любви, которой наслаждения состояли в разговорах о литтературе и медицине.

— Погодите, погодите уходить! — сказала однажды Юлия, вырывая шляпу из рук Поэта.

— Мне необходимо идти! — отвечал он.

— Забудьте все дела... для меня! — сказала Юлия, бросив на него умоляющий взор.

— Ах, Юлия! — воскликнул Поэт, схватив ее руку. И в полноте чувств он не мог продолжать.

Юлия не отняла руки; он осмелился осыпать ее поцелуями.

— Если б... я мог посвятить вам все минуты моей жизни! — произнес он наконец.

— Это от вас зависит...— произнесла Юлия, вспыхнув; взор ее опал, грудь заволновалась сильно-сильно, и она вдруг побледнела.

— Могу! — воскликнул Поэт.

— Ах! помогите... мне дурно... умираю!..— едва проговорила Юлия ослабелым, трепещущим голосом.

Поэт в восторге почти не слыхал ее жалобы; он снова хотел осыпать руку Юлии поцелуями.

— Помогите!— повторила она.

— Что с вами?— спросил испуганный Поэт, заметив ее бледность.

— Ах!.. дурно!

— Не пугайтесь, Юлия!.. это волнение, это ничего! — проговорил Поэт, опуская ее похолодевшую руку.

— Нет... я больна!.. попробуйте пульс...

Поэт снова берет руку ее, прислушивается к биению пульса, считает...

— Что?

— Немного неправилен...

— Ах, я больна — скажите, чем я больна?— произносит Юлия жалобным голосом.

Напрасно Поэт уверяет ее, что это произошло от испуга волнения, что она слишком чувствительна, что на нее сильно подействовало чувство. «Нет, вы скрываете от меня болезнь мою»,— говорит она и просит его совета, просит, чтоб он прописал ей что-нибудь успокоительное, просит, чтоб он съездил сам скорее за лекарством. Поэт схватил шляпу, хотел было поцеловать руку; но она повторила: «Скорее!»

— Сейчас! — отвечал он и — исчез счастливцем.

— Как она меня любит! — твердил он дорогой, почти вслух,— как сильна страсть ее! Сердце ее совсем готово было выпрыгнуть! мой поцелуй потряс всю систему нежного ее организма! О, Юлия!..

IV

У Юлии было шесть подруг-приятельниц: княжна Маланья, *Мельани,* которую αυανατοι ϰληζονσιν» επιϰυονιοι δε τε*, дочь действительного статского советника Аграфена Ивановна, по-светски *Агриппинё;* дочь статского советника Зиновия, по-светски *Зеноби;* дочь коллежского советника Пелагея, по-светски *Пельажи;* дочь надворного советника Надежда, по-светски *Надин;* и дочь коллежского асессора Варвара, по-светски *Барб.*

Все *оне* были страстно влюблены первой любовью.

Мельани была влюблена в Кавалергарда.

Агриппинё — в М-г Пленицына, служащего при военном министерстве.

Зеноби — в М-г Ранетски, чиновника по особенным поручениям.

Пельажи — в Капитана 2-го ранга.

Надин — в М-г Клани, служащего при министерстве иностранных дел.

Барб — в Конноартиллерийского прапорщика.

И все *они* также были страстно влюблены:

Прапорщик в Мельани.

М-г Клани в Агриппинё.

Капитан в Зеноби.

М-г Ранетски в Пельажи.

М-г Пленицын в Надин.

А Кавалергард в Барб.

Так как сердца каждого и каждой бились втайне, то и *они* и *оне*, питаясь надеждой и уверенностию, что истинная, симпатическая любовь без взаимности не существует, были в самом счастливом расположении духа, до тех пор, покуда Думка-невидимка, наскучив сидеть на челе Юлии, не вздумала гостить по очереди и в мыслях подруг ее. Это произвело ужасные недоумения в любящих сердцах.

Но прежде чем мы приступим к описанию того, что наделала беспокойная Думка, и к развязке узла, нам должно сделать, по крайней мере, очерки a la Flaxman всем лицам этого эпизода.

---

* Если боги (тебя) хвалят, смертные тоже *(гр.)*

V

В княжне Мельани было, в самом деле, что-то особенно княжеское, татарского происхождения; к ней очень шла и русская песня «Белолица, круглолица...». Выражение лица ее было не задумчивое, но вечно думающее бог знает что. К ней бы и ферязь пристала, и девичья коронка новогородская; да она была чересчур надута; румяна, как полный месяц, но, как луна, холодна. Когда Думка-невидимка садилась на ее чело, тогда княжна начинала много думать о себе. В шестнадцать лет она логически умела уже ценить себя и других; по правилу, что «умеренность лучше всего», она находила, что в ней и у ней всего в меру: и красоты, и достоинств, и ума, и приданого.

Встречая девушку лучше себя, она говорила: какая приторная красота! Быть умнее значило на ее языке *умничать;* быть богаче значило быть *мешком золота;* быть милее значило быть кокеткой; всем нравиться значило быть искательной; словом, она презирала всякое излишество. Недостатки были еще презрительнее в ее глазах; девушкам без состояния подле нее совершенно не было места: она без пощады осматривала на них все, начиная от гребенки до башмака, и смущала их самолюбие своими безжалостными восклицаниями: «Ах, как хороши серьги, точно как бриллиантовые! как хорош полумеринос, можно принять за *терно*!» — Девушка скромная казалась ей деревом, а не знающая *французских разговоров* — просто ничем.

Что же касается до наружности, то она была лучше издали, нежели вблизи: она была белокура, ее глаза в pendant* золотым бальзаковским были платинового цвета, ее нижняя губка была маленькая невежа: переняла где-то старую польскую ужимку выставляться вперед для оказания к кому-нибудь и к чему-нибудь презрения.

Такова была Мельани.

Агриппинё была девушка совсем другого рода: она была девушка с большими агатовыми глазами, с такими глазами! казалось, что она вся была создана для того только, чтоб носить глаза свои. Над этими глазами были бархатные брови, которые срослись, как два Сиамских близнеца. Это доброе существо почти всегда было не в духе, всегда в задумчивости, на каждом шагу случалось с ней какое-нибудь крошечное несчастие, которое, однако же, как миазм, зара-

---

* в соответствии *(фр.)*.

жало весь ее организм каким-то расслаблением. Обдумывает ли она свой бальный наряд, чтоб все подивились ему: придет — никто не удивляется! ей же шепчут: «Посмотри, как мило наряжена N», а N столько же думает о наряде и заботится, пристало к ней или нет то, что на нее наденут, сколько думала об этом какая-нибудь Индейская пальмовая Бгавана. Не обидно ли это? не несчастие ли это, убивающее дух? Агриппинё желает быть везде образцом вкуса и вдруг слышит от безвкусных какие-нибудь аханья, вроде: «Ах, милая, зачем ты приколола райскую птичку? она нейдет к этой прическе!» Не довольно ли этих слов, чтоб расстроить душу на весь вечер, на всю ночь, на все пространство времени от одного бала до другого? А сколько других несчастий, заставляющих задумываться? Все ангажированы, только она одна сидит как лишняя, как забытая; на первые две кадрили *не подняли ее с места* —пойдет ли она на третью? — никогда, ни за что! У ней уже болит голова, она отвечает всем кавалерам сухо: «Я не танцую!» — и целый вечер задумчива, невнимательна ко всем вопросам.

Зиновия была бы прекрасная девушка, очень милая, простодушная, но также задумывалась. Причиной ее дум были сны; она совершенно верила снам; от сна зависел ее день, расположение духа, ум, свойство и даже сердце. Если б, например, сердце ее вздумало полюбить кого-нибудь достойнейшего из достойнейших и полного любви взаимной, но во сне увидела бы она что-нибудь вроде баллады «Людмила» — кончено! она бы стала бояться его как выходца с берегов Наровы.

Пельажи также была бы не последним цветком в букете любви, если б не боялась *глаза*. Почти всякий день она пила воду с уголька. Изъявления удовольствия и радости были в ней всегда принужденны, без улыбки приятной и без участия, потому что она боялась чувствовать радость, чтоб не сглазить исполняющегося желания.

Надин также могла бы быть украшением своего пола, но она была *испорчена:* с ней часто делались дурноты — ужасные дурноты; а никто не мог постигнуть причины. Советовались с докторами; доктора *пробовали* лечить и тем, и сем, прописывали микстуры в жидком виде, в склянках, в порошках и в пилюлях, пользовали без всякой пользы от спазмов грудных и желудочных и даже от размножения посторонних тел — ничего! Дурнота и дурнота в неопределенное время, без всяких периодов, до обеда, после обеда, поутру, ввечеру, дома и повсюду; только всегда днем, во

время сна никогда: сон ее был тих и спокоен, аппетит хорош, пульс правилен, никаких *местных* болей нет.

«Что это значит? — говорил консилиум,— это какая-нибудь болезнь, неизвестная медицине, болезнь, существующая только в России?» После долгих соображений решили, однако же, что, *вероятно,* поражен *чем-нибудь какой-нибудь* нерв, который, приходя в сотрясение, сотрясает cerebrum*. Нужно было испытать, которое из пяти чувств сотрясает этот нерв? Вкус и осязание явно не вредят ему; зрение также не производит припадка: перед глазами Надины проводили все семь цветов порознь и в смешении; испытывали и обоняние: ставили на ночь в комнату ее разные растения, раздражающие нервы,— они не вредили. Наконец, стали испытывать слух; сперва музыкой инструментальной: перебрали все дуры и моли — ничего; потом вокальной музыкой: пропели чувствительный французский романс, итальянскую бравурную арию, горловую песню тирольскую — все ничего.

— Et bien un air russe!**— и попросили одного молодого человека запеть русскую арию; он запел трубным гласом:

Мы-мы-мы идем на поле бррани!
Тррр! Трррубный звук и баррабанный грром!
Чу-чу-чуудо богатырь! во длани
Гррозный ммеч и на челе шелом!
Ша-ща-щастье и победа с хррабррым,
Чурррр, не рробеть и вперед напрролом,
Ус свой черрный поррохом нафабррррим,
Не огнемм все возьмемм, а беллым ррружьем!

— Шш! Шш! — раздалось по зале.

Певец умолк.

— Что такое?

Надине дурно, Надина почти без памяти на руках матери.

— Sufficit! Manifestum est!*** — сказал один из докторов,— теперь понятно, в чем дело: чувствительный и нежный слух ее не переносит русских звуков — и не удивительно: во мне самом некоторые звуки производят сотрясение. Должно полагать, что ухо ее поражается буквами stctcha, tstse и ouoi****

* мозг (*лат.*).
** Пожалуйста, русскую арию! (*фр.*).
*** Довольно! Достаточно (*лат.*).
**** «ща», «цэ» и «ы».

— Скажите, пожалоста,— продолжал он, обращаясь к матери Надины,— не имеет ли дочь ваша отвращения от русского языка?

— Ах, она его терпеть не может и сама никогда не говорит,— отвечала родительница.

— Гм! — сказали доктора в одно слово,— это болезнь национальная! — и, заговорив по-латыни, они пожали плечами.

— Одно средство — отправить за границу.

— О, нет! — сказал про себя один медик,— что производит болезнь, тем надо и лечить: чтоб укрепить и приучить ее нервы к *еры* и *ща,* надо выдать ее замуж за какого-нибудь ерыгу и кормить щами.

Такова была Надина.

Что же касается до Барб, то она была существом совершенно идеальным, сладостным, мечтательным и нежно ахающим. Беленькая собой и в беленьком платьице, она была похожа на зайку на задних лапках.

VI

Теперь приступим к описанию шести наших кавалеров.

Кавалергард был из числа тех, к счастию или несчастию, многих людей, которым на роду написано заботиться только о приобретении почестей в свете — и более ни о чем; из числа тех людей, которые составляют ветви укоренившихся дерев, растущих на широком просторе, и мало думают о непогодах жизни, о благотворном дожде и росе, не боятся засухи и гордо раскидывают тень свою по пространству, на котором часто вянут отпрыски плодоносных дерев, посреди недоброго зелья.

Кавалергард получает, кроме жалованья, свои тысячи, живет посреди блеска величия, золота, бриллиантов и бальных огней, ни о чем не думает, кроме парада, ничего не считает, кроме визитов, ничего не читает, кроме нот новой кадрили, ничего не говорит, кроме комплиментов, ничего не чувствует, кроме позыва на удовлетворение пяти чувств... Он статен и свеж; судя по смоляным усам, он брюнет; но глаза его бледно-серые, волоса, как лен. Все жмет ему руки, все приветливо предупреждает его словом bonjour! Жизнь его так хороша, что иной земнородный не составит себе лучшей идеи о будущем блаженстве.

В доме отца Юлии увидела его княжна Мельани и влюбилась.

В доме отца Юлии увидел он в первый раз mademoiselle Barbe и — влюбился.

M-r Пленицын, чиновник в<оенного> м<инистерства>, был молодой человек с вздернутым носом и с огромным вихром. Он был самородное золото; жил жалованьем и наградами из экономических сумм; но где он жил, на какой улице Петербурга, в котором этаже — это было неизвестно; несмотря на это, он был везде в кругу лучшего общества, в театре расхаживал перед первым рядом кресел, облокачивался во время антрактов на стенку, отделяющую музыкантов, *лорнировал* ложи, везде встречал коротких знакомых, жал руки, давил ноги, думал мало, говорил много, знал наизусть весь женский туалет и моды, помнил, как и кто из дам была в прошедший раз или в *прошлый* бал наряжена; понимал, что кому к лицу, и слыл умником и *любезником* в залах.

Несколько раз польстил он Агриппинё замечанием, что она одета с необыкновенным вкусом и лучше всех, и — Агриппинё полюбила его как человека единственного, который умел ее оценить.

Но ему понравилась Надин; он заметил, что, когда с ней ни заговорит (он говорил очень часто по-русски с благим намерением ввести русский язык в общественное употребление посреди салонов), всегда делалось ей дурно. Однажды, танцуя с ней, он хотел в вихре вальса сказать какой-то комплимент, и, едва произнес: «Как ща... ща... ща...стлив я...»,— Надин крепко сжала ему руку и потом почти без чувств припала к спинке стула; грудь ее взволновалась. Это он видел и подумал, едва переводя дух от восторга: «Она меня любит!»

Сверх того, Надина была сродни всем главным лицам на том пути, по которому он шел за чинами и состоянием.

Любимец Зеноби был attaché при каком-то генерале; юноша татарского происхождения, римской физиогномии, английского нрава, немецкого ума, французского вкуса, китайской учтивости, мерности и правильности.

Он увидел Пельажи и — влюбился. Ему очень нравилась ее *сурьезность:* «Это явный признак ума»,— думал он, не сомневаясь в красоте душевных ее свойств; девушка, исполненная ума, и не умничает, мало говорит, а больше слушает — чего же вернее? Кроме маленькой ее головки и ножки-крошки, ему нравилось в ней это равнодушие ко всему и всем, этот безрадостный взор и уста без улыбки. «Она не расточает,— мыслил он,— чувств сердца своего напрасно;

она бережет их вполне для любви: как крепко, как сильно полюбит она! и первая улыбка, первый радостный взор ее достанутся счастливцу! О, Пельажи!»

Он любил Пельажи, а Зеноби его любила. Какое странное противоречие симпатий! странное и, может быть, необходимое для разнообразия общественных отношений. Зеноби полюбила в нем Иосифа — толкователя снов. Attaché был ходячим сонником в кругу знакомых; он ужасно любил все толковать; разумеется, что эта страсть привела его к толкованию снов. Очень часто к нему обращались с вопросами вроде:

— Скажите, что значит видеть себя в лесу?

— Это значит, что вас будет окружать лесть,— отвечал он.

— Что значит, я видела во сне, будто гуляю в саду, а против меня дом с бесчисленным множеством окон?

— Этот сон исполнился уже над вами: это значит, что на балу вы будете предметом удивления и зависти.

Толкование снов обратилось в нем в привычку, и Ранетски, с полной верою в предзнаменовательность снов, говорил всем, что сон есть аллегорическая будущность и что Провидение ниспосылает их как предвестников в предостережение человека от приближающегося зла.

Никто не видал столько предзнаменовательных снов, сколько видела их каждую ночь Зиновия. Сны так беспокоили ее душу, что для нее подобный толкователь, как attaché Ранетски, сделался необходим; предсказания его всегда сбывались. Говорил ли он ей: «Вы *получите* большое огорчение»,— она непременно *получала* какое-нибудь большое огорчение; говорил ли он ей, что она будет царицей бала,— она, в самом деле, горделиво окидывала всех взорами с вершины предсказанного величия, видела в мужчинах какую-то покорность, в женщинах уничижение и думала: «Как справедлив сон!» — дивилась, отчего так странно все изменяется и в ней самой, и в других?

Капитан 2-го ранга, разумеется, был моряк, умеренных лет, но не раз уже совершивший путешествие вокруг света. Когда увидела его в первый раз Пельажи и разговорилась с ним о *сглаживании,* он сказал ей, что знает вернейшее средство против *черного глаза,* средство, которое открыл ему один турецкий дервиш.

— Скажите мне, пожалоста, скажите это средство,— умоляла его Пельажи.

— Никак, никак не могу,— отвечал он ей,— если я

открою кому-нибудь эту тайну, то сам потеряю способность заговаривать от глаза.

Тщетно ухитрялась Пельажи выведать удивительный секрет: моряк таил; но самолюбие женское всегда и во всем хочет поставить по-своему: секрет Капитана не выходил из ее головы, а вместе с секретом не выходил из головы и владелец секрета. При Капитане Пельажи не боялась ничьего глаза, была весела, мила, разговорчива; но чуть Капитан скрывался, вместе с ним исчезала и живость Пельажи; она становилась грустною, ни на кого не хотела смотреть, уединялась и даже вздыхала.

Но Капитан вздыхал не по ней, а по Зеноби. Когда задумывалась Зеноби о значении виденного сна, на челе ее заметно было глубокомыслие, а не мечтательность — это ужасно как нравилось Капитану.

Любимцу Надины непременно следовало быть человеком, который сроду не произносил *ща, че* и *еры;* и в самом деле, чиновник иностранных дел был сладчайшее существо общества, легкое, как мыльный пузырь, нежное, как мадам Дюдеван в мужском платье. Ему уже удалось один раз побывать в столице французов; по возвращении в Россию все стало в нем дышать изяществом парижских мод и обрядов. Он был недурен собою, немножко с завезенной из Рима физиогномией, и был любим дамами как *интересный* молодой человек. Дамы даже с восхищением слушали его пенье, молчали все до одной, когда он изливал, á gros boillon*, звуки французского романса в раковинки прекрасных ушей, как нектар; только иные из мужчин, не полагаясь на женский вкус, метались от фортепьян во все стороны, как кони, испуганные голосом Онагра.

Его любила Надина, а он любил Агриппинё; а почему он любил Агриппинё, а не любящую его Надину? — может быть, потому, что мужчины всегда любят невпопад.

Наконец, Конноартиллерийский прапорщик, которого страстно любила Барб, был жиденький офицерик; ему ужасно как нравилась Мельани.— «О, Mélanie!— говорил он всегда,— о Mélanie! qu'el hom!»**

В его приемах и в выражении лица было что-то пастушеское, живо изображаемое на табакерках; и Мельани тоже очень часто была похожа на пастушку, особенно в корсаже с бахромой, и в платье, вроде роброна, напыщенном посред-

---

* пузырями *(фр.)*.
** О Мельани! какое имя! *(фр.)*.

ством крахмала и китового уса. Но, как мы уже сказали, его полюбила Барб, чувствительная Барб, которая почитала верховным блаженством жить с милым в хижине убогой. Она находила в юном Прапорщике все способности для подобной жизни; он же всегда говорил, что презирает свет и толпу, что ему душно с людьми, что нечистое их дыхание мертвит его душу, что счастие живет в уединении с кем-нибудь вдвоем и не ведает ни умных забот, ни глупых хлопот; что для счастия необходима только любящая душа. Когда говорил это Прапорщик, Барб готова была броситься в его объятия и вскричать: «О, удалимся, удалимся в хижину!»

VII

Чувства любви и дружбы ни с чем нельзя лучше сравнить, как с звуками музыки. Каждый народ есть инструмент, каждое состояние — струна, каждый человек — звук, а женщины — полутоны. Когда этот инструмент строен, тогда рука Провидения разыгрывает на нем чудную ораторию семейственного и народного счастия: звуки сливаются по мысли и чувству, везде согласие царствует посреди гармонического шума всеобщей деятельности, сердце находит сердце, душа душу, дружба созвучие, любовь взаимность.

Но в то время, когда случилось описываемое нами событие, не было еще стройности ни в сердцах, ни в умах; судьба играла на людском разладе, и трудно было прибрать звук к звуку.

Юлия, однако же, была уверена, что между ею и Поэтом *существует* так называемая симпатия, от которой зависит взаимное счастие двух сердец. Она чувствовала, что не может жить без Порфирия.

У восторженного Поэта было мягкое, восковое сердце; но в то же время и горделивое, которое не хотело принимать ничьей любви даром,— немедленно платило взаимностию.

Отец и мать Юлии, зная, что Поэт он же и Медик, с признательностию смотрели на участие, которое он принимал в расстроенности нервов Юлии; они не видели ничего худого в том, что Поэт часто, по праву Медика, держал руку Юлии в своих руках для наблюдения пульса. Но когда однажды нечаянно застали, что Медик, по праву Поэта, пламенно целовал этот пульс — они вообразили бог знает что, вспылили, готовы уже были излить свой справедливый гнев... да Юлия предупредила бурю: она вскрикнула, как кликуша, и заметалась. Отец и мать забыли в испуге гнев свой и

бросились к ней на помощь; а Поэт, в порыве участия, забыл испуг свой и также бросился к ней на помощь; он оттирал ей пульс, требовал о-де-колон, воды... Отец и мать сами бегали то за тем, то за другим... При нем расшнуровали Юлию... Юлия стала дышать.

Поэт пришел в себя, взял было шляпу. Отец Юлии также пришел в себя.

— Милостивый государь! — произнес уже он к Поэту.

Но Юлия снова заметалась, застонала; снова все бросились к ней.

Она открыла глаза, взглянула на Поэта, схватила его руку и — прижала к сердцу. Кончено! других объяснений не нужно: все сказано, что нужно сказать.

Смущенный Поэт хотел было из приличия отнять руку; но Юлия удержала ее и произнесла томным голосом:

— Не уходите!.. сидите подле меня!.. я умру без вас!

Отец и мать выслушали эти слова, не нарушая тишины, которая была необходима для здоровья дочери.

Таким образом, дело объяснилось само собою. Мать стала готовить приданое, отец придумывал, когда бы назначить день свадьбы.

И вот — к свадебному балу Юлии готовятся и ее подруги.

Все они уже успели сказать Юлии, чтоб она — когда посадят ее за стол, перед благословением отца и матери отпуская в церковь,— не забыла, вставая из-за стола, потянуть за край скатерть, прошептать имя каждой и *пожелать* выйти ей замуж за избранного сердцем, за *возлюбленного.*

В течение года это *пожелание* непременно должно исполниться: так говорит поверье. Юлия исполнила просьбы подруг своих, и — странно! поверье подтвердилось.

В известное время, в известных формах бал начался.

Много уже времени тому назад, как бал имел высокое значение в общественной жизни.

Образованность бального общества имеет возрасты.

Сперва должно ловко двигаться, ни слова не говоря.

Потом красно говорить, ничего не мысля.

Потом умно мыслить, ничего не понимая.

Потом ясно понимать, ничему не веря.

Таким образом, бал был некогда школой правильного движения.

Когда научились ловко двигаться, классические танцы стали пошлы; изобрели танцы романические: засели и стали изучать приветствия, занимать друг друга разговорами;

но когда *разговоры* вытвердились наизусть, начали *мыслить кочуя,* по выражению Грибоедова, из комнаты в комнату. Это было самое скучное время. Теперь ясно поняли, что бал есть во всяком случае маскарад, мистификация ума, сердца и чувств, и — перестали верить, женщины мужчинам, а мужчины женщинам. Бал обманул каждого; настало разочарование к балам; община рушилась, все обратилось в самого себя...

Пусть же все надумается и наскучается в этом уединении, а потом призовет в гости к сердцу сердце, к чувствам чувства, к уму ум — и будет снова весело в жизни; люди будут собираться в кружок не для скуки, не для торговли собою, а чтоб поделиться избытком ума и чувств.

Так рассуждал один домашний философ.

А между тем нам должно знать, что, когда Юлию стали снаряжать и отпускать в церковь, Думка-невидимка, не зная, куда ей деться, перелетела на чело ее матери и просидела на нем до открытия бала. По возвращении Юлии из церкви Думка хотела возвратиться к ней, но в мыслях Юлии не было уже места для беспокойной Думки: желание Юлии исполнилось, и она предалась вполне сладостным ощущениям сердца. Что делать! заметалась Думка-невидимка от одной подруги Юлии к другой — пребеспокойные, прегорячие головы! невозможно никак надежно приютиться в мыслях — так от сердца и пышет. В продолжение всего бала Думка кочевала от Мельани к Агриппинё, от Агриппинё к Зеноби, к Надин, к Пельажи, к Барб, и обратно. Чтоб охладить несколько пылающие их сердца, она нашептала каждой, что любовь требует непременно испытания, что без испытания любовь не любовь.

Эта мысль ужасно как возмутила подруг Юлии.

Мельани сказала сама себе: мой Кавалергард, верно, также испытывает меня; он что-то сегодня особенно внимателен к Барб! О, постой же, мой милый Кавалергард! испытаю и я тебя: буду назло волочиться за конной артиллерией!

Агриппинё почти то же подумала про служащего при военном министерстве и стала заниматься служащим при министерстве иностранных дел.

Зеноби, вместо своего очаровательного attaché, обратила особенное внимание на Капитана.

Пельажи, Надин и Барб сделали подобный же искусственный переворот в чувствах своих и избрали орудиями своего мщения, разумеется, тех, на волокитство которых до сих пор они и не думали обращать внимания.

Притворство — не любовь, и потому оно не робко, не боязливо и не стыдливо. Подруги Юлии, ангажированные влюбленными в них, изливались в разговорах, внимали ласкательствам с улыбкой, отвечали шутя, и каждая, замечая свою победу и торжествуя в душе, думала: ага! мне стоит только оказать внимание — каждый дорожит им!.. А *он!*.. он воображает, что я умру с горя, если ему вздумается оказать мне холодность!.. Постой, мой ангел!

Все шесть героев наших были вне себя от восторга, что наконец страсть их вознаграждается взаимностью.

Кавалергард рассыпáлся перед Барб, танцуя с ней мазурку. Замечая ее внимание к себе, внимание особенное, он решился приступить к намекам о своих чувствах.

— Сегодни в первый раз я счастлив! — сказал он ей.— Никогда душа моя не была так полна надеждой на завидную будущность!

— Отчего это? — спросила с улыбкой Барб.

— Отчего?.. Вы не должны *делать* мне этого вопроса,— отвечал он, запинаясь.

Но Барб беспокойно взглянула в это время на юного Прапорщика, который весь уже превратился в любовь к Мельани, не сводил с нее глаз, что-то говорил ей устами и взорами.

Барб бросила улыбку презрения на юного Прапорщика, отвернулась к своему кавалеру, который продолжал между тем что-то говорить ей. Она не слыхала, что он говорил; но взглянула на него нежно, нежно подала ему руку, чтоб лететь в круг.

— Она любит меня! — подумал Кавалергард и, притопнув об пол, приударив шпора о шпору, осмелился сделать дерзкое испытание взаимности — пожал руку.

— Он пожал мне руку! — подумала, вспыхнув, Барб; но новый взгляд на Прапорщика, досада и желание оказать презрение, примирили ее с смелостию Кавалергарда.

Между тем Мельани, замечая его внимание к Барб, клялась в душе ненавидеть Кавалергарда и отмстить ему взаимностию к юному Прапорщику. То же самое совершалось и с прочими: Агриппинё поменялась с Надиной, Зеноби с Пельажи.

Возгорелась ревность, вспыхнуло мщенье. Чем же лучше отмстить, как не совершенным равнодушием и старанием показать явное внимание к тому, который волочится и не скрывает своей любви ни от кого?

Контрмарш подруг своих заметила только Юлия; только

ей одной каждая поверила свою тайну. Она упрекнула всех по очереди в непостоянстве, и все по очереди отреклись от первой любви своей.

Разумеется, что каждый влюбленный, встречая взаимность, не затрудняется отыскать путь в тот дом, где живет его счастие.

И вот через несколько дней Кавалергард обласкан в доме своей несравненной Барб.

Служащий при военном министерстве принят с особенным вниманием родителями своей дивной Надины.

Чиновник по особенным поручениям стоит уже подле фортопьян своей очаровательной Пельажи.

Капитан проводит вечера у своей грациозной Зеноби.

Служащий при министерстве иностранных дел *фигиорирует* в *салоне* своей неземной Агриппинё.

Конноартиллерийского Прапорщика лелеют надежды в доме гармонической Мельани.

Все *они* готовятся уже к решительному объяснению; все *оне* принуждают себя основать новую любовь на ненависти к первой.

Мельани нравится юный Конноартиллерист, ей приятна страстная его любовь, дома видит она в нем все, что может составить ее счастие; но в обществе ей кажется, что он ее не стоит, что в нем недостает многого для ее самолюбия, что он не более, как Прапорщик... И — она вдруг хладеет к нему, старается удаляться от него, чтоб не унизить себя в глазах людей... Задумывается о Кавалергарде.

Агриппинё любила бы служащего при министерстве иностранных дел, любила бы за то, что он страстно любит ее; но он не льстит ее самолюбию, не прельщается нарядами, не говорит, что она лучше всех; только М-г Пленицын в состоянии одушевлять ее в обществе,— и она задумывается о Пленицыне.

Зеноби любила бы Капитана, но он смеется над снами.

Надин предалась бы вполне служащему при военном министерстве; но он так любит русский язык, он готов потребовать от жены своей, чтоб она говорила не иначе, как по-русски.

Пельажи обожала бы чиновника по особым поручениям: он ловок, умен, мил, хорош собою, да он не знает секрета от сглаживания; а между тем сам верит глазу. Он не может заменить для нее Капитана, при котором исчезает в ней мучительный страх, при котором чувства ее, освободясь

от боязни глаза, получают всю свою деятельность, а сердце становится спокойно, готово к любви и взаимности.

Барб отдала бы сердце свое Кавалергарду; но он такой был Марс по наружности, что при нем все ее мечты — о милом и хижине — исчезали; он никуда не годился для идиллической любви; с ним нельзя было говорить о красоте природы, об уединении и сладости задумчивости перед окном, при меланхолической луне, плавающей посреди волн облачных. А Прапорщик так хорошо понимал это наслаждение, так умел сочувствовать непостижимой грусти сердца, так упоительно говорил о чем-то неземном, так усладительно описывал взаимность двух симпатических сердец, созданных друг для друга, искавших друг друга, нашедших друг друга посреди толпы бесчувственных, посреди тщеты и суеты света и, наконец, удалившихся в рай уединения, под кров хижины... там чаша молока, душистые соты, веющий зефир, густой навес липы, дерновая скамья... рука в руке, взор во взоре и — страстный поцелуй!..

Возможно ли в минуты подобных сладостных мечтаний любить Кавалергарда? Он весь в ботфортах, окован латами и приличием; его каска с гребнем страшна для сельского чувства; слеза побоится капнуть на его белый мундир; любовь Кавалергарда тяжела для легкой Барб.

Проходит месяц, два, Думка мучает подруг Юлии: оне раскаиваются, что вздумали изменять для испытания; а между тем Юлия мучает уже своего мужа, тушит все поэтические его восторги: он неразлучен с женой, как костыль с хромым; она идет, и он иди; она сидит, и он сиди. Он бы уединился подчас — ты со мной скучаешь! Он бы прогулялся для рассеяния — куда? ты меня одну оставляешь! Ему хочется спать — ты спишь! не хочешь поговорить со мною! Слово за слово, и — дурнота. И вот молодые супруги, в промежутках нежных ссор, сидят, надувшись друг на друга. Невозможно придумать положения горестнее без горя, несчастнее без тени несчастия.

Так и не иначе проходило время; но однажды за *жарко* и *холодно* возгорелась ужасная ссора. Вступилась мать Юлии, потом отец, родня, обвинили бедного Порфирия в жестокости к жене, что он мучитель, не умеет ценить ее ангельского характера, что он не муж, а тиран. Порфирий, выведенный, наконец, из себя и почти изгнанный из дома, сел на почтовых и поскакал в Одессу, служить. Освежившись на пути от домашнего угара, чувства его ожили, ожила и муза; в Киеве ожила и память о блаженных минутах, которые он

провел на берегах Днепра, ожила и любовь к Зое. Он хотел на нее взглянуть еще раз и своротил в сторону от большой дороги.

Мы уже видели его новую встречу с Зоей: Нелегкий и свел, и развел его с нею,— Порфирий отправился в Одессу; а мы возвратимся на Север.

VIII

Нужно ли объяснять математику, как сладостно находить *искомое* и, разрешая сложную задачу, видеть, как удобно распутывается *Икс* от всех облекающих его посторонних величин и, кажется, готовится уже наградить искателя чудным открытием в области математических истин — но вдруг образуется злой *корень* и — *искомое* недоступно! Это ужасно для любящих иксы! Точно то же случается часто и с ищущими *неизвестного* сердца: любовь, встречая пылкую взаимность, вверяется ей и строит в озаряемых этим светом мыслях райскую будущность — вдруг мгновенный пламень тухнет, тухнет так же скоро, как вспышка, и — будущность, для глаз, ослепленных блеском, становится мрачнее ночи.

«Что это значит? — спрашивает сам себя мнимый счастливец,— что я сделал? мне изменяют?.. нет! это только испытание, неуверенность во мне...» И — он сердится, ищет причины холодности, стережет тайные взоры любви — нет их. «Это испытание!» — повторяет он и сам хочет отплатить тою же монетою: первой, обращающей на него внимание, платит явным вниманием, волочится притворно, а между тем снова стережет взора, упрека, досады, задумчивости — ничего нет! что делать? Для утоления страданий сердца, чтоб скрыть отверженную свою любовь, не замечая сам, он предается вполне сопернице.

Все это сбылось с нашими героями.

Надежды их были велики; благословляя выбор своего сердца, один писал уже к отцу и матери о своем намерении жениться; другой, рассеянный в толпе приятелей и сослуживцев, намекает им, что скоро наденет оковы Гименея; третий, например Кавалергард, показывая однажды другу своему на Мельани и Барб, когда они вместе ходили, шептал:

— Отгадай, которая из них моя?

— Право, не отгадаю,— отвечал его друг,— каждая в своем роде хороша, обе, кажется, одинаково к тебе внимательны.

— Внимательны! отгадай, которую я люблю и на которой женюсь?

— А бог знает, ты можешь любить одну, а жениться на другой.

— Э, чудак!

— Скажи, если знаешь.

— Не скажу, замечай сам.

— Буду замечать.

Кавалергард сделал круг по зале и проходил мимо Барб в то время, как она, задумавшись, засмотрелась на юного Конноартиллерийского Прапорщика.

В эту минуту она была проникнута сладостной мечтой о взаимной, нежной, самой нежной голубиной любви двух чувствительных сердец, о убогой хижине, *«в которой с милым рай»*. Прапорщик сидел напротив ее, с другой стороны залы; он был также задумчив; ей казалось даже, что он печально взглянул на нее... вздох вылетел из ее груди, сердце ее сжалось, и раскаяние, что она изменила своему сердцу, взволновало душу.

В это-то самое мгновение раздался подле нее самый прозаический голос:

— О чем вы задумались?

Барб вздрогнула, оглянулась — это Кавалергард.

— Вероятно, не о том, что бы до вас касалось,— отвечала она, отвернувшись с досадой.

Ответ был слишком колок для самолюбия.

— Вы будете со мной танцовать кадриль? — продолжал Кавалергард.

— Нет, не буду.

— Отчего ж это?

— Оттого, что я или ангажирована, или не хочу.

— Не хочу! — пробормотал Кавалергард, закусив губу и вставая с места.

Желая отомстить за это внезапное равнодушие и почитая его кокетством, он искал в зале даму, которой внимание поддержало бы вдруг опавшее его сердце.

Встретив несколько раз взоры Мельани, постоянно обращенные на него и как будто призывающие к себе, он кинулся к ней.

— Вы не откажетесь танцовать со мною? — спросил он ее голосом особенно внимательным.

Мельани вспыхнула от неожиданности; приятной улыбкой изъявила она свое согласие.

Вслед за Кавалергардом подлетел к ней Конноартиллерист.

— Я уже танцую,— отвечала она ему с спесивой ужимкой, которая, не выражая презрения, ходит с ним в одной цене.

Юный Прапорщик обомлел; казалось, что вдруг рушилась вавилонская башня, которую строил он в мечтах своих, в надежде вкусить с Мельани небо. Он не постигал, что значит этот холодный тон, и не хотел понимать: молодое сердце гордо.

— Я так привык танцовать с вами первую кадриль,— сказал он Мельани.

— Странная привычка! — отвечала она, удаляясь от него.

Опало гордое сердце, облилось тайно слезами, увлажило и голубые глаза Прапорщика.

В эту минуту ему нужно было чье-нибудь участие, чтоб высказать жалобу на непостоянство сердец в большом свете, и — он почувствовал какую-то симпатию к задумчивой Барб. Она же предупредила его.

— Танцуйте со мною,— сказала она ему, проходя мимо,— я отказала одному кавалеру, а между тем у меня нет кавалера.

— Находите ли вы удовольствие в этой мнимой сфере удовольствий? — спросил он ее во время танцев.

— О, нет! — отвечала Барб,— я не люблю искать удовольствий насчет постоянства во вкусах и мнениях.

— Как я согласен с вами! — сказал Прапорщик. Слово *постоянство* затронуло самую чувствительную струну его сердца.

— Надо искать своего счастия,— продолжала Барб,— потому что в нем только заключаются наши удовольствия; найдешь счастие — беречь его, удалиться от толпы искателей, чтоб не похитили его.

— О, как я согласен с вами! — повторил Прапорщик.— Вы не поверите, как смешон мне восторг, доставляемый какой-нибудь кадрилью, каким-нибудь комплиментом... Посмотрите, как забавно блаженствуют некоторые, вырабатывая соло!

Прапорщик показал глазами на Мельани, которая носилась в кадрили счастливицей. На лице ее пылал румянец, в глазах сияло радостное чувство, на устах цвела улыбка, вся она была упоена восторгом, казалось, что в руках своих она держала невидимую гирлянду — оковы любви; разгоряченная ножка ее храбрилась по паркету: то едва дотрагивалась до полу эластическим носком, то припадала

на пяту, в которой также как будто скрыта была пружина.

— Да, мне самой не нравится в Мельани эта страсть к танцам, эта изысканность движений... это точно...

— Не правда ли, смешно?

Барб с тайным чувством удовольствия согласилась.

Кадриль составилась как раз из шести пар. Кто знал вчерашние отношения танцующих, тот удивился бы неожиданной перемене дирекции: Кавалергард танцует с Мельани, Пленицын с Агриппинё, Ранетски с Зеноби, Капитан 2-го ранга с Пельажи, Клани с Надиной, Конноартиллерист с Барб... Какая дружба между парами! как они одушевлены! Ни одного взора не брошено на сторону и даром: каждый кавалер занят своей дамой, не хочет знать прочих; каждая дама занята своим кавалером: для нее не существует никого, кроме его. Это какое-нибудь qui-pro-quo*! тут, верно, вмешалась Нечистая сила!

Но Нечистая сила нисколько не мешалась в дела этой неправильной кадрили. Тут ничего не было, кроме того, что Агриппинё, Зеноби, Пельажи и Надин обработали точно такую же статью, как Мельани и Барб: испытание завлекло их далеко, но не совсем завлекло: оне быстро перешли обратно от *любящих* к *любимым*.

Ранетски, Пленицын и Клани, заметив, что термометр любви опустился не только на переменную погоду, но даже стал уже показывать несколько градусов холода, думали поднять его усилением собственного жара, дышали на него всем пылом чувств своих, говорили пламенные речи, старались потрясать таинственную ртуть — все тщетно: сердце зябло, леденело, надо было искать для него искусственного тепла. Ранетски нашел его в Зеноби, Пленицын в Агриппинё, М-г Клани в Надине; только Капитан 2-го ранга, моряк в душе, привыкший ко всем невзгодам, предузнал перемену ветра по провеявшей струйке холода, а бурю для бедного своего сердца — по внезапной тишине во взорах и на устах Зеноби. Он опустил паруса, которые несли его так быстро к пристани Della Felicita**, и стал на *дрейф*. Вспыхнувший горизонт души готовил ему штурм.

— Собственно, для меня все равно: быть или не быть,— сказал он,— но я должен спасти вверенный мне корабль и экипаж.

---

* один вместо другого, путаница *(лат.)*.

** блаженства *(ит.)*.

И — он оглянул вокруг себя пучину, заметил в темнеющем отдалении блеск маяка. Этот благодетельный блеск издавали очи Пельажи. Приближаясь, он подал знак, выкинул флаг союзный,— ему отвечали, приветствовали радостно, угостили полными чувствами любви.

— Зачем вы носитесь,— сказали ему,— по этим злобным волнам, которые ищут жертв пучине? Чего ищете вы? пристань Della Felicita? но где она, знаете ли вы? существует ли она на земле? и чем она лучше острова, к которому вы теперь пристали? У нас климат золотой, поля тучны, сады плодоносны, холмы очаровательны, жизнь роскошна... Скажите сами себе: вот пристань Della Felicita! и не ищите другой: мы приютим вас в свои объятия, пригреем у пламенного сердца, осчастливим беспредельной любовью!..

Капитан подумал-подумал, поверил очаровательным словам новой *Калипсы,* рассналил свой корабль, построил из него храм Гименею и принес ему в жертву сердце.

Но едва настала ночь и Капитан надеялся уже насладиться обещанным приютом объятий, упиться ласками, вдруг видит — вместо радостного взора и жаждущей улыбки на лице бледность, во взорах боязнь.

— Что с вами? — спрашивает он заботливо.

— Ах, если б вы знали! — отвечают ему,— какое несчастие! У нас всем хорошо, всем хорошо; только одна беда нарушает все очарование, убивает радости сердца, лишает спокойствия, преследует...

— Что такое?

— Черный глаз! ужасный черный глаз! он принимает все виды, все образы и ходит здесь... не дает покоя, мучает!.. Ничто не помогает от него... даже не помогает вода с уголька... только вы можете помочь...

— Я?

— Да, у вас есть талисман.

— Помилуйте, что за глупости! — вскричал капитан,— какой талисман?

— У вас есть... вы сами говорили... полученный от турецкого дервиша...

— Хм! я думал, что вы шутили, и я шутил.

— Шутили! о боже мой!

— Признаюсь, я не воображал, чтоб глупый предрассудок мог доводить людей до безумия!.. Господи! и слезы! какое малодушие!

— Малодушие! С первого дня вы уже готовы на не-

удовольствия... это ужасно! можно ли было думать... о, какое страдание!

— Я не понимаю, что с вами сделалось! право, вы нездоровы!

— О, какое мучение! и это любовь!

— Но что ж вам угодно от меня?

— Что угодно!.. одного: избавьте меня от черного глаза!..

— От какого черного глаза?..

— От черного глаза... я не могу переносить, когда он смотрит на меня!..

— Черт знает, что это такое! Каким же образом я избавлю вас от черного глаза?

— Удалите Лейтенанта...

— Лейтенанта?

— Да, чтоб он здесь не показывался... не ходил в дом...

— Моего друга? отказать от дому другу? для женских капризов? Нет, этого не будет! все, что вам угодно, а этого не будет!

— Ай, ай!.. Ух!

— Оставьте, сделайте милость, причуды! я к ним не привык!

И Капитан вскочил с постели, ушел от криков, рыданий и воплей.

— О, боже,— думал он,— где мой корабль? где мое море?.. О, глупец я! лучше вечно было бы искать посреди бурь и пучины воображаемой пристани Della Felicita, питать себя вечно несбывчивой, мнимой, глупой надеждой, нежели жить с малодушием, которое таится под умом и красотою!

Но это было позднее уже раскаяние. К счастию Капитана, вскоре назначено было путешествие вокруг света.

— Пущусь! — сказал Капитан,— буду кружить вокруг света, пущусь в пучину морскую от пучины зол! пущусь под бури океана от бурь житейских!

И вот Капитан уже на корабле, дышит свободным воздухом моря.

Корабль готовится поднять паруса.

В последний раз шлюпка возвращается от берега с некоторыми из офицеров экипажа и пассажирами.

По лестнице взбираются на корму Кавалергард, Конноартиллерист, Пленицын, Ранетски и Клани.

— Ба, ба, ба! и вы, господа?— вскричал Капитан.

— Путешествовать! едем путешествовать! хочется со-

вершить путешествие вокруг света,— отвечают они по очереди.

— И оставляете жен?.. Другое дело я... я поневоле... служба не разбирает...

— И я поневоле, черт бы драл! — сказал юный, откровенный бывший Прапорщик конноартиллерии,— я просто бегу от жены!..

— Что ж, разве зла, сердита?

— Ничего не разве... ни зла, ни сердита; напротив, очень нежна, нежна до беспредельности! Женился — выйди в отставку... Вышел в отставку — поедем жить в деревню, наслаждаться природой; приехал в деревню — то посмотри на цветочек, то сорви цветочек, то не наступи ногой на цветочек, то «ах, какая природа! какая зелень! regardez, mon ange!* сядем, мой друг, насладимся пением соловья!» Ах ты боже мой! Я на охоту, а она: «О злодейство! ты убиваешь невинных животных и птиц, ты бесчувственный, ты варвар!» — и сердится, и дуется, молчит неделю, месяц... Кошка вспрыгнет на колени — прысь ты, проклятая! — и беда: «Не любишь ласк! точно так же не нравятся тебе и мои ласки!..» Живая идиллия, крахмальный кисель в юбке!.. Просто бежал!

— Он не понял ее, не умел наслаждаться счастием! — подумал Кавалергард.— Отдал бы я ему свою Мельани, у которой душа, как бальный наряд, пришпиливается только для выезда и снимается дома.

Все прочие забыли и думать о женах. Экспедиция отправилась.

IX

Что делает князь Юрий? Помните ли, отец и мать его сказали: «Он плакал, уезжая отсюда!» Точно, Юрий плакал, убегая от равнодушия Зои. Весь мир очарований, который создали его надежды, который наполняла собою только Зоя, в котором она должна была владычествовать, разливая благость свою на Юрия,— весь этот мир исчез — не стало его в пространстве.

Если человека выбить из седла, согнать с пути, который вел его к цели жизни,— в исступлении горя он мстит свое несчастие или сам на себе, или на других, или ни на ком не мстит, предаваясь воле судьбы и ее приговору начать новый

* посмотрите, мой ангел! *(фр.)*

путь, новую цель надежд и желаний. «Я заблудился,— говорит он сам себе,— то был не мой путь, он вел не к моему счастию».

Юрий не мстил сам на себе — свет назвал бы его глупцом, безумцем.

Юрий не смирил в себе обиженного самолюбия, не подавил отчаяния; он жаждал мщения. Мстить Зое!.. Сердце оправдало Зою: женщины, если б вы не были соблазном, притворством, коварством, забавой, грехом... Зоя также не была бы тем, что она есть!..

И — Юрий поклялся не знать любви, не жениться; но шептать каждой женщине: «Сорвите, сорвите этот плод!.. в нем вся тайна блаженства... Вы не знаете еще, что такое сладость: без запрещения вы бы и не узнали ее никогда... На что дан вам ум, как не для хитрости?.. На что дано вам сердце, как не для того, чтобы исполнять его волю?.. На что дана вам красота, как не для привлечения к себе поклонников? Вы мнимые божества на земле, временщики счастия земного: пользуйтесь, покуда могущество в ваших руках, тиранствуйте над сердцами, вздымайте их к небесам и бросайте в прах... Все подивится силе красоты и воли вашей,— и никто не назовет это преступлением и злодейством».

Юрий приехал в Москву как будто перерожденный: всё те же люди, всё те же лица, всё тот же круг,— только Юрий не тот уже стал. Он был уже *ловец* в обществе, он уже не бросал на воздух ни учтивостей, ни приветствий без цели, без намерения, по одному светскому приличию; его угождения стали прикормкой, а слова силками. Пойманным чувствам, как птицам, он подрезывал крылья и — выбрасывал их на волю, чтоб стадо ворон закаркало над ними, заклевало их.

Юрий составил себе особенного рода славу: прежде все искало его, теперь стало преследовать; уже не любовь облекала смелых красавиц во всеоружие соблазна, а слава победы, честь избавить подобных себе от семиглавой Лернской гидры; но — все ополчившиеся против него изнемогли в борьбе; у Юрия было семь сердец: как змея, он обвивал, давил, жалил мужающихся, и — оне падали слабыми женщинами.

Когда Юрий явился в Петербург, слава его уже была сделана. Первое знакомство его было с домом отца Юлии. Тут увидел он ее и ее подруг.

— Вот *он!* — повторяла радостно Думка-невидимка,

переносясь от одной к другой.— Вот он! вот тот, о котором тосковала душа, который для меня создан, с которым жизнь — все и без которого все — ничто! О как я его люблю! Как давно люблю! Кажется, до жизни его любила, искала везде и всегда!.. вот он!

Семь прекрасных, почти свободных женщин преследуют Юрия; он встречает их пылкие и томные взгляды взглядами участия.

Честолюбивая мысль о победе одушевляет деятельностью его сердце.

Он заводит в бой всех; но выбирает: которой из них нанести первый удар? в которой больше неги и очарования? от которой насладится более самолюбие?

Но оне так разнообразны, так хороши, каждая в своем роде, что выбор с каждым мгновением становится труднее и труднее, нерешительность Юрия более и более увеличивается.

Думка беспокойно переносится от одной к другой, всматривается в его взоры, вслушивается в его слова: которую он полюбит?

Но из семи звуков нельзя ни одного выбросить: все они необходимы для гармонии: это были do, re, mi, fa, sol, la, si,— в семи отдельных существах; а не Зоя, в которой Юрий находил все эти звуки в слиянии, но, к несчастию, не настроенными для гармонической игры ума, сердца и пяти чувств.

X

Между тем как Юрий тщетно старается заменить толпою красавиц одну Зою, сердце Зои томится, повелительно чего-то требует. Нет сна; но не воспоминания, не задумчивость, не черные мысли беспокоят Зою, не грустный, глубокий вздох раздается в темноте ночей; но частое, горячее дыхание от внутренней полноты, от томящего жара. Зое душно, она не спит, но часто в какой-то забывчивости, в бреду ей что-то видится, и она ловит руками, влечет к себе... То в смутных грезах жжет ее солнце, и она торопится к прозрачному светлому источнику, который льется алмазной струей с гор, черпает рукой воду... а вода, как ртуть, неуловимо сбегает с руки... Она бросается в источник... но он горяч, как кипяток... Струйки мучительно щекотят ее... и — Зоя пробуждается... все тело горит, пот росит по ней жемчужинами... То кажется ей, что вдруг опустело

все вокруг нее... она одна в безграничном, глубоком пространстве... хочет всплыть... но тонет глубже и глубже... все чувства ее замерли... и вдруг она спасена... в чьих-то горячих объятиях... осыпает спасителя поцелуями... вся млеет, вся тает... и вдруг... вся стынет... «Что ты сделала!— раздается со всех сторон,— ты убийца! ты погубила человека!» — и Зоя пробуждается, облитая холодным потом.

Во время дня Зое скучно; она ничем не может заняться, все валится из рук, и она рада, когда приедет Городничий; не потому, чтоб он ей сколько-нибудь нравился: избави боже! она ужасается даже одной мысли об этом; нет — но это один человек в целом городе, который смотрит на нее, как на божество, один холостяк в целом городе, который может страдать от любви к Зое, льстить ее самолюбию, удивляться ее красоте и уму, угождать ей, слушать ее приказания, предупреждать желания, и прочее, и прочее,— пустое, в сущности, но очень важное для девушки, у которой должна быть замещена пустота сердца хоть чем-нибудь, если не кем-нибудь, для которой необходим хотя услужливый подниматель платка с полу.

При недостатке *предпочитаемых, предпочитающие* пользуются не любовью, но всеми милостями сердца. К ним иногда даже ревнуют. Зоя ревновала Городничего к висту; она сердилась, уходила с досадой в свою комнату, когда он садился за ломберный столик; она всегда старалась предупреждать отца своего и усаживать Городничего играть с ней в *тинтере*. Игра нисколько не занимала ее; по крайней мере, она знала, что есть человек, который зависит от ее воли, от ее каприза, от ее снисхождения, который не кончит до тех пор игры, покуда она сама не захочет, покуда ей не надоест его присутствие.

Игра с Городничим обыкновенно шла без споров, молча; иногда только тишина прерывалась словами: «Вам сдавать». Но Городничий считал это смиренное *препровождение* времени блаженством: только стол один уже разделял его от Зои; он имел всю возможность смотреть на нее пристально, когда она опускала большие глаза свои на карты и думала, с чего ходить. Он смотрел на нее и представлял себе, каким образом будет играть с ней, когда женится; он мысленно разговаривал уже с Зоей как с женой: «Душа моя Зоенька, сядь ты на стул, а я сяду на диван; потому что я ужасно устаю сидеть на жестком стуле... или сядем вместе на диван... Довольно играть, душа моя Зоенька, мне пора

ехать в полицию... Поцелуй меня... дай ручку... Ты не будешь скучать без меня?.. Я сейчас, *аньелэк* мой, ворочусь!»

Всего этого нельзя было еще сказать вслух, и это составляло разницу между Городничим-женихом, не объявившим еще своих намерений, и Городничим-мужем.

Видя, что нет уже препятствий к составлению своего счастия, он придумывал, с чего бы начать объяснение в любви и желании приобрести сердце и руку Зои Романовны.

Иногда, во время тасованья карт, он сбирался с духом, осматривался, нет ли кого в комнате, и, уверясь, что никто не слышит его слов, вдруг краснел, смущался, откашливал что-то и произносил прерывающимся голосом:

— Зоя Романовна...

— Что вам угодно? — спрашивала резко Зоя.

— Я думаю...

— Что вы думаете?

— Что...

— Что не мне ли сдавать? — нет, вам.

Иногда начинал он:

— Давно уже желания мои...

И в это время, верно, сбиваемый Нелегким по просьбе Ведьмы, брал со стола карты, не считая очков.

— Помилуйте, что вы делаете? — вскрикивала Зоя.— Вы берете осьмеркой тройку и двойку, дамой валета! вы с ума сошли!

Окончание объяснения замирало на языке, и Городничий ждал удобного случая, чтоб начать снова.

Однажды, вместо вступления, начал он разговор о новой красавице города.

— Отгадайте, Зоя Романовна, где я сейчас был?

— Вы обыкновенно бываете в городе; может быть, сегодни были за городом?

— Нет-с, в городе, но где?

— В полиции, в тюрьме, в квартирной комиссии?

— Не отгадали! Вообразите себе, я был у Вернецких.

— Поздравляю! наслаждались лицезрением прекрасной Эвелины!

— Поневоле: отец поймал меня на улице и насильно увез к себе обедать; я не знал, как отделаться.

— Без всякого сомнения, провели очень приятно время.

— Надо отдать справедливость, что они очень гостеприимные люди: закормили и запоили меня; после обеда мать

сказала: сыграй, Эвелина, для гостя и спой что-нибудь... Надо отдать справедливость, что она очень приятно поет, и должна быть препослушная девушка; потому что, как только мать сказала ей: спой, Эвелина,— она тотчас же села за фортопьяны и запела, кажется, тирольскую... Это совсем не так поется, как у нас; а как-то иначе... Мне очень понравилось... Вы, Зоя Романовна, поете тирольскую?

— К несчастию, лишена этой способности.

— Только что она начала петь, я тотчас же взялся за шляпу; она было удерживать; но я сказал, что мне нужно в полицию, и — прямо сюда!

— То есть вы наш дом приняли за полицию.

— Ах, помилуйте, как это можно!.. это только говорится так. Я только сказал... Я с тем намерением ехал сюда и сказал, чтоб, Зоя Романовна, сказать вам...

— Про то, что слышали тирольскую песню?

— Ах, нет!.. Я совсем не то хотел сказать, я хотел сказать...

— Вы, верно, позабыли, что хотели сказать; да не беспокойтесь припоминать, я не так любопытна.

С этими словами Зоя отошла от Городничего, и в этот вечер не было ему предложения играть в карты.

Он явился на другой день... Зоя не выходила в гостиную.

Он приехал на третий день... Зоя не показывается.

XI

— Городничий не был сегодня? — спросила Зоя на четвертый день.

— И сегодня Городничий не приезжал? — спросила она на пятый день.

— Что это значит... третий день нет Городничего? — говорит Зоя на шестой день. Вечер тянется для нее веком. Она нарядилась, вышла в гостиную, посматривает в окно — никого нет. Зоя проходила целый вечер по комнатам, очень мило одетая, локоны против обыкновения завиты со вниманием, локоны густые, большие, как виноградные кисти, оттеняли ее бледноватое лицо. Глаза Зои как будто утомлены немножко бессонницей: в них заметна дремота.

От нечего делать Зоя срывает листики с цветов, украшающих окна, и щиплет их.

От скуки она перешла к досаде, от досады к сердцу, в Зое заговорила ревность.

— Что ты ходишь разряженная? кажется, никого нет? — спросила ее мать.

— Я могу раздеться, если это слишком нарядно! — отвечала Зоя, уходя в свою комнату. Стала раздеваться; раздевается целый час. Бог знает что сделалось с ее горничной; у горничной точно как чужие стали руки: не умеет ни развязать, ни расшпилить, ни расшнуровать порядочно; горничная точно как одурелая все делает Зое наперекор, выводит Зою из себя, как нарочно, сердит ее, не хочет догадаться, что нужно барышне, подает не то, что ей хочется, то торопится, то не двигается с места и в дополнение еще грубит, осмеливается спросить у Зои: «Что ж вам угодно, сударыня?.. я, ей-богу, не знаю?»

Что ж оставалось делать Зое, как не топнуть ногою и вскричать: «Вон, дура!»

На другой день, в воскресенье, Городничий, по обычаю, явился с визитом поутру, после обедни.

Зоя вышла с пасмурным лицом.

— Были у обедни?

— Был-с.

— Много было?

— Очень много.

— И Вернецкие?

— Вернецкие прекрасные люди, как я слышал... Я хочу с ними познакомиться,— сказал Роман Матвеевич, перервав ответ Городничего на вопрос Зои.

— Вы, верно, были очень заняты в продолжение этой недели? вас не было видно.

— Очень, очень занят был.

— Были у Вернецких?..

— Обедайте у нас,— сказал Роман Матвеевич.

— Никак не могу сегодня...

— Отозваны?

— Отозван-с.

— Верно, к Вернецким? — сказала Зоя.

— Не сегодня, так завтра, для праздника,— продолжал Роман Матвеевич.

Городничий принял второе приглашение.

Зоя не могла скрыть страдающего самолюбия. Эвелина Вернецкая не выходила у нее из головы. Пройдя несколько раз по комнате, Зоя остановилась против окна, забывшись, запела вполголоса тирольскую песню и как будто вдруг очувствовалась — вышла вон из гостиной.

Целый день она смотрела пасмурным днем, что-то думала,

замышляла. На другой день все утро проходила она по зале, посматривала на часы; едва стрелка стала приближаться к полудню, Зоя воротилась в свою комнату и начала одеваться.

Когда Зоя не обращала внимания на свой наряд, на свою красоту и на мысли: пристало ли? — тогда все к ней шло. Наряд не связывал ни мыслей, ни стана, природная ловкость не оковывалась жеманной ловкостью, желание усовершенствовать природную красоту не надевало на нее маски — Зоя была прекрасна; но ей захотелось превзойти себя. Чтоб казаться пышнее, она надела тьму накрахмаленных чехлов; желая маленькую красивую свою ножку сделать еще меньше, она надела башмачки, сшитые не по ноге, и ножка ее стала похожа на копытцо; не довольствуясь природной белизной и нежностью тела — она вымылась *рисовой* водой и стала алебастровой; надо было подрумянить искусственную белизну — она нарумянилась. Природные густые локоны показались ей жидки,— приколола накладные; голову опутала всеми бусами, какие только случились; к челу привесила фероньерку; сверх цветного платья накинула розовую пелеринку, сверх пелеринки голубую кокетку; перепоясалась шитой лентой; не забыла пришпилить ни *севинье,* ни *аграфа,* ни мозаиковой пряжки; подвески к серьгам с погремушками.

В этом великолепном наряде она вышла к столу и — бедная Зоя! как трудится она, чтоб очаровать собою Городничего! Казалось, что он в глазах ее принял вдруг образ юноши-красавца, на которого невозможно не взглянуть то томно, то страстно и не опустить стыдливого взора; которому нельзя отвечать без нежной улыбки; подле которого нельзя задуматься без глубокого вздоха и без желания покорить его сердце.

Городничий в самом деле молодеет от ласк и внимания Зои: на лице его выступила умбра от полноты сердца, на глазах выступили даже слезы от наслаждения встречать пылкую взаимность прекрасной девушки.

В первый раз говорят с ним на волшебном языке, в первый раз чувствует он, какими звуками отзывается чарующее молчание в сердце.

XII

Роман Матвеевич, следуя наставлению Иппократа, имел привычку соснуть после обеда хоть полчаса, не более, но непременно. Когда бывали гости, он возлагал попечение

об них на жену и на дочь. Наталья Ильинишна занимала их разговорами; а Зоя игрой на фортопьянах или игрой в карты.

С намерением или без намерения, только Зоя в первый раз села, по просьбе Городничего, за фортопьяны и запела романс: «О ты, с которой нет сравненья». Городничий сел подле нее и стал таять; Наталья Ильинишна, прислушавшись к домашней музыке и видя, что гость вполне занят, вышла отдохнуть в свою комнату.

— Зоя Романовна! — сказал Городничий тихим, трепетным голосом, когда она, кончив романс, вздохнула.

— Что вам угодно? — отвечала Зоя.

— Я хотел... намеревался... давно уже...— продолжал Городничий; но голос изменил ему; он смутился.

— Скажите... мне приятно будет,— сказала Зоя.

— Я...— продолжал Городничий.

— Голубчик! зажми ему рот, зажми,— прошипело во вьюшке.

— К чему! — прошушукал ответ.

— Сделай милость, не дай ему выговорить слова! Все мои труды и подвиги пойдут под ноги!..

— Я...— продолжал Городничий.

— Зажжжми! зажжжжжми!..

Городничий с испугом оглянулся.

— Я...— продолжал он опять, видя, что никого нет в гостиной.

— Вот, вот-вот, уж рот раскрыл!.. Ууу!

— Не бойся! слушай...

— Я хотел... я желал... Зоя Романовна... если...— продолжал Городничий.

— Хожалый пришел,— раздался в дверях голос.

— Что такое? — вскричала Зоя.

— Хожалый пришел! — повторил слуга,— вот к ним...

— Зачем? — едва проговорил Городничий, испуганный внезапным появлением слуги.

— Говорит, пожар...

— Пожар! — вскричала Зоя.

— Пожар! — повторил Городничий, вскочив с места и выбегая в переднюю.

Зоя также вышла вслед за ним.

— Из трубы выкинуло, крыша загорелась,— сказал Хожалый.

— Дежурный там?— спросил Городничий.

— Там, ваше высокоблагородие.

— Хорошо, ступай!.. Донеси мне, если окажется опасным,— сказал Городничий.

— Где пожар? — спросила Зоя.

— Кухня занялась у Вернецкого господина.

— Вернецкого! — вскричал Городничий.

— Команда поехала туда, а я поскакал искать ваше высокоблагородие.

— Ах, боже мой, где моя шляпа? — повторял Городничий, бросаясь во все стороны,— где она?.. Дрожки мои здесь?

— Никак нет-с! — отвечал слуга.

— Ты верхом?.. у Вернецких... Хожалый!

— Верьхий.

— Подавай лошадь!

И Городничий, схватив шляпу, бросился вон, вскочил на дежурного коня, поскакал; Хожалый за ним рысью.

Зоя стояла, не двигаясь с места.

— Пожар? где? — вскричала Наталья Ильинишна, выбегая в залу.

— Да, что-то загорелось! — отвечала Зоя, как будто очнувшись и выходя из комнаты.

— А что, каково? — просвистел Нелегкий, вылетая из трубы на Ведьме.

— Признаюсь! да это такая чудная вещь, что уж я не знаю! Я так и думала: ну, все пропало!.. Трех умов бы не приложила! Одно — рассуждаю себе — одно средство: заставить подавиться его словом или навести на нее морок.

— А ты, баба! что бы толку было? Положим, что у него остановилась бы целая речь в горле — а он бы упал на колена; она бы, положим, упала в обморок — а мать прибежала бы, перекрестила бы ее... тогда что?

— Правда твоя!.. Ну дивлюсь, что тебе только один городишко дан в распоряжение! тебе бы, по крайности, область целую!

— Да... да нет! я не честолюбив и не искателен; притом же величина ничего не значит: что мне в области! из одного человека можно больше сделать, нежели из мильона голов; один в мильон раз лучше мильона: одного можно так раздуть, что он в состоянии будет съесть полчеловечества — вот что!

— Хитер ты!.. Знаешь что?

— Что?

— Я тебя очень люблю!

— Знаешь что?

— Что?

— Убирайся в трущобу!

Ведьма ужасно как обиделась этим словам; но скрыла свою досаду и отправилась восвояси.

— Бес проклятый! — думала она,— постой! дай мне только овладеть красотой Зои! тогда посмотрю, скажешь ли ты мне: «Убирайся в трущобу!» Немного остается: дай только к Иванову дню Думке воротиться!.. Я ее, голубушку, истомлю тоской девичьей, истает она у меня, увянет, по слезинке оберу ясные очи, по листику оберу пылкой румянец, по искорке оберу пламень сердца, по волоску выщиплю длинную косу! все ее богатство будет моим! Тогда, бес проклятый, скажи мне: «Убирайся в трущобу!»

XIII

Когда Городничий прискакал на пожар, дом Вернецких был уже обнят пламенем. Посреди толпы народа и пожарной команды, труб и бочек, треску и шуму, давки и ломки, дыму и летящих галок несколько человек держали женщину; она была уже почти без памяти, но рвалась из рук и вскрикивала потерянным голосом: «Пустите! пустите к ней! Эвелина! дочь моя!»

Никто не уговаривал уже ее, не уверял, что дочь ее жива: все заботились только удерживать бедную мать, чтоб она не вырвалась из рук и не бросилась в огонь.

Сам Вернецкий был в отсутствии.

— Что, что такое! — вскричал Городничий, соскочив с лошади и подбегая к толпе.

Из отрывистых слов и воплей Вернецкой он понял, что Эвелина в огне.

Всхлопнув руками, Городничий бросился на двор горящего дома, где уже работала пожарная команда, прыская на огонь и вцепляясь в крышу баграми. Густой дым взвевался клубом, стлался по земле, искры сыпались, как из горна. Пробираясь по двору сквозь дым и темноту, Городничий столкнулся с кем-то, шляпа с него слетела, искры посыпались из глаз... Между тем как он пришел в себя и хотел поднять шляпу — вихрь отвеял дым, пламя осветило, и Городничий увидел, что подле него грохнулся на землю пожарной команды солдат; ноша, обвернутая в шинель, выпала из рук его — это была полумертвая девушка.

Хлынувший клуб густого дыма задушил снова озаряющее пламя и прилег тучей на землю.

Между тем приехал и сам Вернецкий. Узнав, что дочь его обнята уже пламенем, он велел держать жену свою, а сам бросился к горящему дому, крича:

— Братцы, помогите мне спасти дочь! половину именья отдам спасителю!

— Вот, вот она! — закричал народ, увидя Городничего, выбегающего из дыму с девушкой на руках.

Отец бросился к нему, схватил беспамятную Эвелину и понес к жене, целуя бледное чело дочери.

— Вот, вот она, вот твоя Эвелина! — вскричал он, передавая дочь на руки матери, которая облила ее слезами и, осыпая поцелуями, скоро возвратила ей чувства.— Вот спаситель Эвелины! — сказал Вернецкий, обнимая Городничего.

— Вы возвратили и ей, и мне жизнь! — сказала мать, прижимая к груди своей голову очувствовавшейся Эвелины, но еще не пришедшей в себя от испуга.

В тот же день Зоя узнала, что Городничий спас дочь Вернецкого: вынес ее из огня, подвергая жизнь свою почти неизбежной опасности.

— Ты слышала, Зоя,— сказала ей мать,— бедная Вернецкая чуть-чуть не сгорела! несчастная!

— Что ж за несчастие быть спасенной! — отвечала Зоя,— мне кажется, напротив, это придает более значения и красоте, и достоинствам: всякий будет смотреть на нее с любопытством.

— Ты начиталась философии, моя милая,— сказала с сердцем Наталья Ильинишна.

— Теперь у нас двое прославленных в городе: спасенная и ее спаситель! — продолжала Зоя.

— Не хотела ли бы и ты побывать в огне?

— Отчего же: побывать ничего не значит, если за это можно купить общее внимание.

На другой день Зоя узнала, что Городничий предложил Вернецким свой дом, покуда они устроятся.

На третий день новые вести: Городничий обручен на Эвелине.

Казалось, что Зоя приняла равнодушно эту весть. Неужели же в самом деле Зоя будет сожалеть о подобном женихе? Однако же на лице Зои выразилось что-то странное: какое-то равнодушие ко всему, соединенное с презрением. Она ходила по комнатам, в наружности не было ничего

неспокойного, а взоры блуждали по всем предметам, искали, на чем бы остановить свое внимание.

В это самое время вдруг отворилась дверь из передней, и Подполковник инвалидной роты, Эбергард Виллибальдович, вошел в залу. Сделав несколько шагов вперед, он остановился и отвесил три почтительных поклона Зое; потом подошел к руке.

— Все ли топром здорофи, Сое Романне? имей ли фозмошнезь фидеть фаш паштенне ратидль?

— Он в своей комнате,— отвечала Зоя.

Между тем человек доложил ему о приезде Подполковника; Роман Матвеевич приказал просить его в кабинет.

При входе в кабинет, где была в это время и Наталья Ильинишна, Эбергард Виллибальдович извинился, что обеспокоил своим прибытием, и сказал: «Имей маленькэ телё от вас».

Наталья Ильинишна хотела выйти; но Эбергард Виллибальдович обратился к ней с просьбой остаться.

— С фы и в обше с вашем супруком я имей телё,— сказал он ей.

— Что вам угодно, господин Подполковник?— сказала Наталья Ильинишна, садясь на диван и повторяя приглашение садиться.

Эбергард Виллибальдович начал историю с своей родословной; потом приступил к изложению своего формуляра; потом стал описывать настоящее свое положение, что, получая достаточное жалованье, он обзавелся порядочным хозяйством, и потому — сказал он, несколько приостановившись,— в таком чине и при обеспеченном состоянии ему необходимо благовоспитне хазейкь...

Между тем как Роман Матвеевич и Наталья Ильинишна посмотрели с недоумением друг на друга, Эбергард Виллибальдович, в заключение своей речи, объявил, без больших церемоний, что, находя Зою Романовну благовоспитанной, достойной девушкой и покорной дочерью и надеясь, что она будет верной женой и нежной матерью, он желает получить ее руку, на что и просит родительского согласия.

Роман Матвеевич не знал, что отвечать на подобное предложение; но Наталья Ильинишна не задумалась.

— Господин Подполковник,— сказала она,— мы должны откровенно сказать вам, что вполне предоставили дочери своей располагать своим сердцем и рукою.

— Да, вполне,— прибавил Роман Матвеевич, довольный выдумкой Натальи Ильинишны.

— Этё и прикрасне! Сое Романне сам решит мой ушесь! Посвольть мне гафарить знее.

— Когда вам угодно; но... мы лучше сами объявим о вашем предложении дочери и уведомим вас.

— О, нет, я толжень сам гафарить,— сказал Эбергард Виллибальдович,— если посфольте, сафтра.

— Очень хорошо! — отвечала Наталья Ильинишна сухо, досадуя уже на дерзость Эбергарда Виллибальдовича, который между тем, расшаркался, пожелал: благополюшно,— и поцеловал руку Натальи Ильинишны.

Зоя продолжала между тем ходить по комнатам; глаза ее блистали, а чувства, казалось, желали какой-нибудь внешней бури, чтоб заглушить внутреннюю.

— Аа, вот и Сое Романне! — вскричал Эбергард Виллибальдович, выходя в залу и встретив Зою.— Сое Романне,— продолжал он, подходя к ней,— ратидль фаш сказаль, што от ваше савизит заставить мой шастье!

— Какое счастье?

— Загласий на мой претлошение: я шелай палушидь ваше прекрасне руке... Ратидль ваш, папенькэ у мамке сказель, это ваш фоль заставлеит.

— Мою волю?.. они это сказали вам?

— Сказаль!

— Они не отвергли вашего предложения?.. Если это составляет собственно мою только волю... я согласна.

— О шастливейше шельвег! — вскричал Эбергард Виллибальдович.— Посфольте фаш руке.

Между тем Роман Матвеевич не мог удержаться от смеха.

— Вот послал бог жениха! — сказала Наталья Ильинишна.

— Пусть он адресуется к Зое, она отделает его добрым порядком... Что это?.. в зале его голос... Он, верно, говорит с Зоей!.. Пойдем к нему на помощь!..

— Телё коншен! — вскричал Эбергард Виллибальдович, встречая в дверях Романа Матвеевича и Наталью Ильинишну.

— Зоя! — произнесли в одно время Роман Матвеевич и жена его.

— Вы предоставили моей воле согласие на предложение господина Подполковника... я согласна отдать ему свою руку.

Отец и мать остолбенели.

— Прошу ротидльски плагословене!

— Господин Подполковник, эти дела так скоро не де-

лаются!.. мы должны подумать!..— сказала Наталья Ильинишна.

— Зачем же думать? вы мне предоставили думать об этом: я согласилась, и все думы кончены.

— Если так!..— сказал Роман Матвеевич грозно,— не раскаивайся же, дочь!

— О, боже мой,— вскричала Наталья Ильинишна, залившись слезами,— что ты делаешь, безумная!.. Нет, господин Подполковник, она сама не знает, что делает... она не думала... сама не знает, на что соглашается!.. этого не будет!

— Я дала слово... моя рука никому не будет принадлежать, кроме вас; господин Подполковник; вот все, что от меня зависит,— сказала Зоя решительно и — вышла.

— Прошу ваш ротидльски плагословене,— сказал Эбергард Виллибальдович, преклоняя колено перед Натальей Ильинишной.

— Нет-нет-нет! — вскричала она, вскочив с места и выбегая из комнаты.

— Безумная девка! — вскричал и Роман Матвеевич после долгого молчания, ходя по зале, заложив руки назад.

— Как бесумны! што бесумны! хоц-доннер-веттер! — вскричал и Эбергард Виллибальдович, встав на ноги, вытянувшись и грозно притопнув ногою,— што бесумны девка, когда сокласильзе на мой претлошене!.. я не пратифне ваше саглазие телал претлошене!.. прошу мне тафаить сатисфакцие!

И Эбергард Виллибальдович грозно схватился за эфес своей шпаги.

— Если получили согласие, то и женитесь на ней, кто вам мешает! — отвечал равнодушно Роман Матвеевич, продолжая ходить по комнате.

— А! вот это другой телё!

И — Эбергард Виллибальдович бросился целовать Романа Матвеевича.

— А все-таки дочь моя безумная девка! — продолжал Роман Матвеевич.

— Как!

— Да так! Вы умеете играть в бостон вдвоем, господин Подполковник?

— Ниет!

— Вот видите ли: не только себе, она отцу не нашла постоянной партии.

— Я пуду учить... это не трудно.

— В бостон-то нетрудно, да в марьяж-то играть в ваши лета уж не научитесь.

— Марьяж? Ооо! я марьяж играй, и ошень хорошо играй! это мой люпими икра.

— Не верится!— сказал, вздохнув, Роман Матвеевич,— что ж мы стоим, покорно прошу в гостиную; оставайтесь уж у нас обедать, любезный будущий зять.

Зоя вышла к обеду разряжена и — как будто довольна собою.

Эбергард Виллибальдович подошел к ней счастливым женихом и поцеловал руку.

Наталья Ильинишна сидела за столом с распухшими глазами и молчала; но Роман Матвеевич тешился над дочерью и затрогивал ее самолюбие.

— Давно вы в службе, почтеннейший мой будущий зять?

— С 93-й год.

— Что, в то время, я думаю, вы были уже лет двадцати?

— Так.

— Хм! так вы немного чем постарше меня.

Но эти злые намеки действовали только на Наталью Ильинишну, а на Зою нисколько: она как будто не понимала, что отец колет ей глаза.

XIV

Припомните, как Думка-невидимка металась с чела одной красавицы на чело другой; ей хотелось знать: которую *он* полюбит? но и князь Юрий метался от одной к другой; от нежной Юлии к чувствительной Барб, от чувствительной Барб к горделивой Мельани, к задумчивой Агриппинё, к игривой Пельажи, к простодушной Зеноби и говорливой Надин; всем говорит он одни и те же слова, одни и те же уверения и обещания. Что это значит? всех одинаково нельзя любить,— думала Думка,— по наружности ничего не узнаешь, надо проникнуть в мысли! — и с этим словом она порх на чело Юрия.

В эту самую минуту он только что развернул письмо от своей матери; пробежав его взорами, он остановился на post-scriptum, где было написано: «За Зоей, как мы слышали, сватались многие: Полковник, Маиор, уездный Судья и даже Городничий; но она всем отказала. Я видела ее недавно в церкви; она ужасно как изменилась. Бог ее наказывает за тебя».

— Зоя! — вскричал Юрий,— примирит ли судьба нас с тобой? любила ли ты, любишь ли ты еще меня?

«Он Зою, Зою любит! — заговорила Думка.— Воротимся к ней!»

— Еду, еду! еще раз взглянуть на тебя, Зоя! еду!

И Юрий взял отпуск. Полетел за Киев, скачет, всю дорогу поднял на воздух; предметы справа и слева сливаются в степь; четыре раза на небе была то ночь, то день... Вот уж и святые берега Киева; еще несколько десятков верст и — Юрий глубоко вздохнул.

— Поедем через город! поедем! — прошептала ему Думка.

Колокол ударил к вечерне. Около церкви, на площадке, собрались толпы народа.

— Стой!.. Что такое?

— Свадьба! — отвечали прохожие.

— Чья?

— Да здешняя красавица Зоя Романовна выходит замуж... за такого урода, что и сказать нельзя! за Подполковника инвалидного.

Обдало огнем Юрия; а сердце оледенело, череп как будто надвое распался.

А Думка свистнула вихрем прямо в храм божий, пронеслась сквозь народ холодной струей — прямо к Зое.

А Зоя стоит перед налоем, разодетая-разодетая, бледная-пребледная; а подле нее высокий, худой, в инвалидном мундире, держит Зою за руку; рука у нее дрожит... слеза хочет брызнуть из глаз... Думка сжала ее чело...

— Посмотри в последний раз кругом себя! нет ли *его*!..

Священник взял уже в руки кольцы...

— Посмотри! — повторила Думка.

Зоя обернулась направо... обвела грустным взором толпу любопытных... а подле крылоса кто-то стоит бледный, с опавшей головой, с закрытыми очами... Зоя вскрикнула, затряслась и упала без памяти на руки Анны Тихоновны, посаженой матери Эбергарда Виллибальдовича.

XV

Настала великая Ивановская ночь, ночь торжественного шабаша нечистой силы на Лысой горе. Нечистая сила, окутанная тучами, несется со всех сторон в образе египетских гиероглифов. Вихрь мчится вперед; он взвил прах с Сахары, свернул полотном воду с поверхности моря, принес на Лысую гору, начал строить великие палаты, колоннадой из водяных столбов, накрыл ее хмарой, зажег вместо

светильников молнии, уставил на горе трубачей-ветров под началом Вьюги, заготовил угощенья и ждет *Старшого* и знатных гостей. Вот прибыл на бороде верхом Кощей Бессмертный, прикатила в ступе Баба-Яга, приплыли на потоках Русалки, слетелись на помелах Ведьмы, сбежались Лешие и Домовые, пришли, подпираясь клюками, Колдуны и Чародеи — и все ждут Бурю великую Грозу громоносную. Едва показалась она из-за дали далекой, вихрь и туча пошли навстречу.

Вот приближается к Лысой горе Буря великая Гроза громоносная с громом и грохотом, с треском и трепетом... Ветры взвыли хором хвалебную песню.

Опустилась Буря великая над Лысой горой посреди шума и кликов, посреди озаренных голубыми и багряными молниями смерчей, воссела, нахлупилась. Вокруг нее стала дружина и старшие: Прpp, Тшшш, Фффф, Уyyyy, Сссс и Ммм.

Когда ветры прогудели на дуплах, проклубились Русалки, проаукало Эхо, понесли угощенья: изморозь, крупный град и крупу на блюдах, и в чашах заздравный туман.

— Ну, Баба-Яга, как ты поживаешь? что нового?

— Пришли черные годы, Буря великая Гроза громоносная, пришло в ступе воду толочь!

— Истолки в мелкий порох, скажу спасибо.

— Проявилось на белом свете неверье в людях, едешь — никто не кланяется, знать не хочет, едешь — и подмести нет ничего... житья нет! Мою избушку на курьих ножках с лица земли стерли, построили на месте палаты с крестом. Живу в погребах да в подвалах, да еще и за ночлег плати; а я человек не денежной: пришло побираться на перекрестках! Вот какая доля! Помоги, Буря великая Гроза громоносная! Какие-то народились книжные кудесники, переписали всех в книги, и меня написали, уладили такой запрет, что и малые ребята перестали старой бабы бояться; не только что розгой — всем помелом ничего не сделаешь! И в сказках пишут не про богатырей великих, а про каких-то все вельмож, что чужими руками жар загребают да пушкой воюют, палицы не смогут с земли поднять... Да еще какие-то людские взялись мудрецы, допытываются, откуда я родом. Говорят, видишь, из Индейского царства, а я... вот тебе шиш! сроду там не бывала!

— Чудные вещи ты рассказываешь!.. Ну а ты, Кощей? что у тебя в подземельном царстве нового?

— Да что, учусь читать и писать!

— Это что?

— Верно, век такой пришел! Бывало, двух перечесть не умеешь; да и к чему считать, как во всем избыток, всего вволю; а теперь не то время — бедность да мель! Бывало, вместо подписи капнешь да размажешь пальцем, а дьяк напишет: руку приложил такой-то; а теперь сам собственной рукой напиши и имя, да еще напиши, что и руку прикладывал; а то не верят: говорят, что подписывать-то ты сам подписывал, да, может быть, не сам руку прикладывал.

— Хм! что ж ты теперь почитываешь?

— Да о самом себе историю читаю; таких вещей понаписано!

— Хорошо?

— А провал знает! странная книга: как смотришь в нее, так хорошо; а как отвернешься, так худо.

— Хм! а что, дочки здоровы?

— Что ж им делается!

— Ни одной не сбыл с рук?

— Одну только Машу, да и то обманом; устарели в девках.

— Неужели обманом?

— Уже: обморочил Ивана Царевича, Берендеева сына: влюбился в накладную красоту да и увез — я и рад; еще попугал его, чтоб скорее выбежал из подземельного царства. Про это есть и История печатная, чудная История! я наизусть выучил! угодно, перескажу?

— Вдругорядь!.. Ну, Домовые, вы что?

— Да без мест, кое-где бродим.

— Как!

— Места за печкой уничтожены.

— Неужели?

— Уже.

— Хм! А вы, Лешие, что скажете?

— Леса переводятся, жить негде.

— Неужели?

— Уже.

— Хм! Надо принять меры! Тс! Ветры! позвать Русалок!.. Ну, каково вам?

— Бедность настала! пощекотать некого.

— Отчего?

— Да люди не щекотливы стали.

— Что-то вас мало?

— Перевелись, а вновь не прибывают — девицы перестали топиться от любви.

— Да что-то у вас щетинисты волосы?

— Накладные.

— Это что!

— Мода такая.

— Ах вы, тина болотная! за модой гоняются! Ведьмы что?.. Где Ведьма Киевская?

— Еще не бывала: верно, где-нибудь застряла между огнем и полымем.

— Бррр! не люблю кто опаздывает! пляшите!.. Кощей, тряхни бородой! А мы, господа, составим совет.

Пррр, Тшшш, Фффф, Уууу, Сссс и Ммм низко поклонились.

— Вы слышали, господа, что говорили Кощей, Баба-Яга, Домовые, Лешие и прочие?

— Слышали, Буря великая Гроза громоносная.

— То-то же я радуюсь, что вы слышали: это доказывает ваше усердие и внимание к пользам нашим. Скажите же мне, чем помочь беде? Начнем с младших. Ну, Ммм?

— Исполняя твое Громоносное повеление, я считаю преисподнею обязанностию сказать свое мнение... Кх!.. хотя мое мнение... Кх!.. есть ничто даже в сравнении с неслышным голосом невидимой мошки... Но... Во всяком случае, я потщусь надуться как должно более... и... Кх! сказать то, о чем давно уже помышляю, по долгу моему и по моей обязанности... Во-первых... Кх!.. то, что все сказали, подвержено еще сомнению и требует исследования... ибо... как бы слово ни было верно, оно всегда разнится с делом... и обратно: дело разнится с словом... и потому не благоугодно ли будет назначить комиссию...

— Ну, а во-вторых?

— Во-вторых?.. Второе уже будет последствием первого... и так далее... то есть третье будет последствием второго... и будет это ряд логических выводов...

— Хм! А ты что скажешь, Сссcс?

— Я вполне согласен с мнением Ммм.

— Я вижу, вы любите исследования; какой бы вам людской пример сказать? Если бы, например, голодный просил у вас есть, вы бы употребили год на исследования, действительно ли он не ел, и потом бы определили: дать ему есть. Это очень осторожно и экономно. Ну, а ты что скажешь, Ууууу?

— Доверяя вполне донесениям Бабы-Яги, Кощея и прочих членов шабаша, я полагаю, что нужно только потре-

бовать от них эти донесения письменно и по оным поступить с виновными беззаконным образом.

— Вести дела судебным порядком, не так ли?

— Действительно так, Буря великая Гроза громоносная.

— По судебному порядку, нужно навести на все справки, справки требуют исследований... это опять дело о голодном... Ну, а ты, Фффф?

— Мое мнение такое, что должно обдумать этот важный вопрос основательно и предварительно и потом уже изложить мнение; ибо...

Между тем как Фффф доказывал, что экспромтом нельзя сказать хорошего мнения, Тшшш вышел потихоньку из залы совета и бросился в залу танцовальную; там отыскал он Нелегкого и прямо к нему, отвел его за водяной столб...

— Любезный друг, ты, верно, сделаешь для меня все, что я тебя попрошу?

— Все, что вам угодно.

— А вот что, мой друг, у нас теперь идет совет; каждый должен сказать Буре великой Грозе громоносной мнение свое о поправлении современных обстоятельств нечистой силы... Ты, я думаю, слышал жалобы Бабы-Яги и прочих?

— Как же.

— Так вот что: нужно сказать мнение свое... а я совершенно не в духе... Сделай одолжение, ступай за меня и скажи что-нибудь умное, хорошее, достойное внимания... Я знаю, ты необыкновенно как находчив, для тебя это ничего не значит... А уж ты будешь мной доволен...

— Но каким же образом?..

— Что ж такое! сегодня маскарад: мы поменяемся только костюмами.

— Не то; но мне неловко оставить даму: мы только что начали мазурку.

— Я встану за тебя. Ты с кем танцуешь?

— А вот с пиголицей.

— Я хоть и не мастер, да ничего, как-нибудь пройдусь... поскорей, поскорей!

Они поменялись масками.

Нелегкий, сбросив голову Египетского черногуза, накинул на себя костюм священного Мемфисского жука и пополз в совет.

— А! Тшшш, теперь твой черед говорить — ну?

— Теперь тяжкие времена,— сказал Нелегкий, преклоняя усы пред Бурей великой Грозой громоносной,— трудны и средства к восстановлению заблуждений людских.

Давно уже подано было мнение не учить людей ничему, кроме насыщения желудка; но этого мнения не послушались — и вот последствия! Люди не только не верят нечистой силе, но и осмеливаются даже доказывать, что она не существует. Дерзость беспримерная! Они постигли все средства, которые мы употребляли для морока; остается одно: овладеть стихиями и производить по произволу гром и молнию, дождь и снег... Чтоб остановить эти успехи людей, клонящие земной шар к погибели...

— Ну, ну, ну, говори скорее,— пробурчала Буря великая Гроза громоносная.

— Должно запутать людей в сети познаний, раздробить все на бесконечность, сбить их с толку в отношении понятий о вещах...

— Сделать Фаустами? — сказал Прррр с досадою,— странное средство!

— О, нет, теперь таких глупцов уже нет: всякий знает, что наука бездна, что в одну жизнь не узнаешь всего, точно так же, как одним взглядом всего не окинешь; что всех познаний не совокупишь в одном уме и в одной памяти. Теперь люди хитры, не набивают головы; но цедят все сквозь мозг свой... Одно средство: сбить их сомнением в истине понятий; народить разногласных систем и сделать истину не одностороннею, не двухстороннею, но многостороннею, чтоб каждый человек имел свое *собственное* понятие и сам сомневался в нем; завидовал бы понятиям других и вместе противоречил им. Из этого возникнет хаос не вещественный, отвлеченный: он смешает языки, одежду, полы, состояния, цветы и звуки. Надо, чтоб ни в чем не было разницы и чтоб какой-нибудь великий человек, смотря в лорнет, спрашивал бы и себя, и других: что это, женщина или мужчина? кто это, господин или раб? Надо завалить людей заботами и предприятиями, чтоб их намерения были велики, но не имели цели. Вот мое мнение вкратце.

— Умно, хорошо! браво, Тшшш! Ты моя правая рука! Садись у моего подножия... Ба, ба, ба! ты откуда, Киевская Ведьма? Где была? что ты такая раскаленная?

— Металась из угла в угол, билась лбом об стену, рвала недра на части и принесла тебе жалобу на обиду великую!

— Что такое?

— Тебе обещала я, Буря великая Гроза громоносная, поставить Ведьму-девицу, без вякого изъяна... сам ты давно изволил мне заказывать...

— Ну?

— Вот я и отыскала девицу, и готовила ее по твоему указу в Ведьмы для твоей ложницы... Дело к концу было... чего мне стоило!.. За труд обещал ты мне отдать ее красоту на наряды... Да нашелся злодей, который позавидовал мне! поставил вверх дном мои замыслы! швырнул труды мои под ноги... Я отлучилась, а он — хвать, да и выдал ее замуж! Уууу! уууу!..

— Кликнуть его ко мне!

— Вон он, вон, Нелегкий, вон прячется за смерчем черногуз Египетский!

— Притащить его сюда! — фыркнула громогласно Буря великая.

Тащат бедного Тшшш за длинные ноги, а он думает: «Пропал! верно, узнала Буря, что я подослал вместо себя Нелегкого».

— Виноват! каюсь! — и Тшшш стал на колени, вытянул красный нос.— Виноват, был не в духе, не знал, что сказать... в глазах немножко помутилось.

— Аа! так ты и хмелен бываешь! Стоптать его ногами! смесить с грязью!

Запрыгали Ведьмы по Тшшш, давай его толочь в голову, смесили с грязью.

— Вот тебе злодею! — сказала Ведьма, довольная своим мщением.

«Что, взяла! старая Ведьма! — прошептал Нелегкий, важно сидя у подножия Бури великой Грозы громоносной,— что, взяла! — постой!»

— Дозволь слово молвить, Буря великая Гроза громоносная,— сказал он, преклонив усы пред Бурею.

— Говори, ты моя правая рука.

— Только не при всех...

— Вон! — буркнула Буря окружающим ее,— ну!

Нелегкий стал рассказывать все, что случилось в заднепровском городке с Зоей и с ее женихами, до самого сватовства за нее Эбергарда Виллибальдовича.

Буря великая ужасно хохотала, слушая описание сватовства.

— Ну?

— Кто же мог предвидеть, чтоб она решилась за него выйти замуж?..

— Разумеется.

— А кто виноват? Киевская Ведьма не сама ли выпустила ее Думку на волю?

— Глупая!.. ну? так она и вышла за него замуж?

— Совсем нет! вышла, да не за него.

— Это как?

— Как венчали ее, а в это время, откуда ни возьмись, и Юрий, и Думка. Как увидела она его — хлоп об землю! и понесли ее домой без чувств и без памяти. Народ следом, и Юрий следом, и жених тут же; а она вдруг и начни рваться да метаться; кричит во весь голос: «Юрий, мой Юрий!» А Юрий к немцу: милостивый государь, пожалуйте сюда! вы думаете жениться на этой девице? — Так есть! — отвечал он.— А вы слышали имя, которое она в беспамятстве произнесла? — Слыхал! — Этот Юрий — я; она меня любит, я ее люблю; и потому, если вам угодно продолжать свою претензию и намерение, то не угодно ли вам прежде изведать силы со мною: на шпагах или на пистолетах — на чем угодно? — Покорнейше фас плаходарим! — отвечал немец,— я не намерен выходить на дуэль, это запрещены; и шенильси не намерне на люблен дефице! — Ну, это дело решенное! — сказал Юрий; и точно, на другой же день он явился в дом Романа Матвеевича; а через несколько дней была свадьба.

— Почему ж ты это все так подробно знаешь? — спросила Буря великая.

— А я тот самый Нелегкий, который имел честь служить в заднепровском городке.

— Как!

— Вот так и так,— сказал Нелегкий, припадая всеми восьмью ногами на колена.

— Так Тшшш меня обманул! — ну, пек ему! Я тебя прощаю и назначаю главным над всеми Нелегкими и Тяжелыми. А Киевскую Ведьму за обман вытянуть в нитку и штопать ею все старые чулки!..

Этим докучная сказка и кончилась.

ПРИМЕЧАНИЯ

Роман А. Ф. Вельтмана «Сердце и Думка» был издан единственный раз в 1838 г. (М., 1838, ч. 1—4) и после смерти писателя не переиздавался. В основу настоящей публикации положен текст этого издания. Текст печатается в соответствии с современными нормами правописания; в некоторых случаях сохранены орфографические и синтаксические архаизмы, отражающие разговорный и литературный язык эпохи, а также индивидуальную манеру Вельтмана-писателя.

Стр. 25. *Малек-Адель* — герой романа французской писательницы М. Коттен «Матильда, или Записки, взятые из истории крестовых походов» (1805). *Сен-Пре* — герой романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761). *Фанфан* — герой ряда французских авантюрных романов XVIII века. *Алексис* — герой романа французского поэта Ф.-О. Париди де Монкрифа «Вечная любовь Алины и Алексиса» (переведенного Жуковским под названием «Алина и Альсим»).

Стр. 28. *...ночь на Иванов день* — ночь на Ивана Купала (народное название Иоанна Крестителя), с 23 на 24 июня; с ней связывалась активизация нечистой силы: шабаш ведьм, цветение папоротника, «бесовские» клады и т. д.

Стр. 32. *«Открытые тайны древних магиков»* — книга, неоднократно переиздававшаяся и популярная в начале XIX в., включавшая толкование «гадательных примет» Мартына Задеки, Я. Брюса, В. Альберта и др.

Стр. 48. *Шаль бур-де-суа* — шелковая шаль особого покроя.

Стр. 50. *Гарнитуровое платье* — платье из плотного шелка; *блонды* — шелковые кружева.

Стр. 54. *Вист* — карточный термин, означающий игру против партнера; *сюры* — козыри.

Стр. 54. *Экосез* — шотландский народный танец, разновидность контрданса, исполнявшийся под аккомпанемент волынки; в конце XVIII в. стал бальным танцем.

Стр. 55. *Польское* (польский) — танец, которым обычно открывался бал.

Стр. 56. *Мазурка* — польский народный танец, ставший в XVIII в. бальным. *«Мазуречка панна...»* — начало польской народной песни («мазуречка» — жительница Мазовецкого приозерного края). *Полковник... начал ходить* — т. е. не стал выполнять фигуры танца, а просто сопровождал даму.

Стр. 57. *Система гомеопатическая* — система лечения болезней ничтожно малыми дозами тех лекарств, которые в больших дозах могут вызвать явления, подобные признакам данного заболевания (предложена в конце XVIII в. С. Ганнеманом). *«Кошка и мышка»* — фигуры мазурки.

Стр. 59. *Эпистола* — письмо.

Стр. 61. *Гроденапль* — плотная шелковая материя.

Стр. 62. *Дирекция* — здесь: равнение фронта, держание шага и строя по правому или по левому флангу.

Стр. 63. Пикулина — род флейты. *Додо* — бытовое наименование дронтов, птиц семейства голубиных (в настоящее время вымерших), отличавшихся большим ростом (до 80 см) и толщиной, очень прожорливых.

Стр. 64. *Магнетизм* — теория австрийского врача Ф. Мессмера (1733—1815) о том, что посредством «животного магнетизма» можно якобы изменять состояние организма, в том числе излечивать болезни. *Онейропат* — от греч. лечащий сном. *Сомнамбулизм* — здесь: совершение во сне привычных действий (хождение, перекладывание вещей и т. п.)

Стр. 65. *Экстракт* — здесь: краткое изложение содержания дела с приведением выдержек из документов.

Стр. 67. *Антонов огонь* — гангрена.

Стр. 73. *Грогро* — плотная шелковая материя.

Стр. 85. *...гнев Ахиллеса, гнев... Агамемнона* — одна из центральных тем «Илиады» Гомера: Ахиллес, поссорившись с Агамемноном из-за Бризеиды, отказался участвовать в сражении, что привело к временному поражению греков. *Гнев Хриза* — согласно «Илиаде», явился начальным этапом гнева Ахиллеса: Агамемнон, похитив у троянского жреца Хриса (Хриза) дочь Бризеиду, отказался вернуть ее отцу, за что Аполлон наслал мор на ахейцев.

Стр. 87. *Святой Алексей* — митрополит Московский (1293—1378), впоследствии канонизированный.

Стр. 88. *Меринос* — тонкая ткань из шерсти тонкорунной овцы; *тибет, терно* — тонкая ткань из козьего пуха; *клок, манто* — женские плащи особого покроя. *Депо* — здесь: место для собрания и хранения каких-либо предметов. *«си» перед «эн»* — намек на утрированное, неправильное произношение французского носового N. *Сиамские близнецы* — Ганг и Энг (1811—1874), близнецы, родившиеся сращенными в результате порока в развитии мечевидного отростка грудины.

Стр. 90. *Фермуар* — застежка на ожерелье или ожерелье с такой за-

стежкой. *«Роберт-Дьявол»* — опера Дж. Мейербера (1831). *«Фенелла»* — русское название оперы Д.-Ф.-Э. Обера «Немая из Портичи» (1828). *«Дон Жуан»* — опера В.-А. Моцарта (1787). *«Чем тебя я огорчила...»* — популярная песня на слова А. П. Сумарокова.

Стр. 91. *Я в пустыню удаляюсь...»* — популярная песня на слова М. В. Зубовой (1779). *...цуг в шорах* — упряжка без хомута, в которой лошади идут гуськом или парами. *Гайдук* — здесь: служитель у вельможи, обычно большого роста в гусарской, венгерской, казацкой одежде.

Стр. 92. *...принцы с хохлом и горбом* — указание на сатирический водевиль Ф. А. Кони «Принц с хохлом, бельмом и горбом» (1833). *Иогель* — известный в Москве в начале XIX в. танцмейстер. Ср. в письме А. И. Тургенева к К. Я. Булгакову от 14 мая 1806 г.: «Надобно тебе знать, что я теперь уже совсем не смешон на бале и что Иогель образовал мои ноги лучше, нежели Шлецер голову».

Стр. 101. *Мадам Дюдеван* — Аврора Дюдеван — настоящее имя французской писательницы Жорж Санд (1804—1876). *«Индиана»* — роман Ж. Санд (1832).

Стр. 102. *Ида* — горный хребет во Фригии (область в Малой Азии). *Палатин* — один из семи холмов, на которых возник Рим. *Эдилы* — в Древнем Риме должностные лица, ведавшие общественными играми, надзором за строительством и содержанием храмов, раздачей хлеба и т. п. *Камка* — шелковая китайская ткань с разводами. *Куковинка* — дурно выпеченное тесто; отсюда — название кабачка. *Пимперле* — средневековый итальянский фокусник. *Pasquin* — Пасквино, обломки античной статуи в средневековом Риме, ставшей местом приклеивания сатирических стихов (отсюда: пасквиль); позже этим именем стали называть итальянских паяцев. *Иисус Навин* — согласно Библии, преемник Моисея.

Стр. 102. *Ландо* — четырехместная карета с открывающимся верхом.

Стр. 103. *Перигелия* (перигелий) — ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела, вращающегося вокруг него. *Адонис* — красивый юноша, возлюбленный богини любви Афродиты. *Кузнецкий мост* — место в Москве, где находились модные французские лавки. *С静ты* — цветные ленты.

Стр. 104. *Меналк, Филлида* — герои идиллической поэзии XVII—XVIII вв., условные литературные имена.

Стр. 106. *Поль и Виргиния* — герои романа Ж.-А. Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» (1788).

Стр. 109. *Демутье* Шарль Альберт (1760—1801) — французский писатель, представитель сентиментализма. *«Письма Эмилии о мифологии»* — одно из многочисленных его произведений.

Стр. 117. *Самум* — сухой горячий ветер в пустынях Северной Африки и Аравии.

Стр. 119. *Сивилла* — Сибилла, легендарная римская прорицательница. *Аман* — согласно Библии, персидский вельможа, задумавший истребить евреев и повешенный вместе со своими сыновьями.

Стр. 120. *Кассандра* — дочь троянского царя Приама, обладавшая провидческим даром (греч. миф.) *Пилигрим* — странствующий богомолец, то же, что паломник. *...со всеми онёрами* — здесь: со всеми подробностями (от франц. honneurs — фигура в карточной игре).

Стр. 121. *Газ-марабу, газ-рис, газ-иллюзьон* — виды легких, воздушных тканей для женских уборов. *Жилет пикэ* — жилет из белой бумажной ткани, имеющей вид стеганой.

Стр. 133. *Шассе* — фигура танца.

Стр. 134. *«Хотя бы небеса гром, молнию бросали...»* — цитата из трагедии В. А. Озерова «Димитрий Донской» (1806).

Стр. 135. *Аэрьен* — легкий открытый экипаж (лат. аэро — воздух).

Стр. 136. *Далай-лама* — титул первосвященника ламаистской церкви в Тибете, почитаемого в качестве живого бога в человеческом образе. *Бурмицкий жемчуг* — крупные круглые жемчужины.

Стр. 140. *Тинтере* — карточная игра.

Стр. 147. *Пери* — добрая фея, охраняющая людей от дивов (перс. миф.)

Стр. 148. *...у Фемиды в 14-м классе, а у Аполлона в 3-м* — судейские чиновники низшего по Табели о рангах чина (14-й класс — коллежский регистратор), считающие себя преуспевшими в служении музам (3-й класс — тайный советник, генерал-лейтенант).

Стр. 153. *Экзерцирхауз* — здание для обучения солдат, конный манеж.

Стр. 154. *«...на бережку у ставка, на дощечке у млинка...»* — начало украинской народной плясовой песни.

Стр. 160. *Гофманские капли* — смесь спирта и эфира, применявшаяся при рвоте.

Стр. 166. *Шлафор* — теплый халат на вате.

Стр. 170. *«Мужчины на свете как мухи к вам льнут...»* — перефразированные (в оригинале: «к нам») куплеты из популярной оперы Н. Краснопольского «Днепровская русалка» (1803), переработки оперы Генслера и Кауера «Фея Дуная».

Стр. 172. *Гродерьен* — шелковая плотная ткань; *буф-муслин* — мягкая легкая хлопчатобумажная ткань.

Стр. 173. *Крепость Шумла* — крепость на Дунае, осада которой была важным событием русско-турецкой войны 1828—1829 гг.; А. Ф. Вельтман принимал в этой войне непосредственное участие. *Прут* — левый приток Дуная; ныне граница между СССР и Румынией.

Стр. 175. *Каймак* — сливки с топленого молока.

Стр. 177. *Ремонтная команда* — команда, посылаемая для закупки лошадей.

Стр. 184. *«Волшебный стрелок»* — «Вольный стрелок», опера К. Вебера (1820). *«Роберт»* — см. примеч. к стр. 90.

Стр. 196. *Песнь Хадаакам, о великой щуке Левиафане...* — отрывок из библейской «Книги Иова». *Талмуд* — собрание догматических, этических

и правовых положений иудаистской религии, сложившееся в 4 в. до н. э.— 5 в. н. э.

Стр. 197. *Сады Эрмидины* — сады волшебницы Армиды в поэме Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим». *Гурия* — в мусульманской мифологии райская дева. *Дервиш* — мусульманский нищенствующий монах.

Стр. 198. *...посреди древних Фив, во времена Сезостриса* — т. е. в XIII в. до н. э., когда фараон Рамзес II (по греч. Сезострис) возвел в Фивах богатые постройки. *...сфинксовая Лукзорская аллея* — Луксор — современное название Фив; во время раскопок, в начале XIX в., там была найдена аллея сфинксов, часть которых была в 1832 г. перевезена в Петербург.

Стр. 204. *...очерки a la Flaxman* — зарисовки в манере английского скульптора и рисовальщика Дж. Флаксмана (1755—1826), автора серии контурных рисунков к «Илиаде» и «Одиссее» Гомера.

Стр. 205. *Ферязь* — старинная русская женская и мужская одежда из бархата, атласа и т. п.; тип длинного кафтана без воротника, с узкими рукавами или без них. *Полумеринос* — ср. мериносː ткань из длинной белой овечьей шерсти.

Стр. 206. *Бгавана* — устаревшее название бенгальских пальмовых обезьян.

Стр. 206. *«Людмила»* — баллада В. А. Жуковского (1808); *выходец с берегов Наровы* — являющийся героине баллады, Людмиле, мертвый жених.

Стр. 207. *Дуры и моли* — дур — мажорный строй, лад; моль — минорный строй.

Стр. 210. *Иосиф-толкователь снов* — персонаж Библии: сын Иакова, попавший в темницу и толковавший сны виночерпию, хлебодару, а затем фараону.

Стр. 211. *Мадам Дюдеван в мужском платье* — см. примеч. к стр. 101. Имеется в виду известный гравированный портрет Жорж Санд. *Онагр* — азиатский дикий осел.

Стр. 214. *...мыслить, кочуя... из комнаты в комнату* — измененная ремарка из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие III, явл. 9).

Стр. 222. *Калипса* — Каллипсо, нимфа, которая в течение семи лет держала у себя Одиссея.

Стр. 225. *Семиглавая Лернская гидра* — мифологическое чудовище, побежденное Гераклом (греч. миф.)

Стр. 231. *Севинье* — брошь (названа по имени французской писательницы М. де Севинье, 1625—1696). *Аграф* — нарядная пряжка или застежка.

Стр. 232. *«О ты, с которой нет сравненья...»* — популярный романс на искаженные стихи Ю. А. Нелединского-Мелецкого «Прости мне дерзкое роптанье...». *Хожалый* — рассыльный полицейский солдат, служитель при полиции, разносящий приказания.

Стр. 238. *Играть в бостон вдвоем.*— Бостон — азартная карточная

игра, в которую играют обычно вчетвером. *Марьяж* — здесь слово употребляется одновременно в двух значениях: название карточной игры и одновременно свадьба, брак (от фр. mariage).

Стр. 241. *...родом... из Индейского царства* — имеется в виду сопоставление русских народных сказок с древнеиндийскими сказками, проведенное частично И. М. Снегиревым; на основе подобных сопоставлений позже появилась теория «бродячих сюжетов» и сравнительно-историческая школа фольклористики.

Стр. 242. *...о самом себе историю читаю* — имеется в виду «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване Царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи Царевны, Кощеевой дочери» В. А. Жуковского (1831).

Стр. 244. *Пиголица* — чибис. *Египетский черногуз* — аист. *Священный Мемфисский жук* — скарабей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вельтман А. Ф.

В27 Сердце и Думка: Приключение: Роман: В 4 ч./ Подготовка текста; Вступ. ст. и примеч. В. А. Кошелева и А. В. Чернова; Худож. М. З. Шлосберг.— М.: Сов. Россия, 1986.— 256 с.

Произведения Александра Вельтмана (1800—1870), писателя, историка, учёного-археолога и этнографа, пользовались большой популярностью в 30—40-х годах прошлого века. Литературное дарование Вельтмана отмечали Пушкин и Белинский, Некрасов, Достоевский, Л. Толстой.

Роман «Сердце и Думка» (1838) играет особую роль в творчестве писателя, знаменуя переход от ранних романов фантастико-романтического плана к произведениям реалистического направления. Привлекая отчетливо выраженной гуманистической направленностью, роман демонстрирует в то же время характерные художественные особенности Вельтмана-прозаика: яркие зарисовки жизни русской провинции и столиц; причудливый сюжет с искусным переплетением фантастики и быта; меткие образные характеристики; юмор, то мягкий, то озорной; оригинальный, необычный язык, стиль и самый тон полусказочного повествования-притчи.

Р1

В $\frac{4702010100-242}{М-105(03)86}$ **КБ—61—25—1985**

Александр Фомич Вельтман

СЕРДЦЕ И ДУМКА

ПРИКЛЮЧЕНИЕ



Редактор Т. М. Мугуев
Художественный редактор Г. В. Шотина
Технические редакторы
Т. С. Маринина, П. П. Мартьянова
Корректор М. Е. Козлова

ИБ № 5086
Сдано в набор 20.03.86. Подписано в печать 29.09.86. А09745. Формат 84×108/32. Бумага типогр. № 1 Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 13,44. Усл. кр.-отт. 13,65. Уч.-изд. л. 15,23. Тираж 200 000 экз. (1-ый завод 1—150 000 экз. в обложке). Заказ № 1110. Цена 1 р. 30 к. в обложке. Изд. инд. ЛХ-101.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 102012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.